

ISSN 0132-0637

1997

7
Октябрь

Октябрь

7 1997

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

7

1997

ИЮЛЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ,
Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН,
Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ,
А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА,
Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИ-
ЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Юнна МОРИЦ. Вчера я пела в переходе. Стихи	3
В. ЗУБЧАНИНОВ. Повесть о прожитом. Вступление Олега Павлова	22
Дмитрий СТАХОВ. Проверка паспортного режима. Рассказ	86
Борис ХАЗАНОВ. После нас потоп. Роман. Окончание	94
Послесловие. Интервью автора самому себе	147

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

В. С. МАЛАХОВ. «Война культур», или Интеллектуалы на границах ..	149
---	-----

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Василий МАЛИНОВСКИЙ. Штрихи к портрету Василия Шукшина	157
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Панорама

Алексей КУБРИК. **Тетрадь в светящемся кругу...** (Ольга Бешенковская. Подземные цветы); Дмитрий ПОЛИЩУК. **Неописуемые караты** (Асар Эппель. Шампион моей жизни); Евг. ШКЛОВСКИЙ. **Наши** (Дина Рубина. Вот идет Мессия!.); Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ. **Между Рубенсом и Рембрандтом** (Лев Лосев. **Новые сведения о Карле и Кларе**); Егор СТРЕШНЕВ. **Две русско-финские книжки** 166

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.
Время множить приставки. К понятию пост-постмодернизма 178

Этюды о медленном чтении

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР.
Четыре жизни Баллады 184

Мелочи жизни

Павел БАСИНСКИЙ.
«От Парижа до Находки...» 188

В несколько строк

Рубрику ведет Б. Филевский 191

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,

по телефону: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —

по факсу: (095) 238-46-34,

по телефону: (095) 238-49-67,

по телексу: 411160.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),

Н. К. ЛОШКАРЕВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (проза), **И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (критика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 28.05.97. Подписано к печати 20.06.97. Формат 70x108^{1/16}.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 9200 экз. Заказ № 1760. Цена 15500 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 1792 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместители гл. редактора — 214-63-64, 214-69-37, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-69-37, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

E-Mail oktybr@orc.u

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1997. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Вчера я пела в переходе

Плавающий след

Вчера я пела в переходе
и там картину продала
из песни, что поют в народе,
когда закусят удила.

Ее купил моряк со шхуны,
приплывшей из далеких стран
по воздуху, где множит луны
в дрожащем зеркале туман.

С картиной, купленной у песни,
он растворился, заплатив
улыбкой, что была – хоть тресни –
такой же вечной, как мотив.

И окончательная тайна
с грехом, расплывчатый как тушь,
была всемирна и китайна
в том переходе душ и стуж,

где остается плавать выдох –
мотив воздушного следа,
и подменяют вход и выход
друг друга в ритме *нет* и *да*.

1997

Цветное стекло

Развязывал ленточки, бантики,
шелковые шнурки,
веяли пылью антики
сандалии ее, чулки.

Она трудилась на улице,
где ноги растут из глаз,
где нагло и сладко щурятся,
торгуя цветами ласк.

Она торговала мелкими
цветами лугов, лесов,

но ласки не грезят мерками,
пригодными для весов.

Букетики на завязке,
пьяные словно речь,
ландышевые ласки,
ласточки тайных встреч...

Вся она легче пуха
в памяти проплыла,
стекляшку вдевая в ухо,
кусочек цветной стекла,

цветочек стекла простого,
близкие лепестки,
близость того простора,
где звезды слезам близки.

1997

* * *

Ты – девочка Господа Бога,
ты – Господа Бога дитя,
ты – песня, дорога и ветер,
и счастлива, только летя –
как ветер, дорога и песня,
как песня и ветер дорог,
как песня дороги и ветра,
который в дорогах продрог.

1997

И дорого счастье полета,
и незачем ветру-судьбе
доказывать с помощью фото,
что крылья твои при тебе,
и солнца на них позолота,
и ночи серебряный свет...
и песни пронзительной нота –
твой самый прекрасный портрет.

Пуца–Водица

А в десять лет была я старше – и намного.
Мне открывали страшные секреты,
и я жила без матери в лесу,
была там пуца и была водица,
водица-пуца, гуца и берлога,
и в той водице лунным пламенем согреты
русалки к мельничному плыли колесу,
за ними пылью водяной вилась дорога,
дощатый мост скрипел и гнулся от кареты,
а в той карете – черти ели колбасу.
И клала голову ко мне на подоконник
траву жующая бессонная корова
с рогами и со взором василиска,
хвостом обмахивая звезды за окном,
где было кладбище, и в нем – дитя-покойник,
поскольку наше поколение нездорово
и с детства к смерти подходило слишком близко,
и даже в детстве – много ближе, чем потом.
А я была намного старше в десять лет,
чем в шестьдесят, в сто шестьдесят, в шестьсот и дале,
уже тогда я знала все, что здесь случится,

и весь клубок преобразений, превращений
развернут был, мой предваряя след,
росла там пуща и плыла водица,
водица-пуща, рыба, зверь и птица,
на тридцать коек – шестьдесят сандалий,
и в дни довольно редких посещений
ко мне из деревянного трамвая,
с платочком яблок, с легкостью от Бога,
выпрыгивала мать, совсем малютка,
ее была я старше – и намного.

1997

Получение Рима

Волчица кормила младенцев, ее молоко
вхлѣбывалось туда, где растет.
После лактации ей становилось по-волчьи легко,
был язык, он вылизывал дочиста — и никаких нечистот,
пеленок, корыт, истерик... Нищета — это плод ума.
На родину воплощений — путь один — через волчий голод.
Когда они ее высосали и стали бегать вокруг холма,
один другого убил,— Рим получился, город.

1991

* * *

Столы съедая после пира,
дружина жалуется Богу,
что разбежались рабы,—
ни хлеба, ни вина, ни сыра,
морозец ногу бьет о ногу,
похмелье тяжко... Зов трубы
утробен, ратники угрюмы,
на воеводу зубы точат
и снегом кормят лошадей.
А воевода полон думы,
она о том, что Бог не хочет
закуску делать для людей.

1993

Музыка, лунный свет,
море у стен...
Некому слать привет —
край опустел.

Кладбищ цветут кусты.
Где криминал?..
Все времена чисты —
как времена.

Если остался здесь
кто-нибудь жив,—

1997

бабочкой стал он весь,
чист и нелжив.

Крылья в золотой пылице,
лета слюда,
зверской мечты в лице
нету следа.

Кто-то завел часы,
по которым цветет лимон.
Все времена чисты —
после времен.

* * *

Поэзию большого стиля
 шмонают все кому не лень,—
 ей контрабанду не простили
 великолепья в черный день.

Но пуще славы и простора,
 что весь увит ее плющом,—
 ей не простили вход, который
 для посторонних воспрещен.

Уже и Гитлера простили
 и по убитым не грустят.
 Поэзию большого стиля
 посмертно, может быть, простят —

за то, что не тому дала,
 когда давалкою была.

1997

* * *

Все мерзости, которые про вас
 твердил ублюдок, потакая бреду,
 предстали жуткой правдой без прикрас,
 как только дали вам сыграть победу
 и этот фарс — холуйствуя, дерзая,
 лизать курдюк и бляеть перед кассой.
 Нет, мне язык не страшно развязать,
 но страшно захлебнуться рвотной массой,
 одушевляя тряпки ваших лиц,
 отжатых в орден грязного ведра,
 со всех экранов и со всех страниц
 от них несет помоями добра,
 любви, надежды на животный страх,
 от коего — смирен и незлобив —
 ягненок чует братьев на кострах
 и дремлет, запах дыма возлюбив.
 Когда очнется потерявший речь,
 утративший сознание зверь народа,
 с одной извилиной сумеет он извлечь
 один урок, жестокий как природа.
 И мерзости, которые про вас
 он лапами размажет на пространстве,
 приобретут мифический окрас
 в своем неукротимом постоянстве.

1996

Зимний пейзаж

Гляжу в телящик: из задницы голой
 орудие пытки торчит,
 права человека не взяты Анголой,
 а также другими на щит,
 на фермера ночью напали садисты,

убили семью и свинью,
летят самолеты голландской редиски,
«колдую, гадаю, женю»,
господ господ вызывают на стрелку,
мертвец оживился, но пьян,
главе заместитель накакал в тарелку,
козе подарили баян,
таможня изъяла слона с крокодиллом,
старик изнасиловал мать,
вагон изумрудов удрал с бригадиром —
его не успели поймать,
Ван Гога нашли у ефрейтора в койке,
картину вернули вдове,
курящий младенец лежал на помойке
и продан в страну или в две,
до полной стабильности — самая малость:
уж красок полно для волос!
Как мало еврея в России осталось,
как много жида развелось...
Ко мне воробей залетел из Кореи
в окно среди зимнего дня,
клюет из ладони, дрожа и робея,
он тоже, он тоже — родня,—
как мало в России осталось еврея,
как мало осталось меня...

1995

* * *

Воруй, малюсенький, воруй,
воруй по мелочи у многих,
прикинься нищим и пируй
на всех разбойничьих дорогах,
с улыбкой детской суетись,
глотая злобы ком железный,
а тот, при ком ты был статист,
опять солирует над бездной,
но звук на время отключен,
здесь барахлит аппаратура,
лет через двадцать что почем
узнает публика — ведь дура,
теперь такие фраера
ее кидают без напряжения,
что впору брать ей веера
и зад обмахивать варяга.
Воруй, вористый ангелок,
вористой пользуйся минутой,
поток пока не уволок
ее, как щепку в пене лютой.
Никто из нас не доживет,
быть может, до подобных премий,
но эту щепку дожует
ворующее правду время.

1997

* * *

Мою судьбу примерил кто-то,
она понравилась кому-то,
как шляпка или пиджачок,—
и в ней снимаются на фото,
моей суровой нитью круто
сюжеты шьют. Но я — молчок!..

Бывало, в гибельные годы
весьма стучали эти гады
на мой соленый язычок,
моей судьбой, моим уделом
страшили, занимаясь делом
пользительным. Но я — молчок...

И мыслимо ли в светском лоске
таскать судьбы такой обноски,
когда ты весь — в лучах брони
и свой же в доску меж певцами
побед, известных мертвецами
великими?.. Но — чур меня!

Но — чур меня, скажу я смело,
мне жить еще не надоело...
Да пусть их вертится волчок
по нити, по моей суровой,
пусть этой хвастают обновой,—
старья не жаль мне!.. Я — молчок!

За эту мудрость золотую
судьба мне Розу Золотую
немедля дарит — дивный знак
взаимности!.. Судьба-то в силе
и любит, чтоб ее хвалили,
но я — молчок, я знаю — как!..

1996

Античный кот

Старинный стол, старинный стул,
старинные часы,
передо мной лежит Катулл
невиданной красы.

Диван старинный у окна,
античный кот в усах,
висит античная луна
в античных небесах.

Кота старинные очки
сверкают на носу,
ему античные бычки
в томате я несу,

картошка дышит стариной,
над ней старинный пар —
такой вот ужин неземной
мне продал антиквар.

Но говорю я: «Ах, ты черт!—
античному коту.—
Опять на кухне кран течет
и брызжет на плиту.

Конечно, я — большой аскет,
но есть всему предел!
Вот позову котов букет
я для старинных дел!»

А кот античный говорит
мне в духе старины:
«Пушай огнем оно горит,
уедем из страны!»

Дерьмом тут скоро будет течь
любой на свете кран,
а на земле, о том и речь,
так много дивных стран!..»

И, вспомнив, на каком пиру
и кто тут правит бал,
старинный чемодан беру
и кран — чтоб он пропал!!!

«Холера!— говорю коту.—
Хлеб захвати ржаной».
«Валера!— говорю.— Катулл!
Поехали со мной!»

А он: «Совсем сошла с ума!
Уедешь, а потом

1997

стихи твои же задарма
воткнут в античный том.

Уж я с других взираю сфер,
а ты бери свое!»
И так ведь задарма, Валер,
кругом — одно ворьё,

свинья под дубом вековым,
скоты! Да ну их на...
Из лап их вырваться живым —
вот счастье, старина!

Жизнь драгоценная моя
дороже всех наград,
включая должность соловья
на фабрике рулад.

...Старинный снег, старинный лед,
старинный табачок.
Уж мы пойдем, античный кот,
в античный кабачок!

Сонет

Тот скотский хутор, вряд ли был он хуже,
чем этот... Взяли первые места
мы всё на той же выставке скота
и оказались в той же свинской луже.

Случился новый поворот винта —
и внутренность развернута снаружи,
она — лишь прежде свернутая туже
все та же, та же скотская мечта,

все тот же визг, и хрюканье, и рык,
и тьяканье, и бляенье, и ржанье
над содержаньем ведер и корыт,

и к живодерне дрожкое бежанье,
и зависть к тем же скотским хуторам,
где хлев просторней и дешевле хлам.

1996

* * *

Рассвета серое, мокрое полотно,
круглые сутки дождь, и еще не топят,
сумерки — утром, днем... к четверем — темно,
рыбак золотую рыбку в кино торопит,
дома нет электричества, также вода не течет,—
это на линии где-то прошла моргуша,
стоит золотая рыбка у зеркала со свечой —
красится после душа.

В разбитом корыте будильник звенит, рыбак
 дает по часам старухе глоток микстуры —
 ведь на старуху повесили всех собак
 художественной литературы,—
 теперь у нее трясучка имени Паркинсона,
 а золотая рыбка становится все капризней,
 разбитое видя корыто, которое нарисовано
 на последней странице жизни.

1996

* * *

В бумажной руке — бумажная чашка,
 кипятка кофейный окрас.
 Лицу эпохи нужна подтяжка
 и пересадка глаз.

Бумажная чашка с бумажной ручкой —
 с двумя на одном боку.
 Придут хирурги зеленой кучкой —
 облицевать башку.

Придут хирурги, дадут наркозу,
 другое лицо пришьют,—
 глаза, конечно, в другую позу
 дернут — как парашют.

Потом придет мордодел с палитрой,
 для маски расплавит воск.
 Но в глазах — все то же кино и титры,
 которые крутит мозг.

В бумажной тарелке — бумажный окунь
 или бумажный гусь.
 Лицо поправляет бумажный локон
 и крутит бумажный ус.

1992

* * *

Ночь на исходе лета,
 щели забиты мраком,
 дождь, как разболтанная карета,
 с грохотом катится по оврагам.
 Занавесила окна вода.
 В карете дышит, мерцая,
 облаками закутанная звезда —
 не вижу ее лица я,—
 только биенье за толстой тьмой,
 только ритм, остальное — мнимо.
 Так виднелась комета прошлой зимой —
 только при взгляде мимо,
 когда в хрусталик вовлечена
 вся книга небес текучих,

где дышит вести величина,
сжимаясь и разжимаясь в тучах.
Только при взгляде мимо,
и ты этот знаешь взгляд,
льнувший неодолимо
к силам, простертым над.

1996

* * *

Не знает Лермонтов, что так теперь не пишут
в приличном обществе... С европейским вкусом люди
не содрогаются и воздух не колышут,
в какой-то мысли превратясь орудье.
Так не ведут себя темно и мрачно,
чтоб не смешить родимое Бермудье,
не брызжут желчью, свойственной зануде
и психу, страсть которого безбрачна,
а жизнь конечна... Снегом воздух вышит,
за всем — дыра неведенья сквозная.
Так не ведут себя и так теперь не пишут,
не носят этого, но Лермонтов не знает,
что этого не носят,— столь несносны
подобный стиль и скрежет оборотов,
что это носят лишь дубы, и сосны,
и несколько несносных идиотов.
Оно потешно, старомодно, зябко —
носиться, этой манией пылая:
однако же поэзия — не тряпка,
чтоб модной быть, чего и вам желаю.

1995

Вошь энд гоу

Передвигаемся перебежками.
Праздник — на улице Мелкой Вши.
Колбасе — свобода! Пора, не мешкая,
двух Медведиц продать ковши.

Продолжение мирного диалога,
стабилизирован в горле нож,
и вариантов не так уж много —
между «Вошь энд гоу» и «Гоу энд вошь».

1996

* * *

С жесткими блестками платье
на черных шелковых лямках.
Она лежит на кровати,
топкой как сумрак в замках.

Летит карета причесок
в тучах небес весенних.

Действительности набросок
виснет на опасеньях.

Этой печали рыбка
переплывает воздух
вечно, прозрачно, зыбко.
Кто — кроме нас — на звездах?..

Она покидает зданье
одиночества в десять башен.
Ей назначил свиданье
композитор гречневой каши,

его чистая лирика — способ
вести в обман соглядатая,
будто любая особь
есть время, отдельно взятое.

1997

Славный Ворон

Не была, не состояла,
не входила, не владею,
на иглу похвал не сяду
и от клея не балдею,
на котором свора с вором,
липких масок ерунда,—
я кладу на них с прибором,
как сказал бы славный Ворон,
возопивший «Никогда!».

Никогда в толпе героической
не была я девкой свойской,
не была царицей Савской
и принцессою Савойской,
не болела этим вздором,
не искрила провода,—
я кладу на них с прибором,
как сказал бы славный Ворон,
возопивший «Никогда!».

1997

Торговать отваги салом
в час, когда его навалом?!
Нет уж, лучше трус отпетый
пусть зовется храбрым малым,
и пылает метеором,
и сияет, как звезда,—
я кладу на них с прибором,
как сказал бы славный Ворон,
возопивший «Никогда!».

Пусть ворует правду время —
жаль, что раньше не украдо!..
Пусть ворованную правду
делят те, кому все мало,
пусть едят хоть с помидором,
не имеючи стыда,—
я кладу на них с прибором,
как сказал бы славный Ворон,
возопивший «Никогда!».

С молнией меж лопаток

Памяти Раисы Максимилиановны Немчинской

Малюсенькая воздушная акробатка
носила грим из японских глаз.
Младенческая кроватка
была бы ей в самый раз.

Пахло в ее цирковом вагончике
слонами, тиграми — кем хотите,

и во весь подоконник светились флакончики
с благовоньями Нефертити.

Она работала кометой Галлея,
то есть без лонжи – как все кометы,
полагая, что так она будет целее,
чем другие летающие предметы.

На ней была серебристая маечка
с молнией меж лопаток.
Огромный атлет говорил ей: «Раечка,
моя девочка!..» Шел ей седьмой десяток.

Малюсенькая воздушная акробатка
становилась к нему спиной,
он расстегивал молнию, тяжело и сладко
вдыхая, как слон надувной.

Они шутили так весело, она шепелявила,
он блески снимал у нее с переносицы.
...Однажды ее на лету расплавил
то, что легче всего на лету переносится.

1996

Пароль

...в этом смысле их победили, потому что сменился пароль:
когда они спать уходили, он был, например, «трали-вали»,
но, когда их вдруг разбудили, он был уже «гоп-ца-цуца»,
и на вопрос «Кто идет?» они, не успев проснуться,
такой ответ выдавали, что их в ответ убивали,
но проблемы еще бывали, недоумки плодятся, как моль,
поэтому раз в неделю, когда они спать уходили,
их способности умственные ставили на контроль:
например, пароль «гоп-ца-цуца» менялся на «гоп-со-смыком»,
«гоп-со-смыком» – на «белый ангел»,
«белый ангел» – на «мы не лыком
шиты», и в этом духе, такие вот перемены стали обыкновенны,
и уже на вопрос «Кто идет?» они отвечали улыбкой,
блуждающей на крокодиле,
из которого – чемоданы, обувь, галантерея,
потому что пароль сменился, когда его разбудили.

1996

Логотип

Я знаю, знаю этот логотип,
когда боксер боксеру перед боем
орет и лыбится: «Покойник! Ты – покойник!
Ты – мясо!.. Вот я сделаю тебя!»
В таких я случаях кошмарен, как покойник,
гляжу поверх и сквозь. Один удар
я шлю, сплясав обманный танец битвы,
всего один – в обманной пляске нервов,
и тут победа наступает быстро.

Ведь он же сам сказал, что я – покойник,
и наделил потусторонней силой,
покойнику не страшно ничего,
но сам он страшен... Тут имеет место
черта, которую лишь надо преступить
во имя истины «В Начале было Слово»,
и, преступив черту, содеять нечто,
покойнику известное. Ежу
понятно, что слова имеют свойство
вселяться и вселять, мы – во Вселенной.
Используй это, если вдруг услышишь
когда-нибудь «Покойник! Ты – покойник!»
в свой адрес от кого-то. Вот и все.

1997

Одна старушка молодая

Одна старушка молодая
На голове вошла в метро,
Одна нога ее седа
Держала с яйцами ведро,

Поставить на ноги чудачку
Они хотели сообща,
Но вся старушка впала в спячку,
Ногами кверху хохоча.

А на другой ноге висела
Коза от пятки до плеча.
И вся старушка в поезд села,
Ногами кверху хохоча.

Потом коза ее будила,
Бодая с яйцами ведро,
И со старушкой выходила
Ногами кверху из метро.

Увидев это, пассажиры
К ней проявили интерес,
И ей холодный предложили
Они на голову компресс.

А я стояла, их встречая,
В обнимку с дверью от ключа,
А также с пирогом от чая,
Ногами кверху хохоча!

1996

* * *

Вялотекущая сказка,
текут крокодилы слезки,
набок съезжает маска,
улыбки кривой обноски,
дышит в лицо развязка
века и карнавала,
набок съезжает краска,
которая покрывала

волосы, губы, щеки,
ногти, события, речи,
набок съезжают щелки
глаз, оплывают свечи, –
еще раздают подарки,
кубки, колонны, статуи,
но мельче почтовой марки
всё это вместе взятое.

1995

Комедия взаимного узнанья

– Вчера меня на улице узнали
в Париже, в Риме, в Лондоне, в Мадриде,
в Аддис-Абебе, в Рио-де-Жанейро,
в Караганде, в Нью-Йорке, на Майорке
и далее везде – узнали в морге,

узнали в катафалке и в гробу,
а там народу – более, чем было,
венки цветов, корзины и букеты,
и музыка, и все меня узнали,
потом на почте узнавали все!..

Такая чара, вроде пирамиды,–
узилище взаимного узнанья
для узников, союзников и муз.
Союз ВЧЕМУЗ – ВЧЕРА МЕНЯ УЗНАЛИ.
Швейцар у входа, получив свое,
гундосит в рупор:
– Дамы с господами,
к нам на обед пожаловал Гомер,
его лицо, конечно, всем знакомо.

– Гомер, ты – как?
– Всё так же.
– Всё же – так!..

1994

* * *

...жил девятьсот лет,
имел восемьсот жен,
сорок тысяч детей,
триста дворцов с прибамбасами,
армию, флот, рабов,
золота двести тонн,
сто покоренных племен,
шпионов один миллион,
наложниц один миллион —
и одну распутную девку.

К столетнему сопляку
попал он однажды в плен,
лишился племен, рабов,
армии, флота, золота,
трехсот дворцов с прибамбасами,
верблюдов с боеприпасами,
был проклят детьми и женами,
друзьями и приближенными,
наложницами, шпионами,
верными прежде массами,
но — не распутной девкой.

Когда же он стал гоним,
она побрела за ним —
безо всякого там говоренья,
отставая шагов на десять,
напевая какую-то глупость,
собирая цветы, коренья,
травы, плоды, колючки,
не оглядываясь назад —
на триста дворцов с прибамбасами,
на родину с кипарисами...

Ну что с нее взять, с debilки,
с этой распутной девки
с птичкой на макушке,
с бабочкой на затылке?..

1996

* * *

Дрожащие губы
и скрежет плаща —
друг другу не любви
мы больше. Прощай!

Огнем небосвода
изгублена нить.
Такая свобода,
что хочется выть.

Такое веселье,
что с пьяных колес,

как поезд в ущелье,
иду под откос.

Такие поминки,
что, Боже ты мой,
как будто мы оба
на снимке с каймой.

Неправедно, парень,
ты делишь ломоть:
верни мою душу,
возьми мою плоть!

1991

* * *

Так много дней
среди теней
нездешней белизны,
среди огней,
где всех бедней
старьевщик новизны,
что по утрам,
по вечерам,
как ветер по дворам,
поет в проем:
«Старье берем!» —
и ловит новый хлам,
и свой улов
поверх голов
перебирает там,
где вечно свежей новизной
нам остается лишь сквозной
мотив — тирим-пам-пам,
ля-ля, тирим-пам-пам!..

1994

* * *

Люблю я деньги получать
и баловать семью,
но не люблю толкать в печать
поэзию свою
и с ней тащиться на концерт,
волнением дыша,
но мне без этих гнусных черт
не платят ни гроша.

В ночной тиши мой стих течет,
и тут — большой привет!
Ведь я плачу огромный счет
за свой во мраке свет.
Черт побери, какой-то гад,
который спит всю ночь,
он будет бешено богат,
чтоб нищему помочь!

А нищий — кто? Поэт, артист,
художник... Жаль, мой свет,
что я не лучший аферист
на лучшей из планет.
Но мне все чаще идет на ум
художественный план:
ограбить банк, при... опить ГУМ,
продать аэроплан

и трынцы-брынцы богачей
по-братски разорить,
а после — миску кислых щей
им каждый день дарить!..

1995

Портрет, написанный ногой

Пельмени закипели,
Вода лилась рекой,
А я схватила крышку
Правою рукой,
Потом схватила левой,
И правой, и двумя,
И с крышкой раскаленной
Стояла я стоймя!
Но на пол не бросала
Я крышечку из рук —
Ведь было дело ночью
И спали все вокруг.

Теперь пишу вам это
Я правою ногой,
Держу пельмень на вилке
Я левою ногой,
Стелю постель ногами,
Гашу ногами свет,
А утром нарисую
Ногами ваш портрет,
Ногой раскрасив правой
Ваш образ дорогой
И нежно обнимая
Вас левою ногой!

1996

* * *

В сером воздухе рассвета
первый катится трамвай,
листьев пламя льется с веток,
слышен дождь, собачий лай,
в подворотне свист погони —

чьи-то ноги с головой
 растворяются на фоне
 моросилки дождевой...
 Почтальон звонит за дверью,
 телефонят из Твери,
 между дверью я и Тверью
 пролетаю метра три,
 журавля задев рукою
 и сквозь утренний туман
 отраженные рекою
 жизни правду и обман.

1996

Свежие новости

Ван Гог — ужасный человек,
 и Гоголь — жуткий человек,
 Э. По и О. Уайльд — кошмарны,
 а Федор Д.— не описать!
 Но в среду объявили новость,
 что Пабло П.— гораздо хуже,
 чем все мы думали, и даже
 он хуже Сальвадора Д.
 Мы доживем еще до лучших
 времен, когда узнаем точно,
 что Томас М.— большой поганец,
 такой же, как Марина Ц.
 и Осип М... И восхитимся:
 «Подумать только! Вы слышали?
 Вот это да! Облом с отпадом,
 отпад с улетом, полный кайф!»
 (Так далее и в том же духе,
 на том же языке свежайшем,
 а главное — уже свободном
 сейчас, как прежде никогда!)
 И сразу станет легче жить,
 приливы сил начнутся вдруг,
 народы за руки возьмутся,
 друг друга резать прекратят,
 и полетят послы навстречу
 послам, чтоб славно обменяться
 произведениями злодеев
 обменом честным — всех на всех!

1997

Старик и дева

На покрывале шелковом старик
 ласкает деву шелковую. Город
 над ним смеется, но Господь велик
 и любит всех, поскольку сам не молод
 простор земли, загаженной весьма
 и битвами растерзанной, однако
 любовь к земле (пусть узкой, как тесьма)

не вызывает хохота... Собака
не знает, есть ли возраст таковой,
когда над ней смеются, что любима.
Лишь человек расчислил головой —
кому и сколько, непреодолимо
его не старость гробит, а черта,
которую легко пересекает
лишь гений, презирающий места
скопленья мнений... Деву он ласкает
на покрывале шелковом, жасмин
его сверкает внутреннему взору.
Печально, что старухи царства Минь
смерть предпочтут подобному позору.

1996

* * *

Сегодня или никогда
мы встретимся случайно в баре,
где слуги вместе пьют и баре
литературного труда,
весьма паршивая еда,
и варят кофе в самоваре —
так при Хайяме, при Омаре
не поступали никогда!

Бывало, в древние года
такие люди здесь хромали,
такие трескались эмали,—
питалась та еще среда,
среди которой борода
была одеждой, вроде шали,
ей даже валенки мешали,
в нее домой бралась еда!
Но в поступательном кошмаре
все рассосалось без следа.

Теперь там — безупречность льда,
и устриц писк, и трали-вали
всемирно знаменитой швали,
она крошится, как слюда,—
весь мир крошится, как слюда!..
Сегодня или никогда
мы встретимся случайно в паре
случайных слов. И на бульваре,
потом, когда всплывет звезда
у Господа в хрустальном шаре,
улыбка будет молода.

1996

И так далее...

Если младенец душой,
это чудесно.
Если при этом большой,
вовсе чудесно.
Можно писать, рисовать,
лучшее класть на кровать,
жить интересно!

Если дворянство дают,
это чудесно.
Если гумпомощь дают,
тоже чудесно.
В нашей стране, когда бьют,
что-то все время дают,—
жить интересно!

Если назначат царя,
это чудесно.
Первого секретаря?
Вовсе чудесно.
Главное — свита и двор,
весь просвещенный набор,—
жить интересно!

Если прошляпят страну,
это чудесно.

Если прошляпят казну,
тоже чудесно.
Главное — в моду войдут
шляпки, с которыми тут
жить интересно!

Если надежда близка,
это чудесно.
Если мечта далека,
вовсе чудесно.
Главное — врать без конца
и с выраженьем лица
жить интересно!

Если не врать без конца,
это чудесно.
Для выраженья лица —
вовсе чудесно.
Можно писать, рисовать,
лучшее класть на кровать,
жить интересно,

если младенец душой!
И так далее...

1997

Письмо

В Москве — сезон мероприятий,
раздача нищеты и благ,
концерт восторгов и проклятий,
орда голодная собак
и сытость пёсых людоедов —
у них мордасы белых крыс
(один, хозяйкой пообедав,
младенца на закуску сгрыз),
один художник растаможен
и возвращается сюда,
другой — как нож карманный сложен
и весь уедет навсегда,
в подъезде с револьвером киллер
свою с работы жертву ждёт
и смотрит у вахтера триллер,
что в телящике идет.
Вот катят вагонетки денег
для знатных старцев и старух,
чтоб не был среди них изменник,
имеющий небравый дух.
А я письмо — в морозный ящик,
железный жжется козырек,
на пальце — самый настоящий
обмороженья пузырек.

Получишь ты, моя отрада,
письмо в далекой стороне,—
не траться, не звони, не надо,
а лучше нацарапай мне —
хоть на обрывке ветра гулком
свою мелодию тоски
по рисовальщице с окурком,
чье сердце рвется на куски.

1996

* * *

В небо гляжу по утрам —
серая мгла моросит,
туча, как тряпка, висит,
галка орёт...
Яблок возьму килограмм,
хлеба возьму я кирпич,
надо бы челку подстричь
лет на пятнадцать вперед.

Пони в мой лезет карман,
ключ достает от дверей,
чтобы открыть поскорей
ящик с письмом —
я закрутила роман,
ждет меня в Африке слон,
трон, балдахин и тюрбан,
ужин с посланцем.

Буду я долго лететь,
плыть и бежать в этот край,
бросив сырой наш сарай
утром дождливым.
Думаю, надо бы впредь
слоников не обижать.
Слоника там я рожу —
будет счастливым!..

1997



Повесть о прожитом

Никто не забыт

XX век стал для русского народа веком тяжелейших испытаний и неисчислимых человеческих жертв. Революция, Великий Перелом, Война — вехи крестного пути России, где судьбу человека невозможно отделить от истории народа. А что довелось пережить, испытать каждому — от исторической жертвы миллионов! Мы наследуем эту нашу национальную трагедию, много зная покаянной, безнадежной правды, но так и не обретая нравственной ясности. Но именно она должна была явиться — уже не из пекла времени, не по прошествии времени, а над всей его становящейся историей громадой, сообщая нам то знание о прошлом, которое было бы соединением всех правд. Явиться в нашу уже полную душевной подлости литературу. Явиться после громогласного объявления о закрытии самой этой Темы и бездушной парадной раздаче литературных слав да лавров. Когда забыта и предана безмолвно даже память тех, кто ее, тему лагерную, открывал, и о Варламе Шаламове высказываются менялы и оценщики литературные уже не иначе, как о заскорузлом летописце.

Автор открываемой теперь для читателя книги — Зубчанинов Владимир Васильевич (1905—1992) — один из крупнейших ученых-экономистов, а в другой жизни — заключенный воркутинских лагерей. Он любил свою родину, уважал достоинство человеческое, имея и такую душевную силу, чтобы жалеть падших, но не процать самому себе даже мгновения слабости и малодушия.

*Книга начинала писаться в начале семидесятых годов и была окончена уже в наше время. Работу над ней Владимир Васильевич понимал как свой долг перед памятью отца и брата, сгинувших бесследно в сталинских лагерях. «Повесть о прожитом» восполняет и **продолжает лагерную тему**, которая закрытой или завершенной быть не может, потому что это святой стон и голос наших мертвых, праха земли нашей. Донести правду о пережитом, увиденном дано было немногим — выжившим, оставшимся людьми. А тех, кому даровано не только уцелеть в лагере, но и бессмертие в слове, — крупницы. И такой ценой наш народ доносит о себе правду и воскрешается из небытия, из мертвых.*

Олег ПАВЛОВ

Вспоминаю с печалью нездешней
Все былое мое, как вчера.

Александр Блок

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

За свой долгий жизненный путь я встретил много людей. Каждый из них, как драгоценный камешек, блеснул мне какой-то из своих граней. Суметь бы собрать эти блески.

Прежде всего я хочу написать о своих дедах и прадедах, родителях и бабушке, матери моего отца.

Бабушка Любовь Васильевна была шестым, самым младшим ребенком в богатой купеческой семье Елизаровых. Из ее родоначальников я слышал только

о бабушкином прадеде Григории Ефимовиче. Он был крепостным мужиком, но в конце XVIII или начале XIX века получил вольную. Именно он заложил основу елизаровского богатства. Сначала ходил офеней в приволжские, скрытые от божьего мира и всей тогдашней цивилизации чувашские, мордовские, марийские деревни. Ранней весной, когда никто еще ничего не продавал и не покупал, Григорий Ефимович по дешевке запасался – конечно, в кредит – разным товаром, необходимым в деревенской жизни, а в начале лета, чтобы успеть к уборке хлебов и пока еще не пропили урожай, отправлялся в путь.

Шли вдвоем – отец Григорий Ефимович и 15-летний сын Ефим. Шли рядом с телегой, в дождь покрывались запасными рогожами (чтоб не гноить рубахи), шлепали лаптями по раскисшей глине, отдыхали редко, но так, чтоб не переутомить лошадку. Ночью, если не подходили к деревне, то по очереди спали под телегой и выпасали своего коня. Вот так обходили они деревни, далеко державшиеся друг от друга, распродавали товар и получали заказы – что привезти будущим летом. К зиме возвращались с кой-каким прибытком. Ефим Григорьевич позднее говаривал: «Наши елизаровские деньги честные: тот – купца на ночлеге зарезал, другой – помещика обобрал. А мы сколько лаптей с отцом носили, чтоб копейку к копейке прикладывать». По-видимому, этих копеек накоплено было много. Уже Григорий Ефимович записался в купцы и завел в Вязниках полотняную фабрику.

Под Вязниками во всех деревнях сеяли лен и зимой при лучине прядли льняную пряжу. На воскресных базарах в городе за копейки продавали ее, а полотняные фабриканты, которые тогда своих прядилен не держали, скупали пряжу и вели ткацкое производство. Это было очень очень доходным делом.

Григорий Ефимович соорудил просторный барак, разместил в нем около сотни деревянных ткацких станков и при тогдашнем 14-часовом рабочем дне выпускал порядочное количество льняного полотна. Так постепенно накопился большой капитал.

После смерти отца молодой Ефим Григорьевич (бабушкин дед) расширил фабрику. Он построил кирпичное здание в два этажа, выписал из Англии механические станки и паровую машину. В Вязниках он стал одним из крупнейших полотняных фабрикантов. Его выбрали городским головой, и он оставался на этом посту до самой смерти.

Все мои сведения о нем относятся уже к тому времени, когда ему перевалило за шестьдесят. Но и в этом возрасте он не выглядел стариком. Высокого роста, сухой и широкий в кости, с черными, расчесанными по-крестьянски на обе стороны только начавшими сесть волосами, с черной, тоже чуть побелевшей под губами бородой, с ястребиным взглядом, он с шести часов утра и до поздней ночи был в делах, все видел и замечал, не знал покоя и никому покоя не давал. В мои детские годы еще сохранялся его портрет, написанный, очевидно, одним из очень талантливых мстерских богомазов. Только седеющие виски выдавали его возраст. Но глаза из-под черных бровей смотрели остро и уверенно. На сухом лице не было морщин. Он был вдов и жил с красавицей-горничной, которая беззаветно его любила. Однако те сотни людей, которые на него работали и от него зависели, страшились его. Рабочие звали «старым ястребом».

Дельцом он был хватким, знающим и изобретательным. На Нижегородской ярмарке продавал свое полотно в Персию и в 30-х годах вошел членом-учредителем в образованную тогда по мысли Грибоедова Русско-персидскую компанию. Грибоедов пытался убедить правительство, что она могла бы быть чем-то вроде английской Ост-Индийской компании. В 40-х годах, уже глубоким стариком, Ефим Григорьевич первым в России выписал из Англии систему для механического льнопрядения. Но прядильные машины оказались похитрее ткацких станков, и, как ни бился со своими слесарями Ефим Григорьевич, наладить их не смог. Бабы в деревнях прядли лучше и дешевле.

Наследника себе Ефим Григорьевич воспитать не сумел. У него был единственный сын – Василий Ефимович. Сначала старик держал его при себе, при-

учал к фабричному делу. Но потом, стремясь захватить в Русско-персидской компании ведущее положение, добился ему там места секретаря и отослал в Петербург. Царское правительство не сумело оценить и поддержать компанию. Вместо дела шли бесконечные приемы и обеды, Василий Ефимович оказался главным их устроителем и навсегда усвоил вкус к этому веселому и праздному удовольствию. Когда отец понял, что с компанией ничего не выходит и торговать с Персией лучше через Нижегородскую ярмарку, он вернул сына в Вязники, женил, но за оставшийся десяток лет своей жизни уже исправить его не мог. Фабрику продолжали вести воспитанные Ефимом Григорьевичем мастера, она еще давала значительные доходы, но не развивалась и почти не обновлялась.

Был уже конец 60-х годов. Кругом строились громадные прядильные и ткацкие фабрики. Управлять ими приглашали английских инженеров. А Елизаровская фабрика, бывшая в начале века одной из крупнейших в Вязниках, так и оставалась с уаттовской паровой машиной и мастером Гаврилычем во главе. По сравнению с новыми фабриками она выглядела карликом.

Детей у Василия Ефимовича было много. Но живыми остались только два сына и четыре дочери. Меньшая, Любовь Васильевна, вышла замуж за небогатого, на двадцать лет старше ее муромского торговца Михаила Назаровича Зубчанинова – и стала Зубчаниновой. Это была моя бабушка.

Вскоре Любовь Васильевна родила сына. Это был мой отец – Василий Михайлович. Через полтора года родилась дочь, моя будущая тетка – Ольга Михайловна. Любовь Васильевна сама подготовила своего сына для поступления в реальное училище, с дипломом которого без экзаменов принимали в любой технический институт.

В реальном училище отец подружился с тремя очень разными ребятами. Один из них – Костя Курицын – был из большой крестьянской семьи из-под Муром. Другой мальчуган – Алеша Груздев – был из рабочей семьи. Позднее он женился на сестре моего отца – Оленьке. Третий из друзей был Саша Брюхов, по происхождению из господ. В отличие от Кости мальчик он был тихий, очень скромный и сдержанный.

В 1892 году мой отец окончил училище и вместе с Костей Курицыным поехал в Москву в МВТУ.

Моя мама – Надежда Адриановна – была младшей дочерью Гладкова Адриана Ивановича и его жены Юлии Васильевны. Они были коренными муромлянами. Адриан Иванович вместе со своими братьями вел большое дело – продавал русскую пшеницу в Англию. Капитал братьев не был разделен, но каждый из них имел свои обязанности. Старший, Иван Иванович, жил в Англии и продавал зерно. Адриан Иванович большую часть времени проводил в Таганроге, скупал у новороссийских помещиков пшеницу, фрахтовал корабли, отгружал и отправлял ее в Англию. Младший брат, Матвей Иванович, вел финансовую часть, «покупал» деньги, то есть изыскивал выгодные кредиты, чтобы Адриан Иванович мог задолго до получения денег из Англии рассчитываться с продавцами зерна, с грузчиками и извозом, с владельцами кораблей. Дело было выгодным, и Гладковы считались людьми состоятельными.

Отцу было уже 27 лет, когда после работы на небольших муромских фабриках он получил предложение занять должность помощника директора (по современному понятию – главного инженера) большой фабрики Костромской мануфактуры. Надо было обзаводиться семьей. В городе всегда действовала негласная посредническая система, хорошо осведомленная, кто хочет жениться и какие имеются невесты. Его познакомили с семьей Гладковых. Он побывал в их доме, и ему понравилась стройная миловидная девушка с пышной прической шелковистых палевых волос. Он пришел еще, потом еще раз и решил, что не стоит больше ничего искать. Они поженились и уехали в Кострому. Два года, проведенные там, были самыми счастливыми в жизни моих родителей.

Фабрика, на которую пришел работать отец, была большая и перспективная. Директором ее правления был старый Кашин. Он считал, что будущее России в образованных инженерах. Отца он очень ценил. Он говорил ему: английские

машины сами еще не знают, что могут; все, что придумаете нового, — пробуйте; машины, как люди, — их надо учить и воспитывать.

Платили отцу в месяц больше, чем Юлия Васильевна получала своей рентой за целых полгода. Ему предоставили большую квартиру. Вдвоем с мамой они обставлялись и устраивали новую жизнь. Прислужкой взяли Любашу — молодую вдовушку из очень бедной деревенской семьи. Мама одела ее по-городскому, вместе они учились стирать, наводить чистоту и порядок, как в гладковском доме. Мама стала учить Любашу грамоте.

Вскоре мама забеременела и с приближением родов уехала в Муром. В ее отсутствие умер директор. Прямых наследников у него не было, и место занял кто-то из родственников. Не знаю почему, но отцу новый хозяин не понравился. Инженеры были тогда нарасхват, и акционерная компания «Новая Бавария» пригласила его директором джутовой фабрики под Харьковом. Там дали квартиру со всей обстановкой, даже с посудой и бельем. Костромскую мебель и прочие вещи в ящиках отправили в Муром, в гладковские сараи.

В Харькове папа получил телеграмму: «Родился сын». Это был я. Через полгода мама приехала со мной и Любашей.

Шел 1905 год. Фабрика бастовала. После шумного митинга во дворе рабочие послали трех выборных с требованиями к директору. Двухстворчатые двери кабинета распахнулись, вошли трое пожилых кряжистых рабочих, а за ними двигалась целая толпа. Двое служителей задержали ее у дверей, хотя закрыть их уже не смогли, и весь народ участвовал в переговорах. Отец встал и стал слушать требования. Вероятно, выглядел он не очень авторитетно: молодой человек с небольшой бородкой, не знающий, что отвечать и что предпринимать. Негромко он сказал:

— Я же не имею никаких прав.

В этот момент к отцу подбежал служащий и зашептал:

— Громят квартиры. Ваша жена с ребенком побежала в Харьков. Коляска готова.

Отец бросился вниз по лестнице, вскочил в коляску и велел гнать в город. На третьей версте он догнал маму с ребенком на руках и Любашу с большим узлом. Мама не могла успокоиться, молоко у нее пропало, я орал.

— Уедем, поскорее уедем отсюда. Поближе к своим.

Папа тут же написал в Акционерную компанию письмо всего в две строки: «С сего числа по семейным обстоятельствам прошу меня рассчитать».

На другой день они уехали в Муром. Здесь в декабре 1906 года родился мой брат Шура. Отец же получил приглашение на работу в крупный Вязниковский льняной комбинат, фактическим хозяином и директором которого был Сеньков.

Я вырос в городе Вязники. По всему склону высокого берега Клязьмы, на которой стоял город, цвели вишневые сады. С чем сравнить красоту этого бесконечного кружева нежных цветов? Разве только с тем, как ласково и застенчиво, с радостным блеском в глазах смотрит невеста, одетая в свое белое нарядное платье.

Летом на даче я вставал обычно в восемь часов. И в тот день, который мне запомнился особенно ясно, я проснулся, как всегда, сразу, увидел, что шторы еле сдерживают потоки теплого, солнечного света, улыбнулся радостному утру и быстро вскочил. Шура, мой брат, еще спал. Надо убежать, пусть ищет! Чтоб не попасться гувернантке, я юркнул под шторы, распахнул окно, выскокчил в него и бросился к клумбам. После вечерней поливки земля тут не просохла, и ступать босыми ногами было прохладно. Но надо ведь посмотреть — распустились ли вчерашние бутоны? Нет. Разбухают потихоньку, но не торопятся. Можно помочь, раскрыть листочки, пусть распускаются поскорей! А вот по стеблю ползет волосатый червяк. Я потыкал его пальцем, он свернулся и упал. Присев на корточки, я раздвинул мокрые листья, стал искать, но не нашел. Жалко. Уж очень волосатый! Но долго возиться нельзя: увидят, начнутся все эти гутен-моргенны, хенде-вашен и так далее. Надо бежать на речку...

А вечером, после длинного жаркого дня, до предела заполненного гостями, смехом и разговорами, прогулками и едой, несколько человек, которым все

еще не хотелось расставаться, продолжали сидеть на большой открытой террасе. Солнце село. Над лугами белел туман, и где-то скрипуче кричал дергач. На лампу летели комары и ночные совки.

В плетеном кресле полулежал стройный, очень большой, с красиво закрученными усами и аккуратно подстриженной бородой, до черноты загорелый и обветренный Александр Сергеевич Брюхов – школьный товарищ моего отца, ученый-агроном и помещик. Хотя он устал, как и все, ему еще хочется подзадривать других и смеяться.

— Васенька, а ведь без революции мы, вероятно, не обойдемся!

— Ты думаешь?

— Так Леня считает.

Леня — это Алексей Николаевич Груздев, тоже их школьный товарищ, инженер, директор фабрики, муж моей тети, сестры отца. Вместе с бабушкой он сидит на лесенке, спускающейся в сад. Когда о нем упоминают, он смущается и гладит валяющуюся у его ног собаку. Потом соглашается:

— Может, и будет революция.

Бабушка, пряча чуть заметную усмешку, замечает:

— Он всю зиму Маркса читал.

— Ну, не совсем так. Начинал читать.

— И что-нибудь вычитал?

— Ничего. Не пошло. Думал, если запивать, то пойдет. Выписал ящик вина. Выпил, но так и не прочитал.

— Леня! А ведь вас с Васенькой, наверное, зачислят в эксплуататоры. А?

Алексея Николаевича это задевает.

— Нас? Почему? Разве мы не работаем? Да если Сеньковы, Дербеневы, Гандурины из нашей работы деньги делают — мы-то при чем? Ведь из твоей пшеницы гонят водку и спаивают народ. Разве ты виноват?

— Ну, это не совсем то же самое. А вот вы паукам помогаете кровь из мушек сосать!

Тогда эксплуататоров обычно изображали в виде пауков, высасывающих пролетарскую кровь.

Бабушка продолжает разговор:

— Они настоящий рабочий народ. Алексей Николаевич студентом каждое лето на паровозах работал помощником машиниста. Только этим и жил.

— Меня вы не уговаривайте. Я тоже рабочий народ. Вам, наверное, кажется, что если я помещик, так на меня все с неба валится? А у меня, когда я кончил академию, кроме долгов и отработочного хозяйства, ничего не было. А теперь, вы знаете, какие машины, какие поля, какие лошади! Я ведь пятнадцать лет работаю так, как ни один мужик в жизни не работал. А вот в доме у меня содержится террорист, девочек моих учит. Тоже наш — петровец. Выслали его, девать ему некуда, я и взял. Вот он мне каждый день проповедует, что все это должны у меня отнять, а самого уничтожить. На моем уничтожении он всегда настаивает, особенно когда выпьет третью рюмку. Правда, я не очень верю. Я-то человек деревенский, хотя винцо и попиваю, как вы, но без Маркса. А вы, наверное, знаете: куражится надо мной мой террорист или где действительно вычитал?

Все это было как будто серьезно, но все же и смешно.

2

Летом 1914 года началась война. К концу 1916-го она утомила всех. Народ начал голодать. В городе за черным хлебом становились с ночи.

Тем временем вековые устои, на которых основывалась вся жизнь российского общества, под влиянием страшных напряжений, вызванных войной, начали утрачивать свою крепость. Столетиями копившееся недовольство, которое раньше проявлялось только в насмешках, злых пословицах, анекдотах и

разговорах, не выходящих за пределы маленьких политических кружков, начало выливаться наружу, широко распространяться.

В конце 1916 года даже мальчишки знали, что военный министр — изменник, что царица — немка и покровительствует изменникам, что государством управляют воры, тупицы и негодяи, что сахар, несмотря на голод, продают через Персию немцам, что хлеб задерживают на складах, ждут дальнейшего повышения цен и не подвозят в города. И уже никто не отделял этих безобразий от царя. Он стал предметом всеобщих насмешек и пересудов.

Очень скоро историю страны стал делать голод. В Петрограде бастовали крупнейшие заводы. 21 февраля 1917 года петроградские рабочие разгромили хлебные магазины. Голодные бунты начались и в других городах. Через несколько дней по всему Петрограду прошли массовые демонстрации, которые тогда назывались манифестациями. Рабочие кричали: «Хлеба! Хлеба!» Началась стрельба.

Вечером 25 февраля Государственная Дума выпустила заявление, в котором говорилось: «Правительство, обагрившее свои руки в крови народной, не смеет более являться в Государственной Думе. С этим правительством Дума порывает навсегда». Через день восстали петроградские полки. Это была революция.

Царь приказал командующему одной из действующих армий Иванову «навести порядок». Был издан указ о роспуске Государственной Думы. Получив его, Совет Старейшин Думы постановил: «Не расходиться, всем депутатам быть на своих местах». Образовался Исполнительный комитет Думы. Командующим армиями была послана телеграмма о том, что вся правительственная власть перешла к этому комитету. В тот же день в помещении Думы сформировался и Временный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов.

2 марта царь подписал акт об отречении.

Первые месяцы после свержения царского режима у всех было такое состояние, какое бывает в доме, где умер хозяин, который всем давно надоел своей затянувшейся болезнью, но все-таки продолжал быть хозяином, а теперь все облегченно вздохнули, сразу получили возможность, не оглядываясь, делать, что хотят, ходить, куда хотят, говорить с кем угодно и о чем угодно. Были освобождены политические заключенные. Начали формироваться разные политические партии.

Вся страна была похожа на ярмарку. Люди выбились из обычной колеи, ходили, как подвыпившие, а всюду из балаганов кричали зазывалы, свистели детские свистелки, показывали петрушек, пахло вафлями и пряниками. В гимназии на общем собрании учеников было решено — учителям не кланяться и при входе их в класс не вставать.

Во главе государства стояли люди, не имевшие ясной программы действий и не владевшие ситуацией. Это были политические болтуны и дилетанты, которые в условиях парламентской демократии могли произносить героические речи, но совершенно не годились для организации власти. Над ними смеялись. Бабушка физиономия Керенского с неожиданным ежиком и бородавками, как у Дмитрия-Самозванца, его выкрики и истерические призывы «довести войну до победного конца» стали предметом издевательств и вызывали озлобление народа.

Но, как всегда, в обстановке ничем не ограничиваемой свободы и политической безнаказанности появились дальновидные, стремившиеся к власти политики. Они понимали, что революция не завершена. Всеобщей растерянности они противопоставляли твердое стремление к захвату власти и установлению диктатуры...

В июне 1922 года я поехал в Москву, чтобы поступать в университет. Объединение, в котором работал отец, тоже перевели в Москву. С началом нэпа оно получило хозяйственную самостоятельность, а отца назначили членом правления и главным инженером всех вязниковских фабрик. Их было около тридца-

ти. Отец очень увлекся возможностью по-умному, рачительно реорганизовать оставшиеся от мелких хозяйчиков производства, скооперировать их и подчинить единому хозяйственному плану.

Принимать в университет должны были без экзаменов. Требовалось лишь для выяснения политических взглядов пройти собеседование. Из того, что спрашивали, я не только не знал, но и не понимал ничего. Но главное: думал я совсем не так, как было нужно.

Председатель порылся в лежавших на его коленях списках, нашел мою фамилию и спросил:

— Где-нибудь работали?

— Нет. Я только кончил школу.

— Комсомолец?

— Нет.

— Родители кто?

— Отец — инженер.

— Понятно. — Он обратился к комиссии: — Есть вопросы?

Представитель от студентов спросил, кого из всемирно известных пролетарских писателей я знаю. Ни в школе, ни в той среде, в которой я вырос, тогда еще не имели представления о том, что писателей можно делить на пролетарских и непролетарских, и я не очень уверенно ответил:

— Максим Горький.

Председатель поднял брови и хмыкнул:

— Ну, может, его бунтарские настроения и были близки пролетариату. Но ведь теперь «Новая жизнь» что пишет? Знаете?

Я не знал.

— А надо знать. Надо разбираться, кто с нами, а кто против нас. Ну, так какого же мирового пролетарского писателя вы читали?

Я чувствовал, что тону, и уже не решался называть кого-либо. Тогда он сказал:

— Синклер. Эптон Синклер. Читал?

Я не читал.

— Ну а что вы читали?

Я стал перечислять. На Пушкине он перебил меня:

— Вы думаете, что «Евгений Онегин» — это для пролетариата? Может, вы пролетариям и «Войну и мир» порекомендуете? — Мне стало очевидно, что я провалился. — Советую поработать на предприятии. У станка.

Но все-таки меня приняли. Произошло это так. Я решил вернуться в Вязники и попросил маму, оставшуюся в Москве, узнать обо всем в университетской канцелярии. Заведующий канцелярией посмотрел списки и сказал:

— Да он не был на собеседовании!

Мама хорошо знала, что я там был, и потому со всем сознанием своей правоты стала упрекать его в том, что он все напутал. Он заколебался и пометил в бумагах, что я был. Это все и решило. Дело в том, что в некоторых комиссиях отметки считались признаком старого режима. Тем, кто оказывался политически подходящим, записывалось «был», а тем, кто не годился, не писалось ничего. Заведующий канцелярией этого не знал и, сам того не подозревая, удостоверил мою политическую благонадежность.

Когда начались занятия, для меня стало очевидным, что не только я, но и профессора продолжали оставаться в стороне от новой идеологии. Спорить с нею уже не решались. Только известный Челпанов пытался в публичных дискуссиях доказывать, что молодые карьеристы, начавшие выдавать себя за представителей марксистской науки, не только не понимают марксизма, но и оглуляют его, являясь поверхностными материалистами бюхнеровского толка. Однако его вскоре удалили из университета. Остальные профессора не вступали в споры, просто продолжали читать лекции по-старому.

Как-то отец предложил мне сходить с ним в Деловой клуб. Там устраивался поэтический вечер. Обстановка клуба была по тому времени необычная. Входную стеклянную дверь отворял швейцар. Все раздевались, оставляя, как до ре-

волюции, пальто и шубы у гардеробщика. Наверху были теплые с блестящим паркетом и мягкими коврами парадно обставленные залы.

В первом отделении выступало много поэтов: самоуверенный, модно, как нэпман, одетый Мариенгоф, какие-то вихрастые молодые люди с белыми отложными воротниками и в солдатских рубахах, Сельвинский, сильно смутившийся и покрасневший, когда подошла его очередь, Вера Инбер, читавшая наивные стихи с хитроватым удивлением, и другие.

В перерыве к отцу подошел хорошо одетый человек с бородкой, подстриженной по-кремлевски, с орденом Красного Знамени на пиджаке. Он улыбался, хотя его глубоко посаженные глаза оставались серьезными.

— Вы меня не узнаете, Василий Михайлович? Я Белев, на фабрике у вас работал, подмастера.

— Да ну?! Вот как! Где же вы теперь?

— Опять по старой специальности. В Льноторге. Заместителем председателя.

— Так вы ленок-то, наверное, англичанам поедете продавать?

— Да. Уже оформили. Вот получу квартиру, устрою семью и поеду.

После перерыва председатель клуба, которым тогда был директор Московского треста Таратута, сказал:

— Нам ненадолго удалось перехватить известного поэта Владимира Владимировича Маяковского. Сейчас он прочтет свои стихи.

К столу подошел Маяковский, коротко остриженный, с папиросой в зубах, в хорошем заграничном открытом френче. Ему довольно дружно захлопали. Но, как мне показалось, он, стоя за столом и с высоты своего большого роста рассматривая аудиторию, понимал, что слушатели чужие. Он прочел отрывок из ранней лирической поэмы. Ему хлопали, но без восторга. Он закурил и, слегка раскачиваясь, постоял в ожидании каких-нибудь реплик. Однако все молчали. Тогда он сам спросил:

— Может быть, непонятно?

Кто-то ответил:

— Нет, понятно, но не нравится.

Маяковский, ожидая пикировки и спора, бросил:

— Надо было позвать Ахматкину! Наверно, понравилось бы.

Где-то в средних рядах сдержанно засмеялись. Но спора не получилось. Маяковский ждал и заметно мрачнел.

— Тогда я прочту «О дряни». — И спокойно начал: — Утихомирились бури революционных лон.— Тут он слегка поднял правую руку, как бы указывая на аудиторию, и усилил голос:

— Подернулась тинной советская мешанина.

И вылезло

из-за спины РСФСР

мурло...

Он наклонился вперед, сощурил глаза и страшно выпятил нижнюю губу и подбородок:

— Ме-ща-ни-на.

А дальше уже без всяких обиняков, прямо адресовал свои стихи сидевшим перед ним слушателям:

— Намозолив от пятилетнего сиденья зады,

крепкие, как умывальники,

живут и поныне —

тише воды.

Свили уютные кабинеты и спальни.

И, наконец, как бы отвернувшись от аудитории, он заключил:

— Опутали революцию обывательщины нити.

Страшнее Врангеля обывательский быт!

Сделав небольшую паузу, но не дожидаясь аплодисментов, Маяковский сразу же после этого стал читать отрывок из «Про это». И опять, указывая на слушателей, загремел:

— Столетия

жили своими домками,

и нынче зажили своим домкомом!

Публика аплодировала, но при этом по рядам прокатились негромкие реплики и смешки. Маленький лысый человечек, сидевший в первом ряду, шепелявя, спросил:

— Скажите, товарищ Маяковский, а вы живете, как все, в квартире?

Маяковский немного помолчал, очевидно, не готовый к такому вопросу, потом сказал:

— В квартире. Разница в том, что вам это удобно, а мне неудобно. Рост у нас разный.

Кое-кто из сидевших в первых рядах засмеялся. Но видно было, что сочувствия Маяковский не вызвал. Вечер окончился. Все стали расходиться. Я увидел выходящего из зала Белева и его приятеля. Это был грузный человек, одетый в военную форму, с двумя ромбами на рукаве. Он усмехнулся:

— Я-то думал, что свое отвоевал. А тут на меня опять фронт открывается.

Белев не склонен был к иронии и не знал, что отвечать. Все, что пришлось ему слышать сегодня, вроде как бы и соответствовало характеру революционной борьбы, в которой он участвовал, а вместе с тем он так же, как и шедший рядом с ним отяжелевший комдив, не мог не уловить явной враждебности Маяковского.

Я был, наверное, самым молодым в толпе, которая тогда толкалась в университетских коридорах и заполняла аудитории. Мальчишек моего возраста на нашем факультете не было. И жизненная зрелость моя, по-видимому, была ниже всех остальных.

Университет в то время совершенно не походил на теперешние учебные заведения. Утром в нем хозяйничал рабфак. Мы занимались вечером. В грязных, нетопленных помещениях в новом здании на Моховой после пяти часов набивалось так много народу, что трудно было протиснуться в аудитории. А когда впервые объявили о лекции Бухарина, то народ не мог пролезть не только в аудиторию, но даже в вестибюль и толпился во дворе.

Я пришел заранее, однако смог протолкнуться только до первой площадки большой лестницы, ведущей в Коммунистическую аудиторию. Как ни подталкивали сзади и как ни работал локтями я сам, пробиться дальше не удавалось. Вдруг я увидел, что снизу, энергично расталкивая толпу, продвигается высокий, здоровый парень, а впереди него — маленький улыбающийся человечек в потертой кожаной куртке, с большим лысеющим лбом и рыжеватой кремлевской бородкой. Он, быстро поворачиваясь то к одному, то к другому, утирал потное лицо снятой буденовкой. Смеясь, кого-то в чем-то убеждал, а кругом тоже смеялись. Когда он наконец приблизился, я услышал, как он говорит:

— Так я же Бухарин. Пропустите.

Мрачный брונет в очках рядом со мной огрызнулся:

— Уже третий Бухарин лезет!

Бухарин опять засмеялся:

— Ну, придется предъявить документы!

Он порылся с боковым кармане и вытащил какой-то пропуск. Все мы, стоявшие поблизости, стали его проталкивать, а сами двигаться за ним. Но скоро мы остановились, поскольку продвигаться сквозь предельно спрессованную толпу уже не могли. Бухарин картинно вздохнул: «Уфф!» — и остановился. Поднявшись на цыпочки и посмотрев вперед, он обернулся к своему телохранителю и сказал:

— Ну, ничего не поделаешь! До следующего раза.

Они начали пробираться назад. Лекция не состоялась.

Кроме студентов, в университет приходило тогда множество посторонних; никаких пропусков не спрашивали. Никто не раздевался. Бывшие солдаты, отрастившие бороды или давно небритые, в грязных шинелях; недоучившиеся в свое время учителя в перешитых из дореволюционных шуб кацавейках и бекешах; разный народ, одетый в тулупы из кислой овчины; партийные и комсомольские активисты в модных тогда куртках из моржового меха, разный люд в сапогах, обмотках, валенках; женщины в кожаных куртках и кепках — все на этом учебном базаре искали науку по своему вкусу.

Протиснувшись в аудиторию, они через головы стоявших у дверей смотрели, кто и о чем читает лекцию, многие проталкивались обратно и шли искать что-нибудь более подходящее для себя. Определенной программы на факультете не было. Обязательным был только «переходный минимум». А кроме него, можно было выбирать и слушать что кому нравится.

Лекции читали разные люди: старые профессора, академики Богословский, Петрушевский, Сакулин и даже такой всем известный ретроград, как Любавский, а вместе с ними и бывшие преподаватели эмигрантских партийных школ — Бухарин, Луначарский, Милютин, Покровский, Рязанов, еще не привыкшие к своему новому положению вождей, или отказавшийся от этого положения Богданов. В качестве преподавателей университета приютились бывшие теоретики меньшевиков и эсеров — Суханов, Маслов, Гинзбург, Огановский, на исторических кафедрах устроились известные учителя закрывшихся гимназий; выдающимися профессорами сделались земские статистики, некоторые поэты и писатели, газетные обозреватели...

В 1922 году объявили, что историю поэзии XX века будет читать Валерий Брюсов. В большой аудитории набилось так много народу, что слабые лампочки над задними рядами еле просвечивали сквозь испарения, поднявшиеся от мокрой одежды. Люди сидели не только на скамьях, но и на полу, на подоконниках и стояли вдоль стен. Вдруг погас свет. Началась суета. Притащили лестницу, пытались устранить неисправность, но лампочки не загорались. Наконец с трудом удалось зажечь одну над столом лектора. Аудитория слабо освещалась через окна от уличных фонарей.

Вошел Брюсов. Ничего подобного встречать тогда не приходилось. Он был в крахмальной рубашке и великолепной синей визитке, из кармана выглядывал уголок белого платка. Известная по портретам, аккуратно подстриженная острая борода была уже почти седая. Большого контраста с темной, отсыревшей толпой, сгрудившейся в аудитории, как на вокзале, трудно было представить.

Брюсов рассказывал о Бальмонте. Остановившись на его «Лебединой песне», он обратился к аудитории:

— Кто ее помнит?

Аудитория молчала. Он подождал и сказал:

— Странно. В наше время ее знали все.

Он стал декламировать сам — немного нараспев, глуховатым голосом, прекрасно передавая музыкальность стиха. Потом так же продекламировал «Камыши» и другие стихотворения. Было красиво, но не этого требовала аудитория.

Я ходил слушать лекции совершенно разных преподавателей. Все было чрезвычайно интересно. Опыт войн и революций заставил научную мысль многое пересмотреть и переоценить. А так как печататься было невозможно, то профессора в своих лекциях пытались, стремились рассказывать о новых возникших точках зрения, находках и открытиях.

В маленькой аудитории Алексей Иванович Яковлев читал методологию исторической науки. Аудитория набивалась до отказа. Обычно последним, сразу же вслед за лектором, наверное, чтоб не толкаться в студенческой толпе, приходил плотный военный с гладко выбритой головой, становился у двери и напряженно, с большим вниманием слушал до самого конца. Это был Вацетис, главнокомандующий вооруженными силами республики. Яковлев выяснял, как и почему менялись взгляды на исторический процесс. Вацетис преподавал в военной академии и считал нужным тоже в этом разобраться.

Студенчество состояло в основном из мелкой интеллигенции. Не имея ничего, она всегда хочет всего и, естественно, ненавидит тех, у кого уже что-то есть. Так же, как мелкая буржуазия, мечтающая стать крупной, считает своим злейшим врагом крупную буржуазию, так и мелкая интеллигенция смертельно ненавидит крупную интеллигенцию. В университете эта ненависть направлялась на старых профессоров. Против них повелась ожесточенная борьба, оружием в которой стали демагогия и наигранный темперамент революционного бунта.

Сопrotивлялся этой борьбе только профессор Челпанов. Это был упрямый

старик с горячей украинской кровью, считавший, несмотря на свой шестидесятилетний жизненный опыт, что истину можно доказать. В Психологическом институте, где он был директором, он устраивал публичные диспуты. Челпанов утверждал, что самостоятельное рассмотрение душевных явлений вовсе не означает отрицания их материального происхождения. Он говорил:

— Мы занимаемся внутренним опытом человека, его сознанием. Мы называем это душевными явлениями, или душой. И каково бы ни было происхождение душевных явлений, отрицание их реальности и замена их изучением физиологических процессов означают отказ от объяснения нашей души.

В переполненной аудитории было множество уже заранее враждебно настроенных слушателей. Упоминание о душе и душевных явлениях сразу вызывало выкрики:

— Поповщина! Клерикализм!

Челпанов, раздосадованный тем, что сквозь стену, о которую он бился, не ходят никакие логические доводы, но умевший сдерживаться, покусывал свои черные с проседью усы. Потом сказал:

— По-видимому, аудитории неизвестно, что Маркс никогда не отрицал реальность человеческого сознания. Послушайте: самый плохой архитектор отличается от наилучшей пчелы тем, что, прежде чем строить что-либо, он строит в своей голове, в сознании мыслительный проект. А Энгельс подчеркивал, что законы внешнего мира и человеческого сознания — это два ряда законов, которые, в сущности, тождественны, но по форме различны. Понимаете — различны!

На мгновение аудитория стихла. Потом кто-то крикнул:

— Не смейте касаться Маркса! — С передней скамьи вскочила маленькая женщина в кожаной куртке, с коротко стриженными курчавыми черными волосами. — Не смейте использовать Маркса в своих реакционных целях!

Аудитория захлопала. Когда все утихло, Челпанов, уже не сдерживая себя, сказал:

— Вы только что пришли в университет. Вам многое будет понятней, когда вы дойдете до третьего курса.

Вместе с враждебными Челпанову слушателями в аудитории было и много сочувствующих. Эта его реплика тоже вызвала аплодисменты. Та же маленькая женщина, обернувшись к аудитории, закричала:

— Чему вы хлопаете? Он оскорбляет нас!

Кто-то, перевесившись с верхней скамьи, возразил:

— Не нас, а вас!

На кафедру вышел Корнилов. Аудитория притихла. Это был молодой доцент из челпановского института, с длинными, зачесанными назад волосами и красивой темной большой бородой. Он уже понял, по какому течению надо плыть, и потому сказал:

— То, что высокопарно называют здесь душой, — это субъективное выражение не каких-то особых душевных, психологических, а самых обыкновенных физиологических процессов. А объективно они выражаются в движениях. Описание движений, которыми человек отвечает на действие раздражителей, и есть предмет психологии. Да, описание движений.

Когда он кончил и стихли аплодисменты, поднялся Челпанов:

— Позвольте вам при всех сказать, Константин Николаевич, что говорили вы, конечно, не для нас, а только для них. — Он указал на аудиторию.

Вскоре партийная организация решила потребовать от ректората запретить диспуты, потому что на них пропагандируется поповщина. Диспуты кончились. Директором Психологического института и заведующим кафедрой психологии вместо Челпанова был назначен Корнилов. Борьба со старыми профессорами активно поощрялась.

Я был далек от того, что делается в партийной жизни университета, но знал, что бунтуют и там. Меньшевистские и эсеровские организации были закрыты еще в 1921 году. Их вожди были арестованы. В 1922—1923 годах до меня дохо-

дили слухи о том, что, несмотря на запрет, они продолжают действовать. Но ничего определенного я не знал.

Я хотел стать историком. Это не значит, что меня интересовали исторические законы. Я любил историю как предмет художественного восприятия: мне хотелось чувствовать, что за люди скрывались за историческими именами, как они жили, как выглядели, как говорили; представлять себе тогдашнюю обстановку, тогдашний город, его улицы, толпу так, чтобы, закрыв глаза, увидеть все как наяву. Для меня картины Рябушкина были историей в большей мере, чем четырехтомный фельетон Покровского. Даже фактологические исследования, в которых расследовалась скорее достоверность фактов, нежели живописалась ушедшая действительность, казались мне более похожими на работу следователя, чем историка.

Но я и здесь, по-видимому, еще не дорос до понимания науки так, как ее понимали уже все в конце XIX и начале XX века. И тем не менее я всеми силами тянулся к ней.

4

Между тем жизнь в стране как будто налаживалась. Фабрики работали. Мужики сеяли и продавали лен. Отец, как прежде, ездил в Англию, выбирал и заказывал машины. Но вскоре началась новая ломка.

Историю объявили буржуазной наукой и отменили. Академиком Богословского, Петрушевского и других изгнали из университета. Профессор Яковлев, воспользовавшись связями с семьей Ульяновых, устроился библиотекарем ВСНХ. Готье нашел место в Ленинской библиотеке. Веселовский поступил в Наркомфин. Я вынужден был переключиться на экономику.

Однако получить работу молодому экономисту было почти невозможно. На бирже труда стояли бесконечные очереди безработных. Несмотря на старания моего отца, меня нигде не брали. После целого года хождений и хлопот мне наконец удалось устроиться секретарем в правление Владимирского хлопчатобумажного треста, председателем которого был Иван Данилович Гаврилин — бывший подмастерье на Вязниковской льняной фабрике. Профсоюз опротестовал мое зачисление, и только благодаря хлопотам Гаврилина у самого председателя ЦК Союза я кое-как удержался.

Началась служба. Она была для меня мучением. Работу я представлял себе как труд, соответствующий моим интересам и склонностям, труд, в котором проявлялась бы моя индивидуальность. Вместо этого пришлось писать по поручениям начальника письма, готовить ему доклады, созваниваться с фабриками, требовать от них разных сведений — и все в этом духе. Приходя домой, я целыми вечерами лежал в полном отчаянии, стыдясь кому-либо рассказать о том, чем приходится заниматься. Но рассчитывать было не на что. Люди более образованные, чем я, уходили тогда в деревню, чтобы прокормиться хотя бы крестьянским трудом.

Изменения начались в 1928 году. Безработица стала уменьшаться, денег появилось больше, но они быстро начали дешеветь. Рабочие опять бастовали.

Ранней весной отец вместе со своим начальником Ореховым вынужден был выехать на Вязниковские фабрики. Бастовали теперь по-новому. Бросить работу и выходить на улицу боялись. Все были на своих местах, но машины не работали. Маленький черноглазый Орехов, сопровождаемый отцом, директором фабрики, секретарем ячейки, инженерами, подошел к рабочим, которые сидели на ящиках около остановленных прядильных машин.

— Вы почему не работаете?

— Машины отказали.

— Помастеру говорили?

— Он нейдет...

Орехов велел позвать помощника мастера. Когда тот пришел, он накинулся на него:

— Почему машины неисправны?

— Они в порядке.

Помощник мастера пустил машины. Рабочие, посмеиваясь, разошлись и хотя стали присучать оборвавшуюся пряжу. Орехов постоял, посмотрел и затем пошел к следующему комплекту.

— А вы почему не работаете?

— Разве мы не работаем? Машины не работают.

Опять заставили пустить машины. Орехов оглянулся. Пока он возился на втором комплекте, все машины на первом снова встали. Он вернулся туда.

— В чем дело?

— Машины рвут.

— Итальянците?! — не выдержав, заорал Орехов.

— Мы ничего этого даже не понимаем.

— Понимаете. Я хорошо вижу! Я раньше вашего итальянците умел! Ну, сейчас не выйдет! Мы не такие рога ломали.— Он смял в кулаке потухшую папиросу.— Чем недовольны? Что вам надо?

— Надо, чтобы на заработок прожить было можно!

— Будете работать — проживете. Чтобы заработать, надо работать. Понятно? А волынците будете — с голоду подохнете! Понятно? — Он повернулся и быстро пошел прочь. За ним потянулись и все остальные. Рабочие были ошеломлены его возбужденным налетом и некоторое время молчали. Но когда он уже выходил, до него донеслось:

— Как бы ты раньше не подох!

В директорском кабинете Орехов уселся за большой письменный стол и некоторое время молчал. Вошел уездный уполномоченный ГПУ, корректно попросил разрешения присутствовать и сел в сторонке. Орехов взял себя в руки и начал подробно разбирать создавшиеся на фабрике условия.

Директором фабрики был беспартийный инженер Вьюрков. Несмотря на солидную и независимую внешность, это был угодливый и мелкий человек. Когда благополучие зависит от начальства, всегда найдутся люди, умеющие улавливать его настроения и пожелания и приспособляться к ним. Появление уполномоченного он воспринял как знак того, что хозяином положения теперь будет ГПУ. Поэтому, хотя он и обращался к Орехову, но между прочим сказал фразу, рассчитанную на уполномоченного: «Есть ведь и такие, что не только саботировать, но и поломать да попортить машины могут».

Орехову лучше, чем Вьюркову, было известно, что начинается новая борьба с народным непокорством. Он знал, что, подавляя сопротивление, будут теперь устрашать и по каждому поводу искать, находить и наказывать виновных. Но когда чужой человек, у которого вряд ли была заинтересованность в этой борьбе, предложил свои услуги, он почувствовал в этом подлость и разозлился:

— А вас зачем держат? Чтоб у вас под носом машины ломали?

Однако Вьюрков не смутился. Он видел, что уловил как раз то, что было нужно. Когда разговоры кончились и все начали расходиться, уполномоченный подошел к нему и сказал:

— Попрошу вас завтра зайти ко мне.

Вскоре после шахтинского процесса управление промышленностью стало перестраиваться. Тресты с их хозяйственной самостоятельностью начали заменять учреждениями чиновничьего типа. Отец говорил:

— Теперь хозяином стал столоначальник. Пойдет «испрашивание» и согласование!

Раньше ему работалось легко и весело. Он как бы парил на широких крыльях. Быстро находил верные решения, шутил с людьми, все ему удавалось и все ладилось. Теперь же ему казалось, что не только не стало крыльев, но даже идти не было сил. Приходилось как бы ползти по земле с перебитыми ногами.

Каждое утро у переполненных трамваев он скакал, стараясь схватиться за ручку и повиснуть на подножке. В учреждениях, в больших, не приспособленных для работы комнатах, сидело множество служащих. Каждый кричал по телефону, к каждому приходили люди, громко что-то обсуждали и спорили. Как только отец появлялся, его уже звали к телефону:

— Готова справка для Ивана Васильевича?

— Да мы вчера дали!

— Господи! Да это ж не та! Ему к Арону Моисеевичу идти. Давайте скорей! По телефону, сейчас.

Едва заканчивали передавать наспех нахватанные цифры, как уже звонили из другого вышестоящего учреждения. Там готовился спешный доклад в правительство и тоже нужны были разные сведения. Тут же приносили бумаги с распоряжениями начальника написать туда-то, составить справку для того-то, дать заключение по письму такого-то, и так — весь день.

На Вязниковской фабрике готовились к проведению рекорда ткачих. Выделенные для этого станки приводили в порядок, ремонтировали и проверяли с особой тщательностью. Проходя мимо них, одна из лучших старых ткачих, которую за тихий, покорный нрав, несмотря на возраст, называли Пашей и даже Пашенькой, сказала:

— Видать, за ум взялись. Станки для нас в какой порядок приводят!

Ее подруга, горластая тетка Дарья, хмыкнула:

— Ты, Пашенька, вроде и умная, а как дите. Ты думаешь, твоего поту пожалели? Это ударный самопожертвенный труд на кино снимать будут! А из тебя поту, знаешь, сколько еще выжать можно? Ведрами!

Секретарь фабричной ячейки тем временем подбирал кандидатов в ударницы. Была вроде подходящая молодая ткачиха-комсомолка, но оказалось, что у нее есть родственники-кулаки. Другая тоже подошла бы, но кто-то видел, что она бывала в церкви. Председатель фабкома хотел выдвинуть свою сестру, однако секретарь сказал, что могут пойти разговоры. Была и еще одна во всех отношениях подходящая девушка, но фамилия ее была Хренова, и секретарь побоялся, что появятся разные насмешки. После долгих переборов остановились на Маше Голубевой и Кате Грибановой. Правда, Маша ткачихой никогда не работала, а выполняла обязанности технического секретаря в комсомольской ячейке, но обучить ее еще можно было успеть. Катя уже некоторое время работала ткачихой и хотя собиралась уходить с фабрики учиться, но была известной комсомольской активисткой и вообще могла показать себя как надо. Уездный комитет утвердил ту и другую, и обеих передали Паше на обучение.

Директором теперь был партийный товарищ. Каждое утро он сам приходил к станкам, на которых работала Паша с ученицами, и говорил:

— Здравствуйте, Прасковья Тимофеевна! Ну, как успехи?

— Да что! Учатся. Ведь не на директора. Всякий может.

Но из-за соседнего станка с челноком в руках выходила тетка Дарья и сразу же начинала кричать:

— Ишь, узнал гдей-то, что Тимофеевна! Раньше и не кивнет, а теперь Тимофеевна. Понадобилась, чтоб этих сикух в героини вывести?! Тимофеевна стала! А что сама за пролитый пот свой рабочий она главный герой — до этого дела нет. Лишь бы эти паршивки вокруг станка научились на каблучках своих не боясь ходить да самопожертвенный труд на кино показывать! Ух, ты, паразит рабочего класса!

Секретарь ячейки, следуя за директором, пробурчал:

— Убрать бы ее куда-нибудь!

— Ничего. На собрании пусть выступит. Все будет в порядке.

Подготовка заканчивалась, и девушки под присмотром Паши, помощников мастеров, заведующего ткацкой и трестовских инженеров начали работать. Станки были в прекрасном состоянии, пряжу подобрали крепкую, ровную, и работа шла почти без обрывов и остановок. Очень быстро девушки научились работать сначала на четырех, потом даже на шести станках. Через неделю заведующий ткацкой сказал директору:

— Давай кончать. У меня уж этой пряжи не остается. Вызывай из газеты, сфотографируем, и надо устраивать собрание.

В газетах напечатали обращение Маши Голубевой и Кати Грибановой ко всем ткачихам, в ткацкой установили юпитеры, девушек снимали у станков, потом крупным планом, улыбающихся, с челноками в руках, потом над книжкой за столом.

После смены было общее собрание в рабочем клубе. Сначала выступил директор. Он сказал, что производительность труда — самое главное, что хозяева теперь — сами рабочие, что месяц назад к нему пришли простые рабочие девушки, комсомолки Маша и Катя, что рабочая совесть этих девушек заставила их перейти сначала на четыре станка, потом на шесть, что за неделю они выработали столько, сколько обычно вырабатывают за месяц, и что заработок их повысился вдвое.

После директора слово предоставили Маше Голубевой. Она вышла на трибуну и начала говорить выученную речь. Тут на сцену увесистой походкой вошел опоздавший секретарь уездного комитета. В президиуме начали вставать, здороваться, уступать место, усаживать его, и Маша замолчала. Усевшись, секретарь кивнул ей, чтобы она продолжала, и она, торопясь и пропуская слова, сказала то, что было заготовлено. Вслед за ней такую же речь сказала Катя.

Потом председатель объявил:

— Слово от старых кадровиков имеет товарищ Хлыстова.

На трибуну поднялась тетка Дарья.

— Дорогие товарищи, тридцать лет простояла я за станком. Он мне моих деток роднее. И вот все думала: ну, помирать буду, кому свой станок родной передать? И ведь выросла смена. Выросли доченьки наши рабочие. Выросли Маша и Катенька. Есть кому из наших мозолистых рук в молодые мозолистые рученьки наши родные станочки передать. Низкий поклон тебе за это, Машенька, низкий рабочий поклон тебе, Катенька! А кто вырастил нам смену такую? Все он, родной наш отец, товарищ Сталин вырастил. Его это детки. Он позаботился. Слава ему за это! Наше рабочее спасибо ему за это. Да здоровствует он на многие лета!

Речь ее понравилась. Ткачихи, толпившиеся позади рядов, говорили:

— Вот тетка Дарья дает!

— Как складно-то!

— Как и не сама, а по газете читает!

— Как молитву!

Через две недели на фабрике начался пересмотр норм.

5

Весной 1929 года пошли аресты инженеров. Сначала брали по одному. Каждый арест пугал, но прежде всего удивлял. Старались догадаться — за что? Делались предположения: не сказал ли чего-нибудь, нет ли родственников за границей или, может быть, в прошлом состоял в социал-демократах или эсерах? Всем казалось, что для ареста обязательно должны быть какие-нибудь причины.

Но вскоре сажать начали целыми группами. Поползли слухи о том, что в Теплотехническом институте арестовали всех вместе с директором профессором Рамзиным. Рамзина московские инженеры терпеть не могли. Это был молодой, способный, но очень беззастенчивый и грубый карьерист, сумевший быстро приспособиться к советским порядкам и вылезти на самые верхи. О его аресте говорили со злорадной ухмылкой, но странным было то, что вместе с ним взяли и множество лучших инженеров и профессоров-теплотехников. Начали было предполагать не собирались ли они все вместе, не рассказывали ли анекдоты, а может, кто-нибудь донес? Но как могли собираться с Рамзиным люди, которые даже не подавали ему руки?

Аресты пошли по специальностям. Сначала арестовывали всех самых известных энергетиков. Потом начались аресты и в других отраслях. Каждым утром узнавали, что посадили таких-то и таких-то. В начале 1930 года начали подряд арестовывать текстильщиков.

Отец находился в ожидании неотвратимой беды. Приходя домой, он как бы между прочим рассказывал, что ночью опять взяли того-то и того-то, и было видно, что только об этом он и думал.

22 апреля в первом часу ночи, когда отец уже пошел в спальню, в дверь позвонили. Вошел грузный мужчина в кепке и штатском пальто, за ним солдат с

револьвером наготове и дворник. Вошедший дал прочитать ордер, осмотрелся, снял пальто и, оставшись в военной форме, прошелся по квартире. Это был пожилой молчаливый латыш, очевидно, понимавший, что от него требовалось привезти человека, а не искать неизвестно чего. Он открыл платяной шкаф, неуклюже порылся в вещах, потом, пройдя в кабинет, уселся за письменный стол и, не сдержавшись, стал зевать. Справившись с зевотой, открыл ящик, но заинтересовался соевой на чернильнице, пододвинул ее и стал рассматривать. Заметив, что на него смотрят, он отодвинул сову и недовольно начал перебирать бумаги. Потом опять зевнул, встал, подошел к книжному шкафу, потрогал корешки книг, взял одну, распустил ее веером и, снова зевнув, оставил в покое. Тут он увидел, что солдат в дверях стоит все еще с револьвером в руках, и буркнул ему:

— Чего? Убери! — Скучающе он прошелся по столовой, посмотрел на бабушкин портрет, постучал пальцами по стенам и затем спросил: — Где портфель с деловая бумага?

Ему подали. Он сел за обеденный стол, положил рядом с собой портфель, потер лицо и молча стал писать протокол.

Все было кончено. Отец сидел с нами, но уже вырванный из нашей жизни, лишенный возможности самостоятельно ходить, разговаривать, брать, что ему нужно. Он был схвачен силой, против которой все были беспомощны, и находился теперь в ее власти.

Латыш тер глаза, с трудом вписывал в протокол фамилии, затем записал, что при обыске изъяты «две папки с разная переписка», и сказал:

— Собирайтесь.

Потянулись дни, потом недели, потом месяцы. Среди знакомых не осталось почти ни одной семьи, в которой не было бы арестованных.

Через некоторое время стало известно, что отец в Бутырской тюрьме и что по утрам там дают справки. С первым трамваем мама поехала туда. У тюремных ворот стояла огромная толпа женщин, загораживавшая улицу. Трамваи отчаянно звонили, с трудом проталкивались, но женщин становилось все больше и больше. Толпа молчала. В семь часов железные ворота открыли, и все, обгоняя друг друга, хлынули в тюремный, огороженный высокими бетонными стенами двор. Двери в приемную еще были закрыты, наконец их распахнули, и все женщины бросились к справочным окнам. Сразу образовались длинные очереди. Когда мама отстояла свою очередь, ей сообщили, что отец здесь, но что ни свиданий, ни передач не разрешается.

И так каждый день — с раннего утра к тюремным воротам, и каждый день один и тот же ответ — не разрешается. Мама отстояла ночь, чтобы попасть на прием к председателю Красного Креста Пешковой. Та сказала:

— Обратитесь к прокурору.

Мама добилась приема у прокурора, но тот сказал:

— Идет следствие. Окончится — тогда будет известно.

Она заставляла ходить меня к влиятельным людям: «Надо же хлопотать».

И каждый день с первым трамваем опять и опять к тюремным воротам, потом — в очередь к тюремному справочному окну. Так тянулось около десяти месяцев. Наконец разрешили передачу. Мама прибежала домой, чтобы кое-что собрать и отнести. Казалось, что-то сдвинулось к лучшему. Ведь мы еще ничего не понимали. Счастьем была расписочка: «Получил, Зубчанинов».

Но через две недели на темной, пахнущей карболкой стене появился длинный список. Вокруг столпились женщины, кто-то вскрикнул. Мама протолкалась, стала своими близорукими глазами разбираться. Шли фамилии, и за ними — «к расстрелу с заменой 10 годами заключения», опять — «к расстрелу с заменой» и опять... И вдруг: «Зубчанинов В. М. — к расстрелу с заменой 10 годами заключения».

Мама с трудом дошла до дома и, бросившись на постель, зарыдала. Это был взрыв накопившегося перенапряжения. Я единственный раз видел, как рыдает моя мать. Потом она заболела. Она утверждала, что у нее ничего не болит, но целыми днями лежала с широко открытыми глазами. Ничего не ела. По ночам

мы видели, что она сидит в столовой, подперев голову руками, и не спит. Ее постоянная, несдерживаемая раздражительность, всегда приписывавшаяся свойственной ей нервности, сменилась полным безразличием ко всему, что происходило вокруг. Я нашел опытного невропатолога, который установил острую форму истерии. Стали давать лекарства, уговаривать хотя бы понемножку кушать, заставляли принимать снотворное. Жизнь, хотя и медленно, стала возвращаться к ней.

Я в то время работал экономистом по разработке генеральных перспектив развития льняной промышленности. После ареста отца меня начали сторониться, хотели вычистить, но пришла директива — молодежь не только не трогать, а противопоставлять ее прежним специалистам, опираться на нее и выдвигать. Меня перестали бояться.

К концу лета стало известно, что все арестованные были вредителями. Мой начальник собрал «перспективников», в том числе и меня, и рассказал, что арестованные в своем вредительстве сознались, дали показания, в чем оно заключалось и какими мерами осуществлялось. Теперь ставилась задача разработать планы ликвидации последствий вредительства.

Мне дали копию показаний одного из бывших руководителей льняной промышленности Александра Александровича Нольде. Я знал его раньше. Это был умный, образованный, ироничный человек. Но его показания были выдержаны в трафаретно-газетном стиле. Было очевидно, что они писались под диктовку.

Надо сказать, что в мировом хозяйстве льняная промышленность тогда вытеснялась более выгодными отраслями текстильного производства — джутовой и хлопчатобумажной. Но в Советском Союзе своего джута не было, а хлопка не хватало. Поэтому предпринимались большие усилия для развития льняной промышленности. Нольде все это знал, но, вынужденный признаться во вредительстве, он, очевидно, решил, что, пожалуй, наиболее правдоподобной версией будут действия по развитию невыгодной льняной промышленности. Он писал, что, вступив в сговор с бывшими хозяевами, он изо всех сил старался тормозить строительство джутовых фабрик и вкладывать деньги в убыточные льняные фабрики. На эти деньги согласно его расчетам можно было бы построить много прибыльных джутовых фабрик, так что народное хозяйство оказалось в убытке. В заключение опять-таки в стиле газетного клише он раскаивался в своих действиях, заявлял, что шел на них, будучи связан со старым миром, и обещал порвать с ним и посвятить остаток жизни служению народа.

Я взорвался. Побежал к начальству и с молодой горячностью заявил, что уж если было вредительство, то оно заключается в этих раскаяниях. Ведь если бы строили джутовые фабрики, то стране пришлось бы покупать сырье за границей и ее зависимость от капиталистического мира оказалась бы еще большей, чем до революции.

Через месяц мне опять дали показания того же Нольде, но в новой редакции. Начиналось оно теми же раскаяниями, но затем шло описание вредительства, которое теперь заключалось уже в том, что по сговору с бывшими хозяевами вкладывались деньги в джутовую промышленность, создавалась зависимость от импорта, а развитие льняной промышленности, у которой была сырьевая база, задерживалось. В заключение осознавалась тяжесть преступления и т. д. Все было понятно. Но от того, что ложь была очевидной, дело не менялось.

Вдруг нашу знакомую Ольгу Владимировну Ливанову вызвали в ГПУ. Ее провели к Наседкину, старшему следователю по делу текстильщиков. Потом я в подробностях узнал биографию этого человека. Это был сын протоиерея. В гимназии он учился легко, хорошо пел, отличался приветливым и покладистым нравом и всем нравился. Но в 14 лет понял, что с его поповским происхождением все дороги для него закрыты. Это было в 1920 году. Он сбежал и, как беспризорник, пристал к чекистской воинской части, которая прочесывала Крым. Став воспитанником полка, он быстро превратился во всеобщего любимца — был запевалой, рассказчиком и жадно хватался за самые рискованные поручения, стремясь во что бы то ни стало выделиться. Он ходил в отчаянные засады,

учился выслеживать, узнавать то, чего узнать никто не мог, и не гнушался ничем. Когда потребовалось расстрелять двух дезертиров, а назначенные для этого солдаты заколебались, он вызвался один исполнить приговор. Пошел и застрелил парней.

Теперь в качестве старшего следователя он тоже хотел делать что-нибудь такое, что другие не могли. Заставлять подсудимых сознаваться было дело нехитрым. «Это каждый финкельштейн может», — думал он про себя. Он достаточно хорошо понимал, что этим чистосердечным признанием никто не верит. И вот он хотел показать, что он-то в отличие от других может не только добиться признаний в совершении преступлений, но и найти фактическое подтверждение этих преступлений.

Муж Ливановой, бывая за границей, имел неосторожность положить в банк небольшие деньги. Наседкин по каким-то намекам догадывался об этом и считал, что, если бы он смог получить документ, подтверждающий это, он сумел бы не только признаниями, но и вещественными доказательствами обосновать, что инженеры за вредительство получали деньги от иностранцев. Но Ливанов не сознавался.

В разговоре с Ольгой Владимировной, у которой было трое маленьких детей, Наседкин постарался проявить все свое умение располагать к себе людей. Он сказал, ссылаясь на вымышленные показания ее мужа, что за границей у них лежат деньги, которые он может перевести для нее на Торгсин, если она принесет ему банковскую книжку. Хотя Ольга Владимировна не имела представления об этих деньгах, она пообещала поискать.

Наседкин чувствовал, что получит эту банковскую книжку. Потом ее отдадут Ягоде. Ягода на самых верхах будет показывать ее как неопровержимое доказательство полной правдоподобности полученных в ГПУ признаний. И, конечно, Ягоде скажут, кто сумел обнаружить и получить это доказательство. Через несколько дней Ольга Владимировна позвонила и сказала, что нашла книжку. В дальнейшем именно это решило судьбу Ливанова, а Наседкин пошел вверх по службе.

Примерно через год после начала арестов в газетах было опубликовано странное сообщение о том, что ГПУ раскрыло могущественную контрреволюционную партию, члены которой руководили всеми отраслями народного хозяйства и вредили в них, чтобы свергнуть Советскую власть и создать свое правительство во главе с Рамзиным. Эта партия была названа Промпартией. Она якобы успешно действовала за спиной господствовавшей в стране двухмиллионной Коммунистической партии, и никто этого не замечал.

Вскоре после этого начался открытый процесс над Рамзиным и еще несколькими инженерами, отобранными из числа многих тысяч арестованных. Суд проходил в Доме Союзов. Я сумел получить билет на то заседание, на котором с обвинительной речью выступал Верховный прокурор Крыленко.

Скамья подсудимых была ярко освещена для киносъемок. С самого края сидел профессор Рамзин. Он явно позировал для кино. За ним — старик Чарновский, дальше, прикрываясь от сильного света, в черных очках — Федотов и еще дальше другие подсудимые. Крыленко с наигранным негодованием описывал ужасы вредительства. Когда он патетически возгласил: «И вот они собирались свергнуть...», — Чарновский, покорно признавший себя виновным, не смог удержаться от усмешки.

После судебного приговора все остальные арестованные уже без суда были приговорены к максимальному тогда десятилетнему сроку заключения. Нескольким осужденным почему-то дали только по пять лет. Ливанова расстреляли.

Перед отправкой отца в лагерь нам разрешили свидание с ним. Мама с раннего утра заняла очередь в тюрьме. Когда мы с братом часам к девяти приехали, то в огромной комнате ожиданий народу было так много, что даже стоять было трудно. Здесь были преимущественно пожилые женщины и молодежь вроде нас — дети арестованных. Около десяти часов вошел тюремный надзиратель и стал выкликать фамилии и называть номера окон, через которые дол-

жен был происходить разговор. Когда мы подбежали к названному нам окну, то оказалось, что оно отделено от противоположного, у которого стоял отец, полутораметровым проходом. По этому проходу ходили надзиратели. Времени на свидание давалось 15 минут.

Отец очень сильно похудел, был острижен наголо, чувствовалось, что он хочет за 15 минут сказать нам обо всем, что он пережил и передумал. После первых восклицаний и вопросов о здоровье он сказал:

— Что бы вам ни говорили, вы должны знать, что я...— Тут голос его задрожал, и он замолчал, чтобы не заплакать.

Это было так тяжело видеть, что и я, и брат закричали:

— Да мы это знаем! Это все знают! Не надо!

— Нет, я должен сказать. Наверное, мы больше не увидимся.— Голос его опять задрожал от слез, и он выкрикнул: — Я ни в чем не виноват! Ни перед людьми, ни перед правительством!

Стараясь перекричать страшный шум в зале, я крикнул:

— Не надо! Мы все знаем!

Отец взял себя в руки и начал успокаиваться. Я задал давно подготовленный вопрос:

— Скажи лучше, кто все это подстроил? Кого бояться?

Он задумался. Потом усмехнулся и очень серьезно ответил:

— Разве это кто-нибудь один делал? Никакой паршивец не смог бы.

Потом в общем шуме уже трудно было говорить, мы кричали о том, что дать в дорогу, что присылать. Он хотел что-то сказать, но только прокричал:

— Лишь бы тащить полегче!

Надзиратели объявили, что время истекло. По пахнущему карболкой коридору мы пошли к выходу. На улице нас ослепил солнечный сентябрьский день. Над бульварами далеко ввысь уходило чистое синее небо, на нем ярко выделялись оранжево-желтые липы, а стаи молодых воробьев кричали с такой жизнерадостной силой, что уличный шум как бы отодвинулся и гудел в стороне.

Месяца через три от отца пришло письмо. Оказывается, его увезли в лагерь, работавшие на Кузнецкстрое. Мама решила ехать туда. Ее всячески отговаривали. Но она твердо стояла на своем. Она сказала:

— Если он может жить там, значит, и я могу.

Но и проезд в район Кузнецких лагерей, и жизнь там были, конечно, очень тяжелыми. Нескольких суток надо было тащиться в вагоне, в котором на скамейках сидели вплотную по четыре человека, по двое корчились на верхних полках, часть народа лежала на полу — все с мешками, сундуками, большинством курили, злились друг на друга, сквернословили. А когда приехали — то как добраться до лагеря и куда деваться там?

Но плохо ли, хорошо ли все-таки всюду жили люди. Какой-то мужичок на своей телеге довез маму до лагеря, а рядом была деревня. Мама пошла по деревенским домам. В ближайшей избе, когда она рассказала, откуда и к кому приехала, ее пожалели, дали кружку молока и пшенной каши. А хлебушка, сказали, нет. Ее приютили в углу, и она за долгое время впервые смогла улечься на лавке.

Утром пошла искать. Большущее пространство было огорожено высоким забором из двойного ряда колючей проволоки, на углах стояли вышки с вооруженной охраной. Она подошла к проходной. Там сидели солдаты и играли в козла. Она не решалась заговорить с ними. Но через проходную шел здоровый, одетый в аккуратную телогрейку парень. Он производил впечатление полной независимости. Взглянул на нее, все понял и спросил: «К кому?» Оказалось, что это лагерный нарядчик.

— А, Зубчанинов! Старик из конструкторского бюро? Он теперь бесконвойный, ходит на стройку. Я его выведу.

Пошел в лагерь, и минут через двадцать — тридцать мама увидела человека с наголо остриженной головой, с полуседой отросшей бородой в необычной, не по росту рабочей одежде. Первые секунды она не могла сообразить, что это

отец, потом бросилась к нему на грудь и, дрожа и прижимаясь, заплакала от радости, жалости и горя.

Нарядчик разнес новость о приезде жены к старику Зубчанинову по всему конструкторскому бюро, и вскоре из лагеря вышли два хорошо знакомых по Москве инженера. Они обеими руками жали мамину руку.

— Господи! Да вы знаете, Надежда Адриановна, куда вы приехали? Что по сравнению с вашим подвигом воспетый в литературе подвиг княгини Волконской! Ведь тут есть нечего!

Подошел и нарядчик. Он все знал и все умел устроить. Около лагеря стояли бараки так называемых вольнонаемных и ссыльно поселенных, хотя и беспартийных, но проживающих вне зоны. Бараки были разделены на комнаты. Одна из них была разгорожена занавеской, за которой жила старуха — мать хозяев, которая согласилась предоставить угол моей маме. Убогая и все-таки радостная жизнь наладилась. Мама с отцом виделась каждый день. Он приносил ей половину своей хлебной пайки. Они теперь не были разобщены.

Но в одну из очередных встреч его не вывели из лагеря. Оказалось, ночью его взяли и увезли. Новый удар. Мама несколько дней подождала и вынуждена была вернуться в Москву. Через пару месяцев стало известно, что отец условно освобожден и назначен главным инженером крупнейшего Красавинского льнокомбината. Он приехал в Москву, получил подъемные и вместе с мамой отправился на новое место работы.

Сначала все шло очень хорошо. Добрый директор-пьяница относился к отцу с большим уважением, старался создать ему нормальные условия. Но отцу уже пошел седьмой десяток, и тащить громадный комбинат становилось трудней и трудней. То не хватало рабочих, то недодавали сырья, то не было сменных деталей для машин. А Москва требовала и требовала выполнения плана, ничего не давала, не помогала, но бранилась, выговаривала и грозилась. Через год сняли директора, назначили человека, который согласно тогдашней терминологии мог «жать». Жать он стал, конечно, на главного инженера.

Отец стал добиваться освобождения от работы. Он надеялся, что скоро введут пенсии. У какой-то старухи они сняли комнатку. «Будем жить тем, что Бог даст. Будем ждать сыновей». Вдруг в одну из ночей к ним постучали, явились трое в штатских пальто, но когда разделись, то все оказались в формах офицеров государственной безопасности. Всю ночь они чего-то искали, все перерыли и с рассветом отца увели. К девяти часам утра мама побежала к тюрьме. Стала бегать каждое утро. Но вскоре ей сказали, что отец отправлен в Вологду. Она поехала туда. Я не знаю, как она устроилась в этом чужом городе. Каждый день с утра она была у тюрьмы. Через пару недель ей сказали, что Василий Михайлович Зубчанинов скончался.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

...Но у человека есть глаза, чтобы вбирать в себя чуждое ему.
И у него есть кожа, чтобы осязать и вкушать иное.

Лион Фейхтвангер

1

Каждое утро длинными упругими шагами, обгоняя других, я с наслаждением, которое дается налаженным дыханием, быстро шел на работу. И хотя после ареста отца я стал «сыном врага народа» и знал, что меня каждую минуту могут выгнать, выслать — одним словом, растоптать и сделать тоже «врагом народа», — я жил во всю полноту своих жизненных сил. Конечно, мне помогал и тот развал, который воцарился после ареста «вредителей». Партийные руководители, которым разъяснили, что все, что они утверждали и подписывали, было вредительством, буквально опустили руки. Растерянность была так велика, что

боялись всего. Один из заместителей нашего управляющего долго колебался, утверждая какие-то расходы. Он уткнулся в поданные бумаги, чтобы не встречаться глазами с докладчиком, и молчал. Только когда все объяснили и представили справки о полной законности расходов, он написал «Разрешаю», но не подписал, а еще подумал и добавил: «Если это разрешается». Каждый старался все спихнуть на других.

Неработоспособность аппарата начинала тормозить всю жизнь. Тогда было решено нанять иностранных инженеров, а на участки, оголенные после ареста «вредителей», выдвинуть молодежь, выросшую в советское время. Вскоре в нашем объединении отрасли появилось несколько здоровенных, румяных и неизменно веселых немцев. Знали они немного, но постоянно работали в отсталых странах и имели опыт выколачивания огромных окладов. Заведовать отделами вместо арестованных назначили партийных секретарей и других партийцев, ранее занимавших мелкие и неопределенные должности. Так как продвижение молодежи носило характер кампании, то заодно выдвинули и кое-кого из беспартийных, в том числе и меня.

Дорвавшись до относительно большого и интересного дела, я начал работать с азартом, жадностью и инициативой. Все мои жизненные силы были пущены в ход, хотя я и считал, что все это до какого-нибудь нового случая. И в самом деле, когда летом меня вызвали на повторные воинские сборы, в связи с чем потребовалась общественно-политическая характеристика, то люди, с которыми я работал, которые ценили и, казалось, любили меня, написали обо мне все, что по тому времени дискредитировало человека. В объединении я был нужен, однако брать какую-нибудь ответственность за «сына врага народа» никто не хотел. На призывном пункте меня сразу же отправили домой и исключили из воинского состава.

В наркоматах заместителями народных комиссаров назначили молодежь из Института красной профессуры. Это были образованные и способные, но очень самоуверенные ребята. Им было по 26–28 лет. Впрочем, самоуверенностью отличались мы все. Вместе со своим сослуживцем я написал книгу о развитии и дальнейшем размещении нашей отрасли производства. Для реализации в условиях планового хозяйства нашей схемы мы считали возможным переселять людей, перестраивать севообороты и сеять технические культуры не там, где они растут, а там, где нужно, переделывать всю технику и технологию производства и т. д. Нельзя сказать, чтобы все это было явной глупостью. Однако основная мысль о том, что перестраивать народное хозяйство можно так же, как выполнять инженерные проекты, была по-детски наивной. Но молодежь, которой досталось тогда управление хозяйством, придерживалась именно такой точки зрения. Мы предлагали стройные схемы, не задумываясь над тем, что при любом нарушении или перестановке чего-нибудь вся связь частей, составляющих эти схемы, должна разрушиться. При выполнении наших схем что-то обязательно задержалось бы, какая-то часть была бы пересмотрена, какую-то совсем отменили бы, а в результате должно было получиться уродство и все удивлялись бы: какой дурак планировал?

Перед изданием книги ее обсуждали на всесоюзном совещании. С докладом выступал я. Мне было около 25 лет. Я решил удивить теоретическими рассуждениями, критиковал Вебера, о котором никто из присутствующих никогда не слышал, цитировал Маркса и все практические вопросы пытался связать с экономическими законами. Сначала меня слушали, и в глазах тех, на кого я смотрел, видно было удивление, потом, наверное, поняли, что слушать бесполезно, и ждали, когда закончится эта ученая болтовня. После доклада задавали вопросы, не имеющие ничего общего с тем, о чем я говорил. Спрашивали, что будет с такой-то фабрикой, дадут ли такому-то комбинату денег на достройку котельной и т. п.

Потом начались выступления представителей областей. Они, хотя и по другой причине, были еще наивней меня. Каждый требовал, чтобы его область развивалась такими же высокими темпами, какие проектировались для всей страны. Председатель, привыкший при прежних инженерах только кивать го-

ловой, а сейчас сбитый с толку цитатами из Маркса, конечно, испытывал смутные сомнения относительно моей схемы, но все-таки понимал, что она разумнее областных предложений. Заключил он так:

– В общем, должно правильно. Ничего не скажешь. Конечно, надо доработать. И учесть то, что тут говорилось. На местах тоже ведь знают. Но работа проделана полезная. Большая работа. Предлагаю принять за основу, ну, и выбрать комиссию. А сейчас для участников совещания будет концерт.

Кроме реконструкции народного хозяйства, мне пришлось преподавать техникам экономику промышленности. Большинство из них не видело в ней никакого проку, и слушали меня плохо. Но иногда бывали случаи, когда мне удавалось рассказать интересно, заставить вдуматься в удачно подобранные примеры, овладеть вниманием слушателей. И все же ощущение того, что я играю чужую роль только потому, что не оказалось ее настоящего исполнителя, не покидало меня. Я знал, что своим меня не считали.

Естественное желание жить заставляло не только работать с отдачей всех сил, но и хвататься за все, что делает жизнь полнокровной и полноценной. Я женился. Мой друг Всеволод говорил:

– В твоих условиях только идиот может обзаводиться семьей!

Раньше я чувствовал себя настолько мальчишкой, что, хотя давно смотрел на женщин с большим интересом, даже мечтать не смел, чтобы одна из них стала моей. Теперь с легкостью, о которой я никогда и не мечтал, я добился того, что красивая девушка с милыми бархатными глазами стала моей женой. Легкость победы была настолько неожиданной, что старшая сестра жены говорила: «Интересно. Из поклонника, не пользовавшегося успехом, этот вихрастый парнишка превратился в мужа. Фокус».

Хозяйство страны в это время перестраивалось, и в связи с этим шли бесконечные поиски новых организационных форм. Учреждения, управляющие промышленностью, непрерывно реорганизовывались. При одной из таких реорганизаций было решено объединение нашей отрасли перевести в Ленинград. Поводом для этого служило то, что там находился один из наших трестов. Весь аппарат объединения перевезли, слив с этим трестом.

Об этом стоит рассказать. Председателем ленинградского треста был Павел Алексеевич Алексеев. В молодости воинскую службу он отбывал на флоте, был матросом, потом работал на Путиловском заводе, а с самого начала Октябрьской революции стал красногвардейцем. Это был балагур. От природы он был одарен самыми разными талантами: великолепно пел, мог насвистеть любую арию, знал бесконечное множество непристойных анекдотов, играл на баяне, отчаянно плясал трепака, много пил и при этом никогда не пьянел. В Ленинграде его знали все, от кого что-либо зависело, и со всеми он был в приятельских отношениях, хотя многие люди, в том числе и Киров, видели его деловую никчемность. Алексеев понятия не имел о той промышленности, которую возглавлял, и даже не совсем ясно представлял, что она вырабатывает. Но в начальниках он ходил уже больше десяти лет, устроил себе великолепную квартиру с коврами, великокняжеской мебелью, камином, бронзовыми часами, позаимствованными из какого-то дворца. Приезжая из Москвы, он делился своими впечатлениями: «Заходил к замнаркому. Живет в двух комнатах. А тоже красногвардейцем был. Для дяди революцию делал».

Уже при нас к нему назначили нового заместителя. Это тоже был старый ленинградский рабочий, так же, как Алексеев, считавший, что завоевал право на устройство собственной жизни. Первым делом он велел из большой комнаты выдворить полтора десятка сидевших там сотрудников и отделать в ней для себя кабинет с кожаным диваном и письменным столом обязательно из черного дерева. Затем он коротко сошелся с нашим финансистом. Другим заместителем Алексева была бывшая ткачиха, которая в служебное время вызывала в свой кабинет портных для примерок. Все они знали, зачем делали революцию. Но Москва мешала им.

В качестве исполняющего обязанности управляющего объединением из Москвы с нами приехал молодой латыш Адамсон. Алексеев поставил ему стол

в своем кабинете и сказал: «Ну ты управляй. А пока твою подпись в банке не оформили, финансами буду распоряжаться я». После чего он тут же поехал в Москву, а через три дня вернулся с приказом о том, что управляющим назначатся он, а Адамсон откомандировывается на хлебозаготовки в Восточную Сибирь.

Устраивать нас в Ленинграде Алексеев стал по своим вкусам и привычкам. На Летнем острове в виллах бывших богачей тогда были организованы санатории и дома отдыха. Он сумел договориться, чтобы один из санаториев предоставили нам, приехавшим из Москвы. Начался сплошной праздник: санаторная жизнь, вечера в концертных залах или театрах, в которые Алексеев доставал бесплатные билеты. Оторванные от семей люди жили, как вольные казаки. Однако вскоре обнаружилось, что, хотя объединение и было в состоянии благодаря связям Алексеева всех кормить, поить и водить по театрам, но самостоятельно решать что-либо без Москвы не могло. А в Москве ничего не могли делать без специалистов объединения. Поэтому мы все время находились на колесах. Шло непрерывное катание в Москву и обратно. При широте алексеевских нравов покупались билеты в дороге мягкие вагоны и, несмотря на то что люди фактически ездили домой, им оплачивались суточные и квартирные.

Как-то возвращаясь из Москвы в мягком вагоне «Красной стрелы», я стоял у окна и смотрел на осеннюю грязную Россию. В вагоне поскрипывала отделка из полированного дерева, и, чуть отвернувшись от окна, в зеркалах я видел бархатные диваны и мягко ступавшего по ковровым дорожкам знаменитого художника Бродского, ехавшего в соседнем купе. Меня он не хотел замечать, то и дело рассматривая огромный яркий камень на своем золотом кольце. Все это не меньше, чем в свое время царский Петербург, противоречило окружавшей нас действительности и усиливало во мне ощущение временности положения. Я подумал тогда: «Конечно, это лучше, чем ехать в арестантском вагоне, но надолго ли?»

В конце осени Алексеев дал мне двухкомнатную квартиру в новом доме.

А вскоре (по пути в Москву за новым назначением) к нам заехали мои родители. Отец был такой же веселый, как всегда, но его борода стала совершенно седой.

Он подробно расспрашивал мою жену, работавшую в текстильном научном институте, о том, что там теперь делается, посмеивался над моей книгой, осматривал наше жилье. Как ни странно, но он, такой прекрасный рассказчик, очень мало вспоминал о лагерной жизни. Он рассказывал о том, как урки украли у него очки, а потом за пайку хлеба продали их ему же, какое несметное множество клопов было в нарах. Все это носило отрывочный характер, не создавая общей картины.

Тогда я стал упорно расспрашивать, как добивались того, чтобы культурные и значительные люди XX столетия сами признавали себя виновными в преступлениях, которые они не совершали.

— Ну, что с ними делали? Мучили или что-нибудь обещали?

Отец, как всегда, когда хотел и сам разобраться, и сделать что-то понятным, задумался, потом сказал:

— Видишь ли, что значит мучили? Вот Ливанова, по-видимому, страшно мучили. Но его не выпустили. Так же замучили Суздальцева. А ведь большинство других вышло живыми. Ты спрашиваешь о Рамзине. Что можно сказать? И он, и все были поставлены перед фактом: живыми отсюда не выходят. Это не только твердили следователи, этому и примеров сколько хочешь было. Все кончено, оправдываться не перед кем. Факт ареста — это уже окончательное решение твоей судьбы. И вот тебе вдальбливают: сознаешься — может быть, помилуют, не сознаешься — расстреляют. А ведь в тюрьме все известно, — и о расстрелах, и о замученных людях. И никому не пожалуешься, никуда не напишешь. Какое бы благородство ты ни проявлял — дальше четырех стен это не пойдет. Только следователь обругает или на смех подымет. А Рамзин — человек со страшной самолюбием. Бывают такие: самолюбие сильнее жизни, вешать будут, так и при этом надо себя показать. Он, наверное, и решил: уж ес-

ли погибать, так председателем правительства, прогреметь на весь мир, все лучше, чем просто подохнуть от рук паршивого следователя. По-видимому, в этом удовлетворении самолюбия он усмотрел достойную цену за жизнь. А взявшись играть такую роль, он со следователем вынужден был развивать ее, ввязывать людей, создавать хоть дурацкую, но все-таки живую ткань какого-то дела. Оснащал «фактами», фабриковал разговоры, формировал правительство. У других были другие причины.

Только не надо так упрощенно думать: вот, мол, на него донесли, оклеветали, он не сумел оправдаться, поэтому и посадили. Порядок был как раз обратный. Решали посадить. Почему — то ли по возрасту, то ли по положению, — я не знаю. Но так как в нашем канцелярском государстве всякое дело должно быть подшито в папку, то, как ни произвольны были эти решения, для них обязательно требовались основания, которые можно было положить в папку. И вот заставляли кого-нибудь из слабых или паршивых людишек написать доносик или принуждали арестованных назвать нужного им человека как соучастника. Но это требовалось только для того, чтобы к делу была пришта бумажка. А решалось все наверху, по каким-то своим соображениям.

Ну а люди ведь слабые. Их пугали, и они пугались. А пугали все-таки не чем-то — смертью, а потом начинали обещать. Те, кто поглупей, верили. Да и не совсем глупые готовы были на все, чтобы только прекратить это вытягивание жил из души. Оно ведь хуже смерти. Некоторые делали это ради семьи. Угодников тоже было много. Подхалимов, которые старались угодить. Да мы, мол, сами видели, что вредительство. Разве это, мол, не вредительство? Ну, их слушали, потом писали протокол. Деваться было некуда — подписывали. А дальше шло так: раз знали и не доносили — значит, тоже участвовали. А еще кто участвовал? И тут уж вертеться было бесполезно.

Рассказывать обо всем этом отцу было очень тяжело. Но, помолчав, он все-таки продолжил:

— Вот у меня следователем была женщина... Молодая, наверное, и семья, и дети есть. Так у нее был такой метод. Ночью меня приводили к ней, усаживали в углу. Она спрашивала: «Ну, сознаваться будешь?» На «ты». И начиналась матерщина. Какой только отборной бранью она меня не осыпала! Я некоторых слов раньше и не слышал. Причем раскраснеется, орет, как пьяная. Потом покурит, успокоится и опять: «Ну, такой-то (называет меня соответствующим матерным словом), сознаваться будешь?» И снова ругань. И так из ночи в ночь. Это было настолько... Ну как бы это сказать? Не то чтобы унижительно. Это не то слово. Это даже не грязно и не гнусно, это было вне человеческих отношений. Это все равно, что попасть в клетку в лапы к обезьяне. Можно было согласиться на все, чтобы только это кончилось. Но кое с кем было и похуже.

2

Наша жизнь в Ленинграде длилась меньше года. Объединению работать на колесах становилось невозможно. Его ликвидировали, а в Москве образовали главк в союзном наркомате легкой промышленности. Всех нас перевезли обратно. Жить стало тяжелей. Меня назначили начальником планового управления, и я вынужден был работать не только с утра до ночи, но и ночи напролет. К тому же опять начался голод.

В конце октября я с трудом вырвался в отпуск, и мы вдвоем с женой поехали в Крым. То, что нам пришлось увидеть в пути, было и удивительно, и страшно. Несмотря на позднюю осень, хлеба нигде не убирали. Они полегли и, очевидно, были брошены. На большинстве крупных станций встречались крепко запертые, идущие под воинским конвоем товарные составы, груженные людьми. На вторых путях одной из узловых украинских станций мы увидели два бронепоезда. Выпивший железнодорожник с пьяной готовностью начал объяснять:

— Агитпоезда. Понимаешь, агитпоезда? Казачки, видишь, насчет колхозов сомневаются. Ну вот, убеждать надо!

Вокзалы повсюду охранялись, и к поездам никого без билетов не пропускали. Но почти повсюду со стороны запасных путей пробирались дети. Только потом, во время войны, я видел таких же страшных детей, эвакуированных из Ленинграда. Они были исхудалые до костей, с огромными, недетскими глазами. Они уже ничего не говорили, а только тянули ручонки. Всюду рассказывали о случаях людоедства. Дошло даже до того, что в Киеве и в других городах открыто судили людоедов. Несколько позднее известный художник Курилко выставил в Москве страшные картины: старуха разделявает и варит детей.

В крымском санатории кормили очень плохо, хотя голода здесь еще не было. Но около нашей открытой столовой сидели оборванные дети и, как голодные собаки, ждали, не бросят ли им чего-нибудь.

На обратном пути из Крыма в средней России нас уже застала зима. Урожай так и остался под снегом. На многих станциях толпились солдаты. Шла война с мужицкой деревней.

Работать становилось все трудней и трудней. Все вопросы теперь решались одним-единственным человеком или его двумя-тремя непосредственными помощниками по его указаниям. Вопросов в стране было бесконечное множество, и для того, чтобы делать их понятными, человеку, который никогда ничего не слышал о них, приходилось все разрабатывать в мельчайших подробностях с самого начала и до конца. Поэтому занято этим было бесчисленное количество людей и работать приходилось, буквально выбиваясь из сил.

Председатель Госплана Межлаук со своими молодыми помощниками особенно настойчиво требовал, чтобы все до мелочей решалось в центре, чтобы никто — ни на заводах, ни даже в цехах — не смел чего-нибудь менять, чтобы вся страна только исполняла его плановые предписания. А Каганович, назначенный наркомом путей сообщения, организовал у себя в наркомате центральную диспетчерскую, чтобы из Москвы следить за движением каждого поезда.

Заработавшая на этой основе тяжелая административная машина однажды чуть не раздавила меня. Дело было так. Петерс, член ЦКК, ведавший легкой промышленностью, вызвал первого заместителя наркома Гаврилина. Иван Данилыч к этому времени сам был в составе ЦК партии. Петерс не мог предъявлять ему никаких обвинений непосредственно. Но он значительно поглядел на него, выждал минуту и сказал:

— А ты знаешь, что твои люди обманывают государство? Обкрадывают.

Оказывается, показатели планов задавались, по мнению ЦКК, ниже возможностей предприятий. Гаврилин не был уверен в этом и обещал проверить. Но Петерс сказал:

— Я уже проверил. А теперь мой аппарат готовит детальный доклад. Мы ознакомим тебя. Сможешь полюбоваться.

Гаврилин, конечно, вызвал начальников главков. Моим начальником был Эйдельман, который, как битый унтерами солдат, на всю жизнь был напуган партийной дисциплиной. Он прибежал от Гаврилина в панике, вызвал главного инженера и меня и велел принести отчетные данные. Из них было видно, что действительно каждый квартал планировалась производительность оборудования, которую фабрики перевыполняли процентов на семь, а на следующий квартал планировалась не достигнутая, а несколько сниженная производительность.

— Так, значит, мы в самом деле скрывали возможности?! Значит, действительно обкрадывали государство?! — в испуге кричал Эйдельман.

Надо сказать, что я тоже испугался. Но Эйдельман испугался от неожиданности, а я потому, что давно заметил все это и со свойственным мне тогда задором требовал от технических отделов, чтоб они повышали показатели. Но настоять не сумел и теперь понял, что это и послужило причиной скандала.

Главным инженером у нас был хотя и молодой, но вдумчивый и глубоко принципиальный человек.

— Не кричите. Успокойтесь и давайте разберемся, — сказал он Эйдельману.

Он стал анализировать цифры, припоминать, как они получались, и в результате пришел к выводу, что колебания в производительности происходили из-за

разного состава сырья: планировались одни сорта, фактически же фабрикам давали другие, перерабатываемые с более высокой производительностью. На следующий период нельзя было планировать такую же высокую производительность, потому что выделялось худшее сырье, а фактически фабрики опять работали на другом, часто импортном сырье. Все это было правильно, но означало, что фабрики работали не по задаваемому им плану, а по своему, совсем другому. Эйдельман велел подготовить подробные объяснения и мне с главным инженером идти к инспектору ЦКК, который занимался этим вопросом.

Через несколько дней нам выписали пропуски и мы явились в ЦКК.

Молчаливый инспектор внимательно изучил наши расчеты, что-то отмечал карандашиком и, ни о чем не спрашивая, прочел наши объяснения, а потом, не поднимая головы, сказал:

— Так, значит, все верно: вы планировали одно, а фабрики работали по своему плану! Двойное планирование. Причем ваши планы ниже фабричных!

Главный инженер стал горячо разъяснять, почему так получилось. Я сказал:

— Ведь для того, чтобы фабрики не меняли устанавливаемые им планы, нельзя менять и планы снабжения их сырьем!

Инспектор посмотрел на нас, подумал, потом опять опустил глаза.

— Я ничего не знаю. Я вижу двойное планирование. Так и доложу.

По всему наркомату разнеслись слухи о том, что дело должно кончиться скверно: начальника главка привлекут к партийной ответственности, а плановика, то есть меня, отдадут под суд. Но в аппарате ЦКК решили проверить и другие главки. И это спасло меня. Оказалось, что буквально у всех было то же самое. Снабжение сырьем всюду шло вразрез с планами. Снабжали чем попало. Поэтому фабрики работали по своим планам, а вся огромная машина централизованного планирования вертелась вхолостую.

Обо мне забыли. Дело разбиралось в Центральном Комитете. Наш главк при этом утонул в массе других более ярких примеров. Кончилось тем, что в «Правде» была напечатана разгромная передовая статья о преступности двойного планирования. Межлаук потребовал, чтобы планы, устанавливаемые в центре, получали силу закона. Чтобы кончить это дело, в нашем главке было устроено открытое партийное собрание в присутствии начальника инспекции наркомата. И вот тут я совершил проступок, стыд за который не прошел у меня до сих пор.

На собрании после доклада начальника главка было предложено высказаться. Выступил главный инженер. Он опять горячо и настойчиво доказывал, что ничего плохого или неправильного не было, что производственные показатели устанавливаются не по произволу, а в результате расчетов, основанных на характеристиках сырья и продукции, что за правильность расчетов он ручается: их можно проверить. Начальник инспекции был поражен. Он несколько раз прерывал речь главного инженера:

— Так, по-вашему, все правильно делалось?

— Да, правильно.

— Значит, и дальше так будете делать?

— Да. И дальше будем так же, — упрямо настаивал главный инженер.

— Ну, ну.

Инспектор думал, что он отслужит обедню, все покаются, дело будет конечно, — и вдруг такое выступление. Мне было ясно, что покаяние было бы явной ложью, и все-таки я выступил с покаянной речью. Главный инженер перестал подавать мне руку. Это было очень больно, потому что я уважал его и любил.

Страна продолжала голодать, на все были введены карточки. При этом установилась невероятная дифференциация. Было какое-то внекатегорийное снабжение, потом «ГОРТ-А», «ГОРТ-Б», первая категория, еще что-то и, наконец, иждивенческая. Я получил «ГОРТ-Б». Это было относительно сносно. Рядовые служащие и рабочие снабжались более скудно. А в провинции по карточкам почти ничего не давали, и опять все занялись огородничеством.

Вскоре начались забастовки. Сначала забастовали текстильщики в Шуе. Через несколько дней остановились фабрики и в других ближайших городках. Потом забастовало все Иваново. Говорят, начали организовываться стачечные

комитеты. В Иванове стихийно возникали массовые митинги. Никаких политических требований на них не выдвигалось. Народ кричал только о хлебе.

Туда срочно выехал Гаврилин. По-видимому, его сообщения были очень тревожными, потому что вскоре вслед за ним были отправлены две пехотные дивизии. Затем выехал сам народный комиссар с заместителем ОГПУ.

Обо всем этом говорили только потихоньку. Подробностей никто не знал. Дело тянулось целую неделю. Кроме войск, в города Ивановской области пришлось отправить и продовольствие. А в Средней Азии шла упорная партизанская народная война.

Фронт, открытый против мужицкой деревни, все расширялся. Нужно было или мириться, или усиливать и усиливать полицейскую диктатуру, подкрепляемую постоянным устрашением и подавлением. История пошла по второму пути. А в связи с этим потребовался диктатор, которому необходимо было создавать непререкаемый авторитет и всеобщее преклонение.

3

Наступил 1934 год. Стало известно, что на XVII съезде партии, который происходил в начале этого года, многие из членов ЦК в частном порядке поговаривали о смене диктатора. Более приемлемым считался Киров. После этого начали пресекать всякие выпады против Сталина. Теперь то и дело кого-нибудь арестовывали.

Мой университетский друг Павел Афанасьевич Горшков с женой Ольгой Сергеевной были совсем далеки от политики. У них было двое детей, и предаваться праздным размышлениям и разговорам им было некогда. По окончании университета, когда историю как науку и предмет преподавания ликвидировали, Павел Афанасьевич стал преподавать математику и русский язык. В начале тридцатых годов было приказано всем руководящим работникам учиться, и он получил возможность индивидуально обучать грамоте несколько крупных работников. Это хорошо оплачивалось. С большим юмором рассказывал он о члене коллегии наркомзема, которого он пытался обучать правилам русского языка. Узнав, что его преподаватель беспартийный, этот ученик относился не только к нему, но и ко всей его науке очень подозрительно. Как только Павел Афанасьевич приходил, он убирал со стола все бумаги и запирали ящики. Ни одному правилу грамматики он не хотел верить.

— Сказуемое? А почему это — сказуемое, а это нет? Все сказывается. Что-то не то говорите... Дополнение? А к чему оно дополняется?

Другой такой ученик, наоборот, был очень приятный латыш. Постичь грамоту он считал делом безнадежным, но любил поболтать, пошутить и проникся большой симпатией к своему учителю.

Осенью Ольга Сергеевна сообщила мне, что Павел Афанасьевич и ее старший брат арестованы. Через несколько дней арестовали еще нескольких их знакомых, а через некоторое время моего двоюродного брата Николая Груздева и его товарищей.

Латыш, бывший ученик Павла Афанасьевича, под большим секретом рассказал Ольге Сергеевне, что ГПУ раскрыло контрреволюционную организацию молодежи и что ее муж причисляется к ней. «Все крутят, — сказал он, — ведут себя очень плохо. Но Павел Афанасьевич ведет себя честно. Молодец».

Тогда мы еще не вполне уяснили, что является честным в понимании ГПУ. Но позднее я своими глазами прочитал документ, на основании которого был сделан этот лестный отзыв. Павел Афанасьевич собственной рукой написал:

«Я никогда не был согласен с политикой советской власти. Я не согласен с методами проведения коллективизации. Я никогда этого не скрывал. Свои взгляды я высказывал Зубчанинову, Смирнову». Далее перечислялся ряд фамилий. Конечно, это было честным признанием. Но оно послужило основой для создания большого провокационного дела. Начали арестовывать перечисленных Павлом Афанасьевичем лиц и говорили, что во всем сознавшийся Горшков дал показания об их участии в контрреволюционной организации, обсуждав-

шей и разрабатывавшей планы свержения советской власти. На этом основании требовали от упомянутых лиц признания в совершении преступлений. То, что в общей форме написал Павел Афанасьевич, всячески развивалось и детализировалось. Каким-то образом к этой организации причислили и моего двоюродного брата Николая Груздева с товарищами, хотя никто из них Павла Афанасьевича не знал, как и он их.

Через месяц Ольга Сергеевна опять вызвала меня. На этот раз она была подавлена еще больше. Оказывается, накануне выпустили ее брата. На все попытки добиться от него, в чем дело, он только просил оставить его в покое до утра, а утром выяснилось, что он повесился. Это был человек исключительной порядочности. Можно себе представить, к чему его вынудили, чтобы получить основание для ареста Павла Афанасьевича, если он покончил с собой. Когда в ноябре я вернулся из отпуска, то увидел в квартире полный разгром: из шкафов все было выброшено, книги лежали на полу, повсюду валялись какие-то бумаги. Оказывается, этой ночью арестовали моего младшего брата Шуру. Было очевидно, что арестовали его вместо меня. То ли потому, что Павел Афанасьевич указал фамилию Зубчанинов без инициалов и забрали того Зубчанинова, который был налицо, то ли меня считали фигурой более крупной и для моего ареста требовалось больше показаний. Но ясно было, что сам Шура никому не был нужен.

Моя мама опять возобновила хождения в тюрьму, а отец взял отпуск и добился свидания с Вышинским. Вышинский сказал:

— Ваш сын обвиняется в тяжелом политическом преступлении. Его делом заняты органы государственной безопасности.

— Но он никогда не интересовался политикой. Ведь это же мальчишка. Что он мог?

— Я в его возрасте тоже занимался антиправительственной деятельностью.

Началось вымогательство признаний. Шура долго сидел без передач в Бутырской тюрьме. Потом, как случайно нам удалось узнать, его перевезли в Смоленск. Там же сидели Николай Груздев и его товарищи. Вскоре арестовали бывшую Шурину жену. Только через год Шура прислал письмо. Он писал:

«Я много пережил и передумал. У меня было столько времени, что я даже сумел отучиться картавить. Я не только не мог сопротивляться, но считал это невозможным, потому что иначе круг арестов все расширялся бы».

Вначале Шура был в Магаданских лагерях на инженерной работе. Но потом его как террориста держали только на самых тяжелых физических работах в отдаленных местностях. Он был лишен права переписки. В начале 1936 года к нам зашла молодая женщина, которая ездила к мужу, состоявшему в лесозаготовительной бригаде вместе с Шурой. Она рассказывала, что Шура очень страдает от цинги. Он погиб, не дожив и до 30 лет.

В декабре 1934 года при непонятных обстоятельствах убили Кирова. Это было использовано для того, чтобы усилить и расширить борьбу с народом. Начали арестовывать уже не только беспартийных специалистов и думающую молодежь, но и коммунистов. Аресты и их причины держались в секрете. Когда приходилось звонить на работу «изъятого» человека, сослуживцы обычно отвечали: «Он серьезно болен, долго не будет». Это создавало таинственность и порождало всевозможные домыслы. Шепотом передавались слухи о страшных контрреволюционных заговорах.

Был арестован директор нашего Харьковского комбината Файбышенко и еще ряд наиболее самостоятельных и видных директоров. Был арестован директор Института Маркса — Энгельса при ЦК Рязанов, который во время обыска бегал по комнате и кричал: «Докатились, докатились!» В нашем наркомате арестовали бывшего секретаря ЦК Преображенского. Почему-то арестовали множество выдающихся ученых-историков. Во всех партийных организациях то и дело выхватывали по одному или по несколько человек. В Ленинграде арестовали всех секретарей райкомов.

Начали сажать тех молодых людей, которых два года назад выдвинули на руководящие должности. В Государственном льнопеньковом комитете пересажали

ли все недавно назначенное руководство. Молодежь берегли еще меньше. Образование, полученное в Институте красной профессуры, считалось, по-видимому, не очень ценным, поэтому его выпускников расстреливали.

К началу 1935 года мы ждали появления на свет первого ребенка. Жена страстно хотела его. Я любил жену и вместе с нею радовался, что нас будет трое.

Шестого декабря, за месяц до срока, родилась дочка Катя. Когда ее привезли домой, я увидел маленькое, старчески-сморщенное красное личико с непомерно широким плоским носом, с беззубым ртом, растянутым в постоянном реве. Она орала, как будто у нее все болело. Даже непонятно было, откуда у крохотного и слабенького существа бралось столько сил для такого громкого крика. Прошло довольно много времени, прежде чем она научилась радостно улыбаться и стала походить на милого человеческого ребенка.

С нами жила Любаша, которую мои родители когда-то взяли из глухой рязанской деревни.

У нее были совершенно безошибочный такт и редкая деликатность. С каждым человеком она старалась найти правильный тон, ничем его не обидеть и показать, что к нему хорошо относятся. Все это выходило у нее бесхитростно, просто, ненавязчиво. Хотя жена считала, что растить ребенка должна она сама, Любаша помогала ей и всю свою любовь отдавала Катьке.

И вдруг все оборвалось. Пришел мой черед. В марте 1936 года наш главк готовился к большой конференции. Я составлял доклад с массой расчетов. Както по этому поводу мне пришлось зайти в кабинет к начальнику главка. Он говорил по телефону и, увидев меня, замахал рукой, чтобы я ушел. Вероятно, разговор велся обо мне. Выйдя в секретариат, я взял трубку от телефона начальника. С ним говорил нарком. Он спрашивал обо мне. Начальник отвечал:

— Это... хороший специалист. Его все знают. И Иван Данилыч знает. Я бы сказал — очень активный товарищ.

Нарком помолчал, а потом сказал:

— Так вот. Если у него есть что-нибудь нужное, вы сегодня же у него примите. Завтра его не будет.— И повесил трубку.

Жена работала двумя этажами ниже. Я прошел к ней, рассказал и попросил, чтобы она по дороге домой купила чемодан. Когда я вернулся, меня уже разыскивал начальник. В кабинете вместе с ним сидела его заместительница. Они потребовали, чтобы я принес доклад и объяснил расчеты. Это заняло много времени. Домой я вернулся поздно. Несмотря на то что на моих глазах арестовали отца, брата и каждую ночь брали новых людей, все-таки не хотелось верить, что вот сейчас я в последний раз войду в дом и потом уже никогда не приду сюда снова. «Если она не купила чемодан — ничего не будет». Я разделся, прошел в столовую и на диване увидел новый чемодан. Надеяться было не на что.

Мы поужинали, и я стал готовиться. Этим словом трудно передать мое состояние. У меня не было ничего, что следовало бы сжечь или спрятать. Я положил в чемодан пару белья, носки, достал высокие сапоги и портянки. Потом все это убрал, чтобы не видно было, что я ждал ареста. Время подходило к полуночи. Никто не приходил. Я устал, решил лечь и заснул. Мне показалось, что позвонили тотчас же, но, оказывается, было уже два часа ночи. Наверное, почувствовав что-то недоброе, отчаянно заплакала и закричала Катька.

В отличие от латыша, который забирал отца, за мной явился преисполненный важности порученного ему дела молодой красивый еврей, по-видимому, глупый, как баран. Первым делом он спросил: «Где оружие?»

— Нет?! Посмотрим.— Он вспарывал матрацы, рылся в них, отрывал обои, а когда дошел до книг, то вызвал помощника и велел просматривать в них все пометки. Ничего не находилось. Хотя он и не снисходил до разговоров с нами, с досады у него вырвалось: — Здорово подчистились!

В самый последний момент, когда он выворачивал мамину шифоньерку, ему попалась хранившаяся там небольшая пачка Шуриных писем. Он даже не сумел скрыть своей радости. Обыск закончился только утром.

Я обнял Катьку. Она упиралась и отталкивала меня всем своим маленьким упругим тельцем, как будто не хотела, чтобы все это было всерьез. Потом я по-

целовал жену с мелькнувшей вдруг мыслью, что это в последний раз, поцеловался с Любашей, которая истово перекрестила меня, и со своими новыми хозяевами в открытой легковой машине поехал на Лубянку. Когда в глубине двора калитка в тяжелых железных воротах захлопнулась, оставив меня наедине с охраной, я почувствовал, что весь прежний мир закрылся навсегда. Я попал туда, откуда уже не выходят.

Меня отвели в тюрьму, велели раздеться догола, обыскали одежду, прощупали все швы, осмотрели под мышками, в заднем проходе, во рту. Потом вымыли, сфотографировали, повесив на грудь дощечку с номером, и отвели в камеру. Там уже были три человека. Они только что проснулись и шепотом начали меня спрашивать: «За что?» Я ответил: «Не знаю». Все засмеялись. Снаружи постучал надзиратель: «Тише!» Кто-то сказал:

- Сначала все не знают.
- Но я действительно не знаю.
- Ну, следователь знает.
- А вы-то знаете?

Один был молодым чекистом. Он рассказывал туманно, но не скрывал, что что-то натворил: «Думал, отделаюсь гауптвахтой, но вот посадили!» Другой сказал: «В двадцать седьмом немножко развязал язык на партийном собрании. Теперь вспомнили». Третий заявил, что сидит по недоразумению и его должны выпустить. Видно было, что откровенных разговоров друг с другом побаивались. Все, как и я, только еще присматривались к тюрьме.

Вскоре нам дали кашу, а потом я постарался поспать после бессонной ночи. На обед принесли довольно сытную баланду. В десять часов вечера надзиратель постучал: «Отбой. Спать». Ночью форточка в нашей двери открылась, надзиратель спросил: «Кто из вас на «З»? Я сказал, что я на «З». «Одевайся». Я хотел надеть шубу и шапку, но он замотал головой: «Не надо, здесь, в помещении». Меня повели какими-то переходами, поднимали на подъемнике и, наконец, ввели в маленький кабинет.

За столом сидел молодой человек, который прошлой ночью арестовывал меня. На нем был мундир лейтенанта государственной безопасности. Он оказался моим следователем.

- Ну, успели подумать? Может, сразу чистосердечно сознаетесь во всем?
- В чем мне сознаваться?
- Он меня спрашивает! В своих преступлениях.
- Товарищ следователь, я никаких преступлений не совершал.
- Какой я вам товарищ! — Он ударил кулаком по столу. — Я работник государственной безопасности, а вы государственный преступник. Хорошо еще, что я позволяю вам сидеть перед собой!

Я не привык к такому крику и замолчал, пытаюсь взять себя в руки, чтобы не ответить дерзостью. Затем я сказал:

— Гражданин следователь, если у вас есть данные, чтобы считать меня преступником, скажите какие. Я опровергну их.

— Он будет опровергать! Я вижу, что вы до сих пор не поняли, где находитесь. Данных у нас более чем достаточно. Понятно? Мы можем хоть сейчас расстрелять вас. Надо сознаваться, если хотите сохранить свою жизнь. — Он сунул мне бумагу. Это был печатный бланк акта о предъявлении мне обвинения в контрреволюционной деятельности. В чем она заключалась и на чем основывалось обвинение, сказано не было. Через весь лист красным карандашом наспех была начертана огромная буква «Я». Это значило, что акт утвердил генеральный комиссар госбезопасности Ягода.

- Подпишите, что читали.
- Я подписал: «Читал Зубчанинов».
- Пока все. — Он хотел нажать кнопку звонка, но я спросил:
- Скажите, как ваша фамилия?
- Это вам для чего? Незачем вам знать.

Следующей ночью мне велели собрать вещи и вывели во двор. Там стоял «черный ворон», в котором посередине шел узенький проход, а по обеим сто-

ронам были крохотные клетки, достаточные только для того, чтобы вплотную втиснуть и поставить человека. Меня втокнули в одну из них и заперли на замок. Когда заполнили остальные клетки, «черный ворон» отвез нас в Бутырскую тюрьму. Тут опять раздевали, обыскивали, мыли, но посадили уже не в общую камеру, а в одиночку.

Надо сказать, что я родился счастливчиком: мне всегда везло. В тюрьму я попал в тот короткий период, когда Сталин начал сомневаться в верности Ягоды и сделал попытку ограничить произвол и бесконтрольность ГПУ. Тюрьма выглядела относительно прилично. В моей одиночке была койка с матрацем и постельным бельем. Из тюремной библиотеки можно было получать книги. Каждый день минут на 20—25 выводили гулять. Однако то, что называлось следствием, велось по-прежнему.

Ночью, когда я уже засыпал, форточка в двери открылась, надзиратель тихонько постучал и шепотом спросил: «Фамилие?» Я так же шепотом ответил, он проверил по бумажке и сказал: «Одевайся». Потом он открыл камеру, сдал меня другому надзирателю, который расписался в бумаге и молча указал мне, чтобы я шел впереди него. Ни у кого из надзирателей не было оружия. Каждый держал только большой ключ. Коридор был устлан мягкой ковровой дорожкой, чтобы не было слышно шагов. То и дело он прерывался запертой железной дверью. Подходя к ней, мой конвоир тихонько постукивал ключом о пряжку своего ремня, а надзиратель, дежуривший с той стороны, отпирал дверь. Но один раз форточка в двери приоткрылась, и дежурный предостерегающе поводит поднятым пальцем. Это означало, что в его отсеке тоже кого-то вели и надо было подождать, чтобы мы не встретились и не увидели друг друга. Потом дверь открылась, и мы пошли дальше. Когда коридор кончился и мы вышли на лестничную клетку, я заметил, что все ее пролеты затянуты прочной металлической сеткой — чтобы люди не бросились вниз. Подойдя к подъемнику, надзиратель открыл его, осторожно втокнул меня, как зверя в клетку, и задвинул решеткой. Спустившись на первый этаж, он выпустил меня из клетки и подвел к столу, за которым сидели две женщины в солдатской форме. Одна расписалась в получении меня от конвоира, другая отвела в кабинет следователя.

Он уже ждал меня. Кабинет представлял собой просторную, почти пустую комнату с голыми стенами. У одной из них за небольшим простым столом, на котором ничего не было, сидел следователь. У противоположной стены стояла табуретка. Войдя, я сказал: «Здравствуйте». Не отвечая, следователь буркнул: «Садитесь». Я было взялся за табуретку, чтобы придвинуть ее к столу, но он, повысив голос, сказал:

— Нет. Там, там садитесь.— Оказывается, между нами должно было существовать разделяющее пространство. Он спросил: — Ну, подумали? Будете сознаваться?

Я ответил, что сознаваться мне не в чем.

— Значит, продолжаете упорствовать? Мы, конечно, знали, что вы за фрукт. Знали, что вы будете скрывать ваши темные делишки. Но не удастся. Слышите — не удастся! Заставим говорить. Как миленький сознаетесь! И я советую — делайте это скорей, вам же будет легче.

Я повторил, что сознаваться мне не в чем.

— Ну, посидите.

Наступило молчание. Я прислонился спиной к стене. Он закричал:

— Сидите как следует. Не смейте пачкать стену!

После этого опять наступило молчание. Он начал дремать. Перед ночной работой его, по-видимому, хорошо покормили, и теперь, когда им овладевала дремота, он не мог удержать газов. Их звуки будили его, он слегка приподымал свои красивые ресницы и кашлял, деля вид, будто и тогда был кашель.

Время тянулось мучительно медленно, меня страшно клонило ко сну, но я преодолевал себя, стараясь не показать слабости. По моим соображениям, шел второй час. Следователь встрепенулся. Он протер глаза и спросил опять:

— Будете сознаваться? — Я молчал.— Ну так как? — Я продолжал молчать.— Ах, ты, сволочь паршивая! Еще возиться с тобой приходится... Ну посидите, посидите. Посмотрим, что вы высидите!

Он вынул из кармашка записную книжку, стал перелистывать ее, зевал, барабанил пальцами по столу. Время ползло еле-еле. Он встал, потянулся и вплотную подошел ко мне. Я подумал, что он хочет ударить меня, и взялся за край табуретки, чтобы ответить. Я был еще очень наивен и не знал, что такого примитивного избиения, которое могло бы превратиться в драку, они никогда не допускали. Он пристально посмотрел на меня и спросил:

— Что такое «синий бобик», вы знаете?

Я ответил, что не знаю. Он щелчком изобразил выстрел и сказал:

— Вот всадыт вам в затылок «синий бобик», тогда будете знать. Домолчитесь.— Затем немного походил по кабинету, вновь уселся за стол и в десятый раз спросил: — Ну так как?

Опять наступило тягостное молчание. Через замазанное белилами окно я заметил, что светает и стало видно наружную решетку. Он посмотрел на часы и, решив, что норма за сегодняшний день выполнена, нажал кнопку и сказал вошедшей женщине в солдатской форме:

— Уведите.

Почти каждую ночь до рассвета повторялось то же самое. Иногда он задавал незначительные вопросы: давно ли я знаком с тем-то и тем-то, переписывался ли с братом, знаю ли такого-то? — и записывал это в протоколы. Как-то к концу первого месяца, когда меня опять привели к нему, он не задал обычного вопроса, буду ли я сознаваться. На столе у него лежала папка. Он полистал ее, нашел нужную страницу и спросил:

— Вы почерк Горшкова хорошо знаете?

— Да, хорошо.

— Подойдите сюда. Читайте.— Держа папку в руках, он показал мне ту собственноручную записку Павла Афанасьевича, о которой я говорил раньше.— И после этого вы будете утверждать, что вам не в чем сознаваться?

— Конечно, не в чем. Что тут особенного?

— Это мне нравится! Раскрытый нами контрреволюционер, член подпольной подрывной организации, пишет, что вел с ним свои контрреволюционные беседы, а он еще спрашивает, что тут особенного! И ваш родной брат тоже показывает.

— А что он показывает?

— Кто ведет следствие? Я или вы? Садитесь на свое место и отвечайте на вопросы.

Первый вопрос был о том, давно ли я знаком с Горшковым. Я ответил, что с университетских лет и поддерживал знакомство с ним все время, вплоть до ареста. Мой лаконичный ответ он записывал довольно долго. Затем спросил, вел ли я с Горшковым беседы на политические темы. Я ответил: «Да». Этот ответ он записывал еще дольше. Последовали вопросы: говорили ли мы о коллективизации, продовольственных трудностях, необоснованности репрессий и другие. На большинство вопросов я отвечал «да», ничего при этом не развивая. Он этого не требовал. Внезапно он спросил:

— А где программа?

— Какая программа?

— Ну программа вашей организации, которую вы писали с Горшковым?

Я горячо стал утверждать, что не только не писал, но никогда и не слышал ни об организации, ни о программе. Он выслушал и сказал с оттенком сарказма:

— Неважный из вас артист.

И опять стал писать. Всю ночь до рассвета писался протокол. Уже утром, когда совсем рассвело, следователь велел мне подойти и сесть к столу.

— Подписывайте!

Я стал читать. Все, что было записано в протоколе, не имело ничего общего с тем, что он спрашивал и что я отвечал. Например, о знакомстве с Горшковым было сформулировано так:

«— Когда вами были установлены контрреволюционные связи с Горшковым и как долго они продолжались?»

— Мои контрреволюционные связи с Горшковым были установлены еще в университете и активно продолжали действовать без перерыва до его ареста».

О моих беседах с Павлом Афанасьевичем следователь записал:

«— В чем состояло содержание ваших контрреволюционных бесед с Горшковым?

— Я систематически обсуждал с Горшковым внутреннее политическое положение с точки зрения наших контрреволюционных целей и вырабатывал в этих беседах программу свержения советского строя, восстановления частной собственности и капиталистических отношений в нашей стране».

О самой программе было записано:

«— Где находится составленная вами и Горшковым программа вашей контрреволюционной организации?

— Разработанная мною с Горшковым программа нашей контрреволюционной организации хранилась в неизвестном мне месте.

— Вы неискренны, следствие располагает сведениями, что место нахождения программы вам известно, сообщите его.

— Настаиваю, что местонахождение программы мне неизвестно; может быть, она уничтожена».

Весь протокол был составлен в таком же духе. Я сказал:

— Но ведь ничего подобного я не говорил!

— А вы думаете, что я должен писать диктанты?

— Я подписывать это не буду.

— Это почему?

— Потому что это неправда.

— Как вы смеете! Целый месяц он пытается меня путать да еще набрался смелости утверждать, что органы государственной безопасности лгут! Он хочет, чтобы я писал диктанты!

Я молчал.

— Ну будете подписывать?

— Нет.

Следователь вдруг заорал:

— Встать!

Я встал.

— Марш на свое место! Встаньте у стены. Будете стоять, пока не подпишете.

Стоять было трудно. Но ночь уже прошла. Следователь и так затратил больше времени, чем обычно.

Заставив меня постоять с полчаса, он нажал кнопку звонка и велел меня увести. Днем дежурный надзиратель отобрал имевшиеся у меня книги. Очевидно, следователь решил взять меня измором. Теперь в течение всего дня я вслушивался в дыхание тюрьмы. Она представляла собой огромный организм, состоящий, как из клеточек, из многих тысяч людей. Днем все молчало. Но, как спящий человек не похож на мертвого потому, что дышит, посапывает и вздыхает, так и тюрьма в своей дневной тишине ни на минуту не оставалась мертвой. Из моей одиночки слышалось, как по мягким коридорным дорожкам почти бесшумно шагает надзиратель, останавливается у камер, осторожно открывает глазки и, затаившись, заглядывает в них. Слышно было, как в нижнем коридоре, кроме неторопливых шагов надзирателя, вдруг появлялись такие же тихие, но более торопливые шаги и доносилось постукивание ключом. Значит, кого-то вели. Вот мой надзиратель останавливается и с кем-то шепчется. В руках у него зашуршала бумажка. Вслед за этим с коротким лязгом открывается третья или четвертая от меня камера и кого-то выводят.

До обеда я устраивал большую прогулку, не менее чем в шесть километров. В моей камере по периметру было десять шагов. Нужно было обойти ее шестьсот раз. В 12 часов слышалось, как железные двери нашего отсека открывались, без обычной осторожности входило несколько человек. По звуку их тяжелых шагов чувствовалось, что они что-то несут. Это начиналась раздача обеда. После обеда я старался приманить к окну голубей. Но они были сильно из-

балованы (их всюду прикармливали) и поэтому прилетали не всегда. Затем я опять гулял, делая еще четыре километра.

По ночам следователь перестал вызывать меня. Раньше я сидел у него и не имел возможности наблюдать ночную жизнь тюрьмы. Оказывается, она была значительно оживленней, чем дневная. Когда населявшие тюрьму люди должны были спать, сама она просыпалась и начинала усиленно функционировать. В первую же свободную ночь я проснулся часов в двенадцать и услышал крики, стоны, разговоры и плач, доносившиеся, очевидно, сразу из многих помещений. Мое окно выходило в один из наиболее закрытых внутренних дворов. В него же выходили окна следовательских кабинетов. Через форточку было слышно, как кричал и ругался тот или иной следователь, истерически плакали женщины, со слезами в голосе оправдывались и спорили мужчины, колотили кулаками по столам. Слов разобрать было нельзя, но характер всего этого гула нельзя было не понять. До меня доносилась ночная работа застенка. Слушать было очень тяжело. Я закрывал форточку, но подолгу не мог успокоиться и заснуть. По всем коридорам слышались торопливые шаги, то и дело с коротким лязгом отворялась какая-нибудь камера, кого-нибудь уводили или приводили. Однажды из нижнего коридора на всю тюрьму раздался отчаянный крик:

— Прощайте, товарищи! Ведут...

Крик прервался, но было очевидно, что кого-то вели на расстрел.

Через неделю следователь вызвал меня:

— Ну подумали? Мы дали вам достаточно свободного времени. А то сидит, как в санатории, книжки почитывает. Хвост начал подымать. Будете подписывать?

— Нет.

— Значит, мало? Надо еще что-то предпринять?

Но в его тоне не хватало какой-то, может быть, сотой доли настоящей угрозы. Я сказал, что подписывать не буду. Он ругался, заставил просидеть у него целую ночь, но, ничего не добившись, оставил меня в покое на целых две недели. Потом вызвал и недовольным тоном спросил:

— А, собственно, что вам не нравится в протоколе? Ну вот первый вопрос. Вы же сами сказали, что связаны с Горшковым с университетских лет.

— Знаком, а не связан.

— А какая разница?

— Если нет разницы, то так и запишите.

Он помялся, полистал протокол, но не стал ни ругаться, ни кричать, а принялся писать заново. То ли ему сказали, что действовал он слишком упрощенно, то ли это был прием — запросить максимум в расчете на то, что при этом даже после смягчения формулировок что-нибудь останется, но он стал покладистой. Наверное, и следствие надо было кончать. У него тоже был график. В новом протоколе все было смягчено, но то обстоятельство, что я с закоренелым контрреволюционером обсуждал политические вопросы, говорил о жестокости коллективизации, о тяжелом производственном положении и т. п., осталось. Больше ничего не требовалось.

Еще через неделю следователь дал мне расписаться в акте об окончании следствия. Я спросил:

— Что же будет теперь?

— Будут судить.

— Ну и на что можно рассчитывать?

— Я предупреждал, что вас ждет. Не хотели сознаваться, теперь кушайте. Неразоружившихся врагов мы не жалеем.

В камере я вновь получил книги и спокойно сидел, запретив себе думать о суде и приговоре. К концу третьего месяца меня вызвали вопреки обыкновению днем и провели в какую-то незнакомую маленькую комнату. За столом сидел рыжий лейтенант с пачкой небольших бумажек. Он велел сесть, спросил фамилию, порылся в пачке и достал узенькую выписку из протокола Особого совещания. В ней было написано:

«Слушали: дело Зубчанинова В. В., рождения 1905 года.

Постановили: за контрреволюционную деятельность заключить в исправительно-трудовые лагеря на 3 года».

Лейтенант сказал:

— Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Распишитесь.

Я спросил:

— А нельзя узнать, в чем заключалась моя контрреволюционная деятельность?

Он не выразил удивления, как будто все спрашивали об этом же, и без всякого желания продолжать разговор ответил:

— Я не знаю.

Внутренне я торжествовал. Вместо военного трибунала и расстрела, даже вместо десяти лет, которые еще недавно давали всем, мне посчастливилось отделаться тремя годами. Я попал в тот короткий период, когда права Особого совещания ограничились и оно могло приговаривать не более чем на пять лет. Тогда я и не представлял себе, что мои три года превратятся в целые двадцать.

4

Через неделю после объявления приговора меня вызвали на этап, обыскали, отняли помочи, отрезали все металлические пуговицы на штанах и пряжки на вещевом мешке. Потом заперли в «черный ворон» и повезли. Машина покатила куда-то, по-видимому, через центр, и остановилась, судя по пыхтению паровозов, где-то на вокзале.

Был майский солнечный день. Темный железный ящик, в который меня втиснули, начал быстро нагреваться. А я был во всем том, в чем ушел из дому зимой, — в шубе и шапке, шерстяном джемпере и теплом костюме. Жара становилась невыносимой. Мокрым стало не только белье, но и костюм. Стащить шубу никак не удавалось, потому что в ящике нельзя было не только повернуться, но даже пошевелить плечами. От жары, духоты и усилий вывернуться из шубы сердце билось так отчаянно, что, казалось, должно было разорваться. То же происходило и в соседних клетках. Люди задыхались, истерически кричали, колотили в стенки. Наконец, не выпуская нас из клеток, конвой отворил входную дверцу. Стало полегче. К тому же я все-таки вылез из своей шубы и снял шапку. Через решетку я увидел, что находимся мы на железнодорожных путях и, кроме нашего, там стоят еще несколько таких же «черных воронов».

Немного успокоившись, мои соседи начали оживленно переговариваться. Среди них оказалось несколько человек из польской секции Коминтерна, они спрашивали друг друга, где такой-то, в какой камере сидит Антек, получил ли приговор Стась и так далее. Все они сидели в общих камерах, были обо всем осведомлены и довольно смело кричали. Кто-то постучал в мою стенку и спросил:

— А вы, товарищ, из какой камеры?

Привыкнув к дисциплине одиночного корпуса, я полупшепотом ответил:

— Из одиночки.

Соседи засмеялись:

— Из одиночек они, как из института благородных девиц!

Наконец в машину вошел конвой, стал отпирать клетки и по очереди выпускать нас. Перед машиной в два ряда стояли солдаты, между которыми мы должны были строиться. Поляки, выскочив из машины, обнимались. Но конвой кричал: «Давай кончай, кончай! Давай разбирайся по четыре!» — и строил колонну. В хвосте колонны были женщины.

После страшной бани, пережитой в машине, ослепленный солнцем и сбитый с толку сутолокой, в которой формировалась колонна, я не мог разобраться, что за люди стоят и едут со мной. Я видел только заросшие бледные лица и пыльную, помятую одежду. После того как нас несколько раз пересчитали и убедились, что все налицо, начальник конвоя скомандовал:

— Внимание! При следовании колонны шаг вправо, шаг влево считается побегом. Конвою стрелять без предупреждения. Вперед!

Нас повели к арестантскому вагону. Здесь принимал другой конвой. Начальник стоял у вагона с пачкой больших запечатанных конвертов. Он вызывал по фамилиям, спрашивал имя и отчество, год рождения, статью, срок, сверял все это с тем, что написано на конверте, и посылал в вагон.

Арестантские вагоны были устроены так: слева шел коридор, как в обычных пассажирских вагонах третьего класса, но с решетками на окнах; вся правая часть, где помещались кабины для людей, была отгорожена от коридора сплошной железной решеткой с запертыми тоже решетчатыми дверями; в кабинах было по четыре этажа; в нижнем сидели восемь человек; во втором сидеть было невозможно, там лежали шесть человек, то же в третьем и четвертом этажах; окон в кабинах не было. Я влез в вагон. Стоявший в коридоре солдат в мятой, грязной шинели указал мне кабину. Я сунулся в нее, но увидел, что все занято.

— Тут нет места!

— Полезай, полезай! Тесно! Еще не знаешь, какая бывает теснота! Мы, как снопы, друг на дружку грузим.

Я влез на вторую полку, с нее на третью и просунул голову в люк четвертой. Там было пять пассажиров. Но сидевший с краю человек в таких же очках, как у меня, сердито закричал:

— Куда? Тут полно!

Через очки на меня смотрели злые, испуганные глаза. Похоже было, что вся шерсть на человеке взъерошилась и он готов укусить. Солдат снизу кричал: «Залезай!» — деваться мне было некуда, и я втиснулся, навалившись на другого соседа. Ощущение было такое, будто меня сунули в битком набитый пыльный ящик. Все были ошеломлены погрузкой, опасливо поглядывали друг на друга и молчали, не решаясь двигаться.

Потом, когда немножко начали приходиться в себя, сосед, чуть было не укусивший меня, но, очевидно, по очкам признавший за своего, глазами указал на соседа с другой стороны и предостерегающе подмигнул. Я повернул голову и поглядел на него. Он действительно выглядел не так, как остальные. Большинство этапа состояло из интеллигентов. Этот же похож был на крестьянского парня с простой рожей, красной, почти как его большие полуоткрытые губы. Одет он был в солдатскую форму со споротыми петлицами. Парень тоже в упор смотрел на меня. Отвечая на его взгляд, я улыбнулся и шепотом спросил:

— Как тебя зовут?

— Меня — Колбасин.

— Ты за что?

— Да я так... за людей.

— За каких?

— Я в ВОХРе был. Завод охранял. В казарме один обозвал Сталина педерастом. Его, говорят, расстреляли, а всех, кто слышал, посадили.

Парень показался мне безопасным. Я стал стаскивать с себя шубу, постелил ее, положил мешок под голову и вытянулся. Другие тоже устроились. Стало просторней. Все понемногу отходили и уже более доверчиво рассматривали и изучали друг друга. Сосед в очках шепотом спросил меня:

— А вы кто по специальности?

— Экономист.

— И я тоже. Значит, где-то экономисты потребовались!

За Колбасиным лежал красивый молодой человек с большими, не по-русски выпуклыми глазами, со смелым разбросом бровей. Я спросил его:

— А у вас что?

— Даже трудно говорить. ПШ — подозрение в шпионаже. — Он чисто произносил слова, но как-то не совсем свободно и правильно подбирая их. — Я из Румынии эмигрировал. Молдаванин. Я там секретарь подпольного комсомола. Меня приговорили повесить. Здесь — Коминтерн. И вот такое! В тюрьме хотел рубить голову о стену. Вот остался рубец. Смотрите. А следователь смеялся.

Все уставились на него. Наступило молчание. Крайний у стенки, которого я из-за темноты еще не рассмотрел, сказал:

— Ничего не поймешь!

На этом разговоры пока прекратились. Видно было, что, кроме Колбасина, который, не таясь, отвечал на вопросы, и молдаванина, переполненного возмущением, никто еще не был готов изливать душу.

Загрузка вагона давно кончилась, его заперли, но мы продолжали стоять на запасных путях. Это тянулось в течение всего длинного весеннего дня. Солнце заглянуло в окна, медленно косым лучом прошло по коридору и исчезло. Нам выдали хлеб, кипяток, один раз всех по очереди водили в уборную. По вагону шли негромкие разговоры. Кое-где переругивались. В конце вагона звучали женские голоса.

Только на второй день вечером нас прицепили к составу и повезли. Через пару суток в Вятке мы снова долго стояли на запасных путях, потом нас выгружали, опять конвой предупреждал: «Шаг вправо, шаг влево...», потом отвели в пересыльную тюрьму. Здесь я впервые услышал изощренную тюремную ругань. Она произвела на меня ошеломляющее впечатление. Я решил, что в вятской тюрьме сидят какие-то изверги, забывшие всякое человеческое достоинство. Но потом оказалось, что это общепринятый язык, различающийся только по яркости и выразительности, которые зависели от художественных талантов и опыта говорящих.

В Вятке мы пробыли неизвестно почему целую неделю, затем нас опять погрузили в вагон и отправили в Котлас. Тут начиналось лагерное царство. Наш вагон стоял за городом, очень далеко от всяких строений, жилья и людей. Кругом были недавно зазеленевшие, еще сырые луга. Вдалеке тянулись перелески, покрытые совсем жиденькой весенней листвой. Ввысь уходило ничем не стесняемое просторное бледное северное небо. Мягко светило нежаркое солнце. Было хорошо.

Нас принимали невооруженные люди. Некоторые из них носили военные гимнастерки, но без петлиц, некоторые — ватные телогрейки. Я спросил у одного из них:

— А вы из местного конвоя или с нами приехали?

— Мы из ВОХРа.— Помолчав, он доверительно добавил: — Тоже заключенные.

В те времена лагеря управлялись и охранялись самими заключенными. Все администрирование, за исключением самого высшего, весь внутренний надзор и комендатура, учет заключенных, даже выписка документов о новых сроках или освобождении,— все делалось заключенными. Так же, как государственные порядки поддерживаются солдатами и чиновниками из населения, которое угнетается этими порядками и ненавидит их, и тут сами заключенные содержали и в соответствии с инструкциями поддерживали свою тюрьму. От того, что надсмотрщики были рабами, участь рабов не менялась.

До вечера нас сортировали и считали. Наконец построили в колонну и повели на лагерьный пункт. Это был большой загон за колючей проволокой, расположенный на высоком берегу над Вычегдой. В загоне было четыре неуклюжих барака, построенных из тонкого кругляка. Кроме них, стояли дощатое, наспех сколоченное здание кухни и старая избушка, в которой помещалась администрация. В стороне находилась уборная, загаженная настолько, что не только войти, но и подойти к ней было невозможно.

Наша партия была относительно небольшой, и разместились мы свободно. В бараке были трехэтажные нары, сделанные из такого же кругляка, как и стены. Я залез на третий этаж. Там было тепло. Я сел, снял шапку и шубу, прислонился к стене и сразу же задремал. Но вскоре почувствовал, что по голове, по шее, по рукам кто-то ползает. Это были клопы. Я начал смахивать их, отодвинулся от стены и увидел, что всюду скопилось несметное количество клопов. Очевидно, в пустом бараке они изголодались и теперь набросились на нас. Не знаю, что стали бы они делать с нами ночью, но дверь барака распахнулась, вошел комендант и закричал:

— Освобождай барак! Переходи в соседний!

Внизу стали ругаться, но комендант кричал все настойчивей и громче, и началось переселение. Пока я выжидал результатов спора с комендантом, а по-

том спускался с третьего этажа, свободные места в соседнем бараке уже расхватывали. На всех трех этажах люди лежали вплотную друг к другу. Только в одном месте на втором этаже было узенькое незанятое пространство. Я несмело попросил:

— А нельзя тут устроиться?

Один из соседей поднял голову с красивыми пушистыми усами, посмотрел на меня без особой неприязни и сказал:

— Ну полезай.

Другой тоже приподнял голову, заворчал, но все-таки потеснился; я разложил свою шубу и бочком смог улечься. Шум, вызванный переселением, стал затихать. Люди начали засыпать. Но двери опять распахнулись, и в барак загнали еще небольшую партию заключенных. Они принялись искать свободные места, ругались, кричали, требовали коменданта, потом, когда увидели, что свободных мест нет, начали укладываться на полу и под нарами. Лишь один из них, невысокий, со злым исхудалым лицом, с жесткой щетиной отросших волос на голове, продолжал бегать вдоль занятых нар и ругаться. Вдруг он остановился против лежавшего на нижнем этаже старика с окладистой почти седой бородой.

— Вставай, поповская борода! Марш под нары!

Бородач приподнялся на локтях и обеспокоенно спросил:

— Что ты хочешь? Что тебе нужно? Оставь меня в покое!

— Вон пошел, паразит! Вон! Или я сейчас тебя, как Бог черепаху... А ну! — Он схватил старика обеими руками за ногу и с силой стал стаскивать с нар.

Почти все проснулись, но молча смотрели на эту сцену. Я приподнялся и сел. Внутри у меня все дрожало. Мой усатый сосед заметил это и сказал:

— Ложитесь.

Я спросил его:

— Что же такое?

— Да уркаган. Нельзя с ними связываться. Это же лагерь.

Другой мой сосед тихонько заворчал:

— Никакой он не уркаган. С нами ехал. Он секретарь одного из ленинградских райкомов Луканов. Слышал, что в лагере так делают. Дурак.

С верхних нар быстро спустился человек в европейских очках и подошел к ленинградскому секретарю. Это был Вурм из Коминтерна. Он начал уговаривать:

— Оставьте, нехорошо. Будьте человеком.

Ленинградец начал сыпать той страшной тюремной бранью, которую я впервые услышал в Вятке, но тут с середины нар поднялся огромный молодой парень, посмотрел на ленинградца и спросил:

— Ты где научился ругаться, а? А тебе это положено, а? — И он со всей силой ударил его по лицу. Тот схватился рукой за разбитое лицо и упал. Парень ногой швырнул его, как футбольный мяч, под нары и сказал: — Падло! Туда же... — И, обернувшись к народу, крикнул: — Если кто тронет старика — убью!

Через пару дней меня и многих других вызвали с вещами. Нас вывели с лагпункта, проверили по пакетам с личными делами, несколько раз пересчитали, потом посадили на высоком берегу Вычегды, и мы, как сбившиеся в кучу овцы, пригнанные на мясокомбинат, начали покорно ждать. Солнце стало опускаться. В его косых лучах с высокого берега хорошо виднелась река, сплошь покрытая плывущими бревнами. На противоположном берегу синели леса.

К вечеру нас подняли, построили в колонну и повели вниз, к реке. Мы вышли к тихому затону, отражавшему красно-оранжевый закат. У берега стоял катер. По узеньким, прогибавшимся мосткам мы по одному стали заходить и размещаться на его палубе. Когда палуба была заполнена до отказа, катер старательно затукал в тишине, завонял и двинулся, распуская по всему затону шлейф длинных спокойных волн. После этапной суতোлки, после постоянных криков и храпа в бараках, даже после тюремной тишины, полной придавленных звуков, все это успокаивало и позволяло не думать. Мы ехали молча.

Часа через два катер пришел в лагерьный пункт, называвшийся Головкой. Он находился на Двине. Здесь формировался большой этап. Нас загнали в сто-

ловую, в которой уже было довольно много заключенных. На всех столах и на скамьях спали люди. Мы еще не были отучены от многих человеческих привычек и располагаться на полу большинству из нас казалось противоестественным. Но другого места не было. Стали укладываться, стараясь для уюта прижиматься к стенкам. Так провалялись мы целых пять суток.

По утрам нас небольшими группами выводили к кухне, где через оконце давали ячменную кашу в алюминиевых плошках. Она была покрыта лиловыми пятнами, точно на нее пролили чернила. Хлеба давали шестьсот граммов на человека по тюремной норме. Все время в столовую приводили новые партии. Даже на полу становилось тесно. В одну из ночей около меня с криком стали захватывать места какие-то страшные черные люди с испуганными глазами. Оказалось, что это армяне — железнодорожные машинисты, диспетчеры и кондукторы, но они уже давно не работали по специальности, а сидели в партийном аппарате железной дороги. Все боялись друг друга. Однако когда появлялись новые люди, то начинали бояться их, и это сблизало ранее прибывших.

На четвертые сутки утром кто-то вошел в нашу столовую, люди начали вскакивать, побежали к нему, и около входных дверей образовалась целая толпа. Это пришел завхоз. Он объявил, что те, у кого нет теплой одежды, могут получить лагерное обмундирование. Стало ясно, что нас скоро должны отправить. Большинство бросилось получать ватные телогрейки и штаны. Но мне нездоровилось, не хотелось вставать. Поэтому, решив, что таскать свою одежду и казенную будет тяжело, я никуда не пошел.

Ночью я захворал. Мне снилась крутящаяся женщина в развевающемся плаще. Рассмотреть я ничего не мог и видел только быстрое круговое движение. Вдруг на грудь ко мне сел следователь и приставил револьвер к моей голове. Выстрела я не слышал, но почувствовал сильную боль и проснулся. Отчаянно билось сердце, и болела голова. Времени, наверно, было не больше часа или двух, но уже начинался восход, и первые солнечные лучи пересекали пыльный воздух нашего помещения. Всюду лежали в грязных сапогах и башмаках люди. То там, то тут раздавался насадный храп, некоторые сопели, другие бормотали во сне. Уснуть я больше не мог. С отвращением вспоминалась лиловая каша, которую ел утром. Когда сердце успокоилось, я понял, что у меня нехорошо в животе. Я встал, надел шапку и начал пробираться к двери. Она была заперта. Стучать пришлось долго. Наконец из-за двери послышался недовольный голос:

— Что тебе?

— Пусти в уборную.

— Подождешь до утра.

— Да нельзя же! Пусти!

Дверь приоткрылась, и в щелку недоверчиво заглянул молодой вохровец. Очевидно, мои очки убедили его, что ничего страшного против него не затевается. Но все же он начал уговаривать:

— Я тут один. Подождал бы маленько.

— Да не могу я!

— Ну иди. Только быстро. Оставь мне шапку.

Возвращаясь, я чувствовал такую боль, словно из меня вырвали весь кишечник. Улегся, но боль не проходила. По пересохшим губам и учащенному пульсу я понял, что поднялась температура. Утром нас построили в колонну, проверяли, пересчитывали, обыскивали, опять строили в колонну и опять считали. Мне все было безразлично, я с трудом стоял. Наконец, колонну стал обходить начальник лагпункта. Я заявил, что болен. Он позвал врача. Подошла красивая свежая женщина состоявшая в очередных женах у коменданта. Она поставила градусник. Оказалось 38,5. Начальник лагпункта поколебался и сказал:

— Ничего. С вами поедет хороший врач — доцент Московского университета. Я скажу, он вас полечит.

Нас повели к берегу Двины. В этапе было около тысячи человек. В основном он состоял из той партийной администрации и интеллигенции, которую под видом борьбы с троцкизмом убирали, потому что меняли состав партии и государственного аппарата. Кроме этого, были еще две категории. Одну составля-

ли так называемые шпионы, то есть люди, бывшие за границей, имевшие там знакомых и родственников, когда-нибудь беседовавшие с иностранцами и даже подозреваемые в таких беседах. Их убирали, потому что не хотели, чтобы за границей знали о наших порядках. К последней категории относились бандиты. Их было немного. Это были крестьянские парни, оказавшие вооруженное сопротивление властям при коллективизации.

Везти нас должен был пассажирский пароход. Когда началась погрузка, сил у меня уже не оставалось. Я весь был мокрый и понимал, что вступать в борьбу за хорошие места не смогу. Поэтому сразу спустился в трюм и устроился в углу. Постепенно сюда спускались и другие, проигравшие битву за места. Вечером, когда пароход пошел, меня разыскал врач. Оказалось, что он ничего не знал о тех страшных дистрофических заболеваниях, которые порождаются тюрьмой. Он пичкал меня порошками и, конечно, не мог помочь. Я потихоньку слабел, выходил наверх только по нужде и без обычного для меня интереса смотрел на широкую бледно-голубую реку, которая спокойно текла в отлогих песчаных берегах. Если бы наш путь продолжался долго, то, наверное, я бы погиб точно так же, как гибли в этапах десятки тысяч.

Но на шестой день мы прибыли в Архангельский лагпункт, и тут пришло спасение. Врачу разрешили закупить немного продуктов на рынке для больных. В первый же день мне дали уху, совершенно свежую жареную рыбу и клюквенный кисель. В Архангельске мы сидели десять суток, и все это время вместо лиловой каши и соленой рыбы я питался свежими продуктами. Организм получил нужные ему витамины и преодолел болезнь. Я опять начал жить.

5

В Архангельске под наш этап был зафрахтован морской пароход. При погрузке я оказался в голове колонны. Это позволило мне вдвоем с молодым московским композитором захватить одну из решетчатых люлек, находившихся в спальном помещении третьего класса.

Постепенно толкотня затихла. Народ разместился в люльках и на полу, привык к тесноте и перестал кричать и ругаться. Пароход сонно покачивался. Я спросил соседа:

— Ну как?

— Как должен чувствовать себя черный композитор, которого везут через океан неизвестно куда?

Под вечер пароход ожил. По палубе над нашими головами затопали матросы. Потом заработала машина, с небольшими перерывами проревело несколько отвалных гудков, и мы поплыли. В круглый иллюминатор видны были ярко освещенные вечерним солнцем портовые причалы, красивые, как игрушки, морские лесовозы, грузовые суда с пестрыми иностранными флагами, скелеты погрузочных кранов, бесконечные штабеля бревен и свеженапиленных досок. Над водой летали громадные белые чайки.

Люди начали укладываться. Местами на полу сидели по два-три человека и потихоньку беседовали. Около нашей люльки, попивая кипяток, обсуждали ставший только что известным проект новой Конституции. Главным комментатором выступал киевский прокурор. Это был большущий белобрысый мужчина с белыми ресницами и зелеными глазами. До ареста он, наверное, таскал на себе целые кучи жира, а теперь обвис, как будто был одет в чужую, не по росту большую дряблую кожу. Он с присвистом всасывал кипяток, стараясь не касаться губами горячей металлической кружки, и говорил:

— Прокурор будет независим. Он над всеми: исполком распорядится, а он скажет — нельзя. И можешь прыгать, сколько хочешь. Фигушки! Секретарь обкома позвонит: как же, мол, так? Нельзя! И сколько не будет прыгать у телефона — ничего. Фигушки!

По тому, как он посмотрел на своих слушателей, было ясно, что ему очень нравилось, как прыгал бы секретарь обкома у телефона. Из-под люльки высуну-

нулся молодой человек и с явным желанием получить подтверждение своим надеждам спросил:

— Ведь Особого совещания не будет? Ведь всех, кто по Особому совещанию, отпустят?

Военный комиссар из Владимира, очень похожий на гоголевского городничего, с таким же седеющим бобриком и внушительным носом, недовольно буркнул:

— Всех! Разве всех можно? Нас выпустят — которых оклеветали. А шпионов? Разве можно?

Мой композитор свесился из люльки и спросил:

— А негров по Конституции освободят?

На него посмотрели, но ничего не ответили. Его не поняли.

Проснувшись утром, я увидел, что все море закрыто плотным туманом. Сильно похолодало. Пароход двигался потихоньку и все время давал жалобные гудки. К вечеру солнце несмело начало пробиваться сквозь туман, и нам удалось увидеть остров Колгуев. По картам я представлял, что он торчит в море, как обрывистая кочка. Но с той стороны, с которой мы обходили его, это была песчаная отмель, почти не поднимающаяся над уровнем воды. Песок в лучах вечернего солнца казался красным. По нему расхаживали большие белые птицы.

К утру следующего дня туман сгустился настолько, что пароход уже не решался двигаться. Он бросил якоря и стал протяжно гудеть густым басом. Так прошел весь день. К вечеру поднялся порывистый ветер. Он рвал туман и клочками уносил его. Очень скоро ветер превратился в настоящий ураган. Пароход пошел, но сделался жалким и маленьким в сравнении с темными, ревущими волнами. В иллюминатор я видел, как нас поднимало высоко над кипящим морем, а потом бросало в пропасть. Сердце оставалось еще наверху, а сам я стремительно летел вниз. Потом опять подымало так, что люлька, в которой я лежал, становилась почти стоймя, и снова, оторвавшись от своего сердца, я летел вниз. Но какая-то страшная сила, не давая упасть, хватала меня на лету и грубым толчком посылала опять наверх. Это было мучение. Многих начало рвать, они кричали и в отчаянии матерились. Армяне громко причитали на своем языке.

Около суток продолжалась качка. Спать было невозможно. Пароход не только поднимало и бросало вниз, но и валяло из стороны в сторону. Казалось, что он не выдержит. Но наконец настал момент, когда, несмотря на то что ветер продолжал рвать все с той же силой, волны начали уменьшаться. Вскоре качка почти прекратилась. Оказывается, мы вошли в Печорскую губу. Кончилась рвота, кончились крики и причитания, и все смогли спокойно уснуть.

С середины следующего дня пароход пришел в нарьян-марский порт. Это было унылое место. Под серым, хмурым небом простирался бескрайний серый залив, замусоренный у берегов бревнами, щепой и досками. У причалов стояли два морских лесовоза — с норвежским и финским флагами. На голом мокром берегу было разбросано несколько дощатых барачков, штабелями лежали бревна и доски. Ночевать нас оставили на пароходе. Выгружать начали утром. Как обычно, долго считали и пересчитывали под мелким морозящим дождем, потом построили в колонну и по щепам и горбылям повели на речную пристань. Здесь нас ожидал обыкновенный рыжий речной буксир с двумя крытыми баржами. Вечером мы погрузились на них.

На этот раз я устроился рядом с усатым знакомым, который в Котласе позволил мне лечь рядом. Но только мы устроились, накрывшись всем, чем могли, чтобы согреться, как явились вохровцы и велели всем выходить на разгрузку парохода. Оставили только дежурных и больных. Я еще числился больным и поэтому остался лежать под своей шубой. Рассматривая могучие деревянные ребра баржи, я думал, что они, наверное, похожи на ребра тех кораблей, в трюмах которых перевозили невольников в Америку.

Только через сутки этап двинулся в дальнейший путь. Несмотря на то что начинался июнь, было холодно, с моря дул леденящий ветер, а с неба сплошными

тоненькими иглами сыпал упорный дождь. Широкая серая река еще несла на встречу нам остатки льда. Берега были покрыты мрачным, молчаливым лесом, который состоял из еще черных лиственниц и елей. Мы с моим усатым соседом смотрели на эти угрюмые места. Он ехал с самой западной границы. Звали его Жуковец. Был он белорусским крестьянином. Он сказал:

— Лес и тот насупился, как тюрьма. Эх, наш-то лес поет! Войдешь — солнце в нем через все листочки играет. Радости сколько!

Буксир потихоньку тянул нас на юг. На второй или третий день, когда холодное море осталось далеко позади, стало как будто теплее. Иногда серые облака расступались и ненадолго показывалось солнце. Народ выползал на палубу. Бродили по двое, по трое и болтали. Однажды мы с Жуковцом увидели, что собралась небольшая толпа. Все стояли и с немым удивлением смотрели, как плясали и пели курды. Их было трое. Один — как будто грубо вырубленный из бревна, тяжелый, рыжий, в рваном солдатском френче и в самодельной чалме из грязного полотенца. Второй — молодой, стройный, черный. Третий — почти старик, в черной барашковой шапке, такой же грубый и тяжелый, как и первый, с седой щетиной на лице. Крепко обнявшись за плечи, они плотной шеренгой топтались на одном месте под собственную негромкую монотонную песню. Я спросил одного из армян, который если и не знал, то, во всяком случае, понимал множество языков, о чем они поют.

— Вспоминают. Резню вспоминают. Свое бегство в Россию.

Все трое числились шпионами. Они целым племенем перешли границу и, как умели, просили убежища. Всех их рассовали по лагерям. Жуковец улыбнулся:

— Вот и я шпион. Наше село на одном берегу белорусское, а на другом — польское. Там моя теща и вся родня. Всегда ходили. И вдруг — возвращаюсь, вышел из челнока — на меня собаки. Солдаты кричат: «Ложись!» Отвели, докладывают: «Обнаружен нарушитель». Посадили. Следовательно орет: «С каким заданием ходил?» Ну, что ему скажешь! А он опять: «Фашист, сволочь! По усам вижу — наши усов не носят!»

Я ему показал на портрет и спрашиваю: «А товарищ Сталин?» Он промолчал. Но все равно шпионом меня оформил.

По утрам, когда мы вылезали из темного нутра баржи, чтобы забросить в реку ведро на длинной веревке, зачерпнуть воды и умыться, палуба обычно еще белела и поблескивала инеем. Но днем солнце согревало. Ходить и сидеть на палубе, наблюдать неторопливое наше движение по реке, смотреть на людей и изредка беседовать то с одним, то с другим было хорошо и спокойно. Только не надо было вспоминать о своем деле и думать о дальнейшем. Все уже знали, что везут нас в Воркуту. Поэтому было много разговоров как о самой Воркуте, о которой никто ничего не слыхал, так и обо всем печорском крае. Как-то я сидел с саратовским профессором математики на бортике баржи. Мы пытались с ним разобраться в географии печорского края. Оказалось, что оба мы знаем очень мало. Профессор сказал:

— А вот знаток. Знакомьтесь: Иван Иванович.

Я пожал ему руку и спросил:

— Вы что? Здешний?

Он усмехнулся:

— Сделали здешним. Сам я рязанский. Но с тридцатого года осваиваю печорский край. — Мне казалось неудобным расспрашивать, почему и как. Но Ивану Ивановичу самому хотелось рассказать профессору и его очкастому собеседнику о своей жизни. Он уселся перед нами по-татарски на полу и стал рассказывать: — Я простой крестьянский сын. Ничему не учен. При раскулачивании нас обидели. Ну, я тогда еще совсем дурак был. И при людях прямо на уполномоченного полез ругаться. И как завелся, как завелся, так уж и поворотить было некуда. Ты, мол, такой-сякой, убьем, как собаку. У нас в лесу — сила. Ну, забрали и начали тянуть: кто в лесу, что за сила? Вытянуть не вытянули, потому что ничего не было, но квалификацию присвоили — бандит. С тем сюда и привезли. По простоте попал сначала в шоферы, машину гонять, но скоро увидел, что кто работает, тот не ест и быстро дохнет. Мне это было ни к чему, и я сторо-

ной начал подаваться, где покалорийнее. А надо сказать, что лагерь — это целое государство. В нем все есть, только масло в голове надо иметь. Я потолкался, покарабкался и оказался завхозом. Тут уж стал Иван Ивановичем, для солидности этой бородкой обзавелся, к обращению привык, разговоры разговаривать научился, одним словом, гимназию прошел. А главное, понял, что умеючи и здесь можно жить. Ведь только подумать: советское государство на всех заключенных отпускает все по норме. А заключенных — целая армия. И всякого добра лагерям дают горы. Я быстро рассмотрел, сколько его идет налево. Весь печорский край в нем ходит. Я дурей других быть не хотел. А тут у меня и деньги завелись, и ел-пил, что хотел, а уж баб выбирал, как по прейскуранту. Казалось, чего бы надо? Но я за большой куш достал ксиву — это паспорт — и убежал. Дружки дали адрес, и я двинул в Москву. Понравилось. «Эх,— думаю,— крестьянский ты сын, рязань косопузая, что увидел?» Но надо было случиться, что по тому адресу на другую же ночь всех замели. Мой паспорт посмотрели, говорят, выясним. Год выясняли, живого места не осталось. Все выяснили, дали новый срок и теперь гонят на Воркуту. Оттуда уж не убежишь.

Все это мы деликатно выслушали, но нам больше хотелось, чтобы он подробнее рассказал о Воркуте и Печорских лагерях. Я спросил:

— А раньше-то вы на Воркуте бывали?

— Нет. Бог миловал. Выше Усть-Усы не подымался.

— Усть-Уса — это город?

— Центр. Два десятка изб и пристань. Об этой Усть-Усе и слышать бы никто не слыхал, но там Воркутинские центральные базы. Ведь мы с вами как на Воркуту движемся? Из Архангельска морем, потом вверх по Печоре до Усть-Усы. Здесь переходим на Усу и поднимаемся по ней чуть не до истока. Так вот, пока грузы из Архангельска ползут, верховья Усы и Воркута успевают замерзнуть, и доставить уже ничего нельзя. Все хранится в Усть-Усе до другой навигации. Грузы на Воркуту два года следуют!

— Ничего себе!

— Письма и посылки так же.

— Да, местечко выбрано с толком.

— Я вам скажу, что, если б не наш брат заключенный, так и за два года ничего бы не дошло. Вот был в Усть-Усе такой экспедитор, заключенный Брук. Получает он распоряжение доставить картошку из Нарьян-Мара на Воркуту до заморозков. Этот друг, конечно, понимает, что сделать такого нельзя. Но разве заключенный будет спорить? Тачку гонять никому неохота. «Слушаюсь». И все. Идет на пристань, поит диспетчера, тот буксирует ему чужую баржу с картошкой, которая стоит в Усть-Усе. На следующей пристани телеграмма: «Баржа, принадлежащая сельпо, ошибочно забуксирована, подлежит возврату». Брук отвечает: «Ваша телеграмма непонятна, телеграфируйте следующую пристань». На следующей пристани то же самое и опять: непонятно, телеграфируйте следующую пристань. И так на каждой. Картошку, конечно, пригнал на Воркуту до заморозков.

Иван Иванович увлекся и рассказал еще несколько историй о том бесстыдном удалстве, которое, как я убедился потом, составляло основное содержание лагерной романтики. Жуковец, уже давно слушавший его вместе с нами, сказал:

— Слава, может, казачья. А жизнь — собачья.

Мы тянулись мимо высокого берега. На его вершине лес был вырублен, и на голом косогоре раскинулось село. В отличие от обычных просторных печорских изб с широкими фронтонами в этом селе избы были небольшие, с четырехскатными крышами.

Иван Иванович прервал свои былинные повести:

— Здесь настоящие казаки живут. Донские. В тридцатом году их с Тихого Дона привезли сюда, высадили прямо в тайге — комарам на корм. Они лес вырубил, построились, теперь ячмень сеют. Крепкий народ.

Через день мы подошли к Усть-Усе. Подплывали к ней по необъятному водному пространству, образованному слиянием Усы с Печорой. С крутого берега на нас смотрели старинные русские кресты и широколобые двухэтажные чер-

ные избы с белыми наличниками. За пристанью рядами выстроились огороженные заборами емкие склады Воркутинской базы.

В Усть-Усе нас вымыли в бане, перегрузили на другие баржи, имевшие более мелкую осадку, и потащили вверх по Усе. Было уже настоящее лето. Ночью солнце только снижалось к горизонту, но не заходило. Днем оно, хотя и без страсти, все-таки ласкало своим теплом.

Все мы жили с баржей и стали привыкать друг к другу. Работники партийного аппарата, составлявшие основную часть этапа, уже перестали бояться своей бывшей партийности. Еще в Котласе и Архангельске они на вопрос «Кем работал?» называли профессии, которые числились у них в анкетах до партийной работы, а те, у кого никакой профессии не было, обычно называли себя экономистами. Теперь, кроме чинов государственной безопасности, почти все охотно рассказывали, кем они действительно работали, и даже привирали, чтобы выглядеть значительнее. В большинстве это были малоразвитые люди. Как-то со мной заговорил киевский прокурор, который при отплытии из Архангельска комментировал новую Конституцию:

— Ну, что будем на Воркуте делать?

Я сказал, что местного населения в районе Воркуты нет, что находится она в большеземельной тундре.

— А почему тундра большеземельная?

Я затруднился ответить. Тогда он высказал догадку:

— Наверное, там сельское хозяйство...

По юридическим вопросам, которые я задавал ему, он нес околесицу. Ему знакома была процедура, но он понятия не имел о существовании правовых норм и отношений.

Меня особенно интересовали работники предприятий. Я пытался расспрашивать их о незнакомых мне промышленных процессах. С нами ехал управляющий полиграфическим трестом. Он рассказывал, как выглядят линотипы, как «совсем вроде машинисток» печатают линотиписты, как верстаются страницы и т. д. Все это он видел, когда ходил по цехам. Но когда я спросил, как подается жидкий металл, он ответил: «Он жидкий, ну, и течет». Процесса он не знал. Специалисты государственного аппарата знали, с кем надо быть на «ты», куда и в какой момент подать бумагу, чтобы не самому отклонить просьбу, а получить отказ сверху и потом разводиться руками: «Отказали, ничего не поделаешь!» Среди них было два-три бывших революционера. Но за 15 лет, проведенных в учреждениях, и они превратились в таких же чиновников. Никто из них не мог понять, за что их посадили. Не иначе, как оклеветали! Курносый мужчина, который говорил, что командовал железнодорожным полком, все искал случая половить рыбу. В фуражке у него был запрятан крючок, из кусков шпагата он связал леску и целыми днями сидел на корме, уставившись на поплавок. Когда я подошел посмотреть, он сердито хмыкнул, потом сказал:

— Все бы ничего. Удилища нет!

Несколько особняком держалась небольшая группа более интеллигентных чиновников, управляющих культурой. Одного из них мне назвали:

— Авербах.

— Не Авербах, а Ауэрбах. Прошу не смешивать!

Выглядел он так, как ходил по Москве, — в модном черном пальто, в круглой черной шляпе, только с выросшей за тюремное время красивой бородой. Из разговора выяснилось, что он знал Маяковского. Я спросил: почему Маяковскому пришлось покончить с собой?

— Тряпка был. Очень чувствительный к травле. Звонит мне, что опять печатается какой-то пасквиль. Я говорю: «Володя, плюнь». Он мычит, но плюнуть, по-видимому, не в состоянии. А потом опять и опять. Я говорю: «Володя, не раскисай». А у него постоянный насморк, сопли текут, раскис. Он только на выступлениях выглядел монументом.

Присутствовавший при этом Жуковец потом сказал:

— Малому до большого как дотянуться? Володей назвать.

По мере нашего продвижения Уса становилась уже, а берега — пустынные. Деревни встречались редко. По своему виду они уже не походили на печорские деревни. Над рекой дыбились огромные двухэтажные избы, крашенные масляной краской, с белыми наличниками. Вокруг них не было ни полей, ни огородов, только большущие сараи. В прежнее время эти поселки служили факториями, торговавшими с охотниками и скупавшими у них пушнину. Потом не стало и этих поселений. Но время от времени появлялись заборы с вышками для охраны. Мы продвигались по местам, о которых никто из нас ничего не слышал. На остановках мы узнавали непонятные названия: Адъэва, Абезь, Кочмес. Раз за два нам встречались караваны с воркутинским углем. Люди в черных телогрейках махали шапками и кричали:

— Давай-давай! А то мантулить стало некому. Лбов не хватает!

Потом мы двигались уже без остановок, никаких пристаней не было. Только однажды утром наш буксир пришвартовался к пустому отлогому берегу, где лежали кучи угля. Обе баржи тоже сгрудились у берега, и на нас сразу же налетели тучи комаров. Вызвали охотников бункеровать пароход. Из пароходных кают походить по бережку повылезала чистая публика. Кроме команды, это были наши вохровцы.

Вскоре лес на берегах пошел все более корявый и низкорослый. Часто попадались безлесные болотистые берега с одинокими корягами. Хорошая погода кончилась. Шел острый, холодный дождь. Мы подплывали к Воркуте.

— Ну,— сказал Жуковец,— тут уж никакая новая Конституция нас не достигнет.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Мы швыряем охапку мрака в огонь.
Мы срываем засовы ржавой неправды.
Люди грядут, которые больше не будут
бояться себя,
Ибо они уверены в людях, во всем человечестве,
Ибо враг с человеческим лицом
Исчезает, как мрак.

Поль Элюар

1

Проснувшись холодным утром, мы увидели, что наши баржи приткнулись к глинистому берегу, а буксировавший нас пароход ушел. Шел дождик мелкий, но очень интенсивный, облеплявший водяной пылью как из пульверизатора. Все становилось мокрым, а глинистая почва превращалась в липкую грязь. Баржи стояли вдалеке от строений, и видеть из-за дождя мы ничего не могли. Кругом простиралась тундра.

Разгружать нас не торопились. Только через несколько часов на берегу начали сколачивать из старых досок каркасы для палаток. Потом мокрая лошаденка, с трудом вытаскивая ноги из глинистого киселя, притащила телегу с брезентами. После обеда каркасы покрыли рваными намокшими палатками. Немного погодя нас стали вызывать, сверять личности и распределять по палаткам. Хотя дождь кончился, но глина в палатках хлюпала под ногами, и нас на холодных, мокрых нарах пробирали дрожь. Переселение из обжитых барж в эту неприятную сырость причиняло боль, как срыв бинтов с подсыхающих ран. Все подавленно молчали, сознавая, что теперь остается только терпеть.

Тем не менее на следующий день народ из наших палаток стал постепенно растекаться. Нас никто не охранял, и те, которые были посмелее и попредприимчивее, уходили знакомиться с обстановкой. К обеду почти все вернулись, и начался обмен впечатлениями. Оказывается, до Воркуты мы не доехали. Нас

выгрузили на пристани Усть-Воркута (или по-зырянски — Воркута-вом), где речка Воркута впадала в Усу. Здесь находилось управление узкоколейной железной дороги, соединявшей пристань с воркутинскими шахтами, ее ремонтные мастерские и базисные склады. Наши армяне успели поговорить с железнодорожниками и присмотрели подходящую работу. Все оживленно обсуждали, как устроиться, какие профессии нужны и где можно будет работать.

К вечеру к палатке подошли и остановились немного в стороне трое молодцев в сапогах с отвернутыми голенищами. Во рту у каждого из стороны в сторону перекатывалась сигарка. Один из них был в приличном пиджаке с шарфом, намотанным вместо воротника. На другом была меховая безрукавка с кокетливой опушкой. На третьем — хромовое пальто. Они молча оглядывали нас. К ним, как к своим, подошел один из наших — Иван Иванович. Когда он вернулся, я спросил: кто такие?

— Паханы. Самые главные урки. Все в законе, не работают. Пришли посмотреть — какая пожива. Ночью глядите, не фразернитесь.

Невдалеке в это время появилась группа, по-видимому, каких-то больших лагерных начальников. Один из паханов тихонько свистнул, и троица, заложив руки за спины и пожевывая сигарки, с безразличным видом побрела в сторону. Больше они не приходили — в этапе не было так называемых «сявок», мелких воров, через которых обычно действовали паханы.

Подходившие начальники были в брезентовых плащах и накомарниках, похожих на абажуры или старинные дамские шляпы с вуалями. Приблизившись к нашим палаткам, один из них, очевидно, самый старший, велел спросить: нет ли в этапе железнодорожников? Иван Иванович, который все знал, объяснил, что это главный инженер воркутинского лагеря Иван Федорович Сидоркин, что он такой же заключенный, как и мы, сидит за контрреволюцию и вредительство, имеет предельный десятилетний срок и пока отбыл из него меньше половины.

Я подошел к нему поближе. Как и вся интеллигенция советской формации, которую тогда начали уничтожать, он был в возрасте 30—35 лет, у него было бледное востроносое лицо с большими напряженно-нервными глазами. На его вызов выбежала вся группа наших армян-железнодорожников. Он каждого стал расспрашивать, где тот учился, кем работал, и задавать вопросы по специальности. Потом, повернувшись к кому-то из своей свиты, сказал:

— Этих запишите. Не перепутайте фамилии.

За железнодорожниками он вызвал шахтеров, за ними механиков и строителей. После этого к нему подошел саратовский профессор математики. Сидоркин чуть улыбнулся и сказал:

— Вот профессоров математики мы не заявляли! — Потом довольно неопределенно обнадежил: — Работа найдется и для вас. Не сразу. — Но распоряжения записать фамилию профессора не дал.

Потолкавшись среди подходивших к нему специалистов, я тоже решился спросить: не нужны ли экономисты? Он ответил:

— Зайдите в управление дороги. Экономической частью заведует Соколов. Спросите у него.

На третий день отобранных специалистов увели. Еще через день всех, кто был поздоровее, отправили на шахты. Я оказался в числе физически слабых и не имеющих определенной специальности. Нас отдали на железную дорогу для ремонта путей. Утром за нами пришел железнодорожный нарядчик и повел к управлению ВЖД — так называлась Воркутинская железная дорога.

Управление помещалось в новом дощатом домике. Напротив стояло большое бревенчатое здание ремонтно-механических мастерских, а немного в стороне — такое же бревенчатое депо, в котором посапывали небольшие паровозики. Вокруг управления все было устлано щепой и стружками, из-под которых выбивались мелкая кустарниковая березка и голубика.

Когда мы уселись на щепе в ожидании дальнейшей судьбы, из управления выбежали несколько чисто одетых заключенных. Начались расспросы — откуда, нет ли кого из Сталинграда, из Киева, по сколько теперь дают, бьют ли на

допросах и т. д. Я попросил вызвать Соколова. За ним охотно побежали. У меня тогда еще не было представления о том, что искать работу по моей специальности в лагере значило просить об одолжении. С человеком, от которого зависело мое устройство, я по своей наивности говорил, как с равным. Но, может быть, именно поэтому Соколов не отказал. Он только усмехнулся:

— Что-то уж очень много экономистов приводят.

Я улыбнулся, но промолчал.

— Ну хорошо, — сказал Соколов, — один экономист, может быть, и понадобится. Я поговорю. А пока запишу вас на первый путевой участок. Он находится здесь. Если вопрос решится, я сумею вас вызвать. — Он подозвал дорожного мастера и сказал: — Возьми его на свой участок, но не рассчитывай на него. Возможно, он пойдет к нам.

Так я оказался путевым рабочим. Дорожный мастер собрал выделенных ему людей и сказал:

— Будете работать — буду кормить. Только жить здесь негде. Пошли на четвертый километр.

Я решил, что отрываться мне от управления нельзя, и попросил меня оставить. Мастер согласился:

— Ну оставайся. Где-нибудь пристроишься. Но на работу завтра — как штык!

Пристроиться мне нигде не удалось. На ночь я забрался на чердак управленческого дома и переспал там. Утром дорожный мастер велел собирать на подъездных путях разбросанные рельсы и складывать в штабеля. Никогда я не видел такой железной дороги: узенькое полотно еле выдавалось из окружающих болот, маленькие корявые шпалы тонули в пучившейся глине, рельсы были разнокалиберные — то пошире, то поуже. Одна нитка этой дороги убегала в тундру, а подъездные пути расходились к угольным складам, в депо, к лесопилке, в карьеры. На откосах кое-где валялись рельсы.

Я неловко стал выворачивать один рельс из-под другого и уронил его себе на ногу. Было очень больно, а главное, стыдно. Хромая, я подошел к рельсу с другого конца, попытался поднять и отдал палец. Дорожный мастер, наблюдавший со стороны, не выдержал, подошел и сказал:

— К рукам-то по-барски относиться нельзя. Это инструмент. Беречь надо.

Со следующего дня я стал работать в управлении. Сотрудников плановой части было трое: Соколов, я и Миша-статистик. Соколова звали Алексей Алексеевич. Это был стройный высокий человек, лишь на два года старше меня, но значительно взрослей. До лагеря на Китайской восточной железной дороге он заведовал одним из провинциальных агентств. Его арестовали японцы, которые пытались представить служащих КВЖД как советских шпионов. Соколов выдержал в японской тюрьме все насилия, вернулся в СССР, но тут ему дали десять лет. Когда его спрашивали, за что, он делал страшное лицо и говорил: «Шпион». Миша — совсем юный студент из Москвы — был осужден по статье КРА, что значило контрреволюционный агитатор. Соколов, чтобы сразу поставить меня на место, сказал:

— По вашим масштабам работы здесь нет. Но развитой человек, если захочет, сможет делать и то, что делаем мы. Заниматься придется всем. В том числе и переписыванием.

Рабочий день был десятичасовой. Но к его окончанию с разными своими делами приходили мастера из депо, путейцы и строители. Кроме того, начинались ожесточенные споры с пристанью, которая пыталась принимать угля меньше, чем мы привозили, а нам хотелось сдавать больше, чем удавалось привезти. Все это задерживало нас еще часа на два. Соколов был человеком строгого порядка, но рабочий день продолжался так долго, что его хватало и на работу, и на разговоры. И Соколов, и Миша, прожившие на Воркуте уже по нескольку лет, имели большой запас страшных и героических историй из воркутинского прошлого.

— Вас, трехлетников, сюда бы в те годы привезти, — говорил Соколов. — Чтобы поняли. А то приехали на готовое. Да на такой срок! Смех!

Мишка, которому особенно нравилось хвастать пережитыми трудностями, подхватывал:

— Электричества не было, керосина — тоже. Хотели лучину жечь, так нигде смоляной доски не могли найти. Алексей Алексеевич откуда-то ком парафина увел. Вот мы и жгли фитилек в консервной банке.

— А темнотища здесь знаете какая? Ведь это только сейчас солнце не заходит. В августе начнет заходить, а потом полгода круглосуточная ночь. Еще увидите!

— А как задует! Ка-ак задует! С ног сносит.

— Первую зиму мы жили в палатке. Там же и канцелярию вели. Ведь управление только к вашему приезду отстроили. А тогда вокруг фитилька сядем на нарах в кружок и пишем.

Если приходил бригадир Малашкин, героизм воспоминаний усиливался. Малашкин в числе немногих остался живым от первого этапа, пришедшего пешком из Салехарда через Урал. Он рассказывал:

— Придумал какой-то хрен! По карте поглядел — чего не дойти?! Прогулка. Вот нас и погнали. Сначала вниз по Оби, а из Салехарда пешком. Вышли, и оказалось, что тундра — это болото. Шлепали, шлепали. Мокрые до ушей. На ночь в ту же воду. Ни костра развести, ни обогреться — ничего! Едим сухари, в том же болоте размачиваем. А главное, расчет был, что мы за пять дней придем — ведь близко! И этих сухарей дали только на десять дней. Шли же мы месяц. Народ был отобран очень сильный, в основном крестьянский. Но все равно многие ослабели, начали отставать. А приказ был такой: отставание считать побегом и стрелять. Сначала стреляли. А потом махнули рукой: сами подохнут. Да за нами волки стаей, как за оленями шли. Заряды расходовать не требовалось. Кто еще в силах был — все побросал, и одежду скинули, и сапоги, лишь бы добрести. И вот пришли. В дом родной, мать твою... Ни баракон, ни бани, ни кухни — ничего! Что в тундре, что здесь. Из семисот человек доползло не больше половины, но из этой половины, наверное, еще половина здесь кончилась. Около теперешней водокачки был овражек. Вот в него и валили. Даже не закапывали, потому что назавтра еще надо валить... Только через две недели подошли баржи, подвезли лес и все другое. Кто остался, ожил, конечно...

Так строилась и дорога. Уголь на Воркуте был найден в 80 километрах от Усы, по которой тогда шел единственный путь во внешний мир. Для того чтобы добраться до шахт, по тундровому болоту прокладывалась железная дорога. Соколов рассказывал:

— Это был фронт. Людей распределили по всей трассе. Никто ничего для них не готовил. Привели в болото, велели ставить землянки или палатки и идти на приступ. И вдруг с флангов ударил непредвиденный враг — цинга. Вы представляете себе, что такое цинга? Человек просыпается, а у него ноги скрючило и суставы размякли, как каша. Или глаза разбухли и налились черной кровью. Наверное, и внутренние органы так же. Он еще не умер, а уже разложился. А санчастью тогда владели урки, медицинской помощи никакой, только акты на смерть составляли... — Он помолчал. — Мертвецов закапывали прямо в насыпь. Там сейчас каждая шпала на костях лежит. После цинги врагом оказалась вечная мерзлота. Вот отсыпают полотно. Весь день гоняют тачки, сыпят в это чертовое болото. К вечеру люди видят, что выросла насыпь. А наутро ее нет! Оказывается, если увеличивать нагрузку на мерзлоту — она тает и поглощает насыпанный грунт. У всех это вызвало отчаяние. В том числе и у меня. Ведь расценки предусматривали одинарную отсыпку, а я должен был показывать тысячу кубов сегодня и на том же пикете — завтра и еще послезавтра. Кто мог поверить, что это не туфта?

Я неосторожно заметил, что дорога и сейчас выглядит ненадежно. Соколов озлился:

— Ух, и народ же у нас! Самого посадили, а рассуждает, как следователь. Да вы знаете, что нигде в мире по вечной мерзлоте не прокладывали дорогу такой протяженности! А как ее прокладывали? Лес не завозили, сами заготавливали разные коряги по Усе, рельсы присылали выбракованные, десять раз актиро-

ванные, костыли вручную делали. И все-таки построили. Мы в эту дорогу не только свои кости, мы душу вложили. Когда стали открывать движение и паровоз потихоньку потащил состав, все не дыша стояли — как бы не упал! А плотно местами было еще мягкое, словно тесто, паровоз, конечно, зашатался, как пьяный. Начальником тяги был тогда Шереметенко. Он чуть не со слезами прибежал: ребяташки, как-нибудь подштопайте! Как-нибудь, чтоб не упал. Потом это «как-нибудь» припомнили. Только строительство кончилось, чекисты начали копать. И незадолго до вашего приезда начальника дороги, начальника пути и Шереметенко посадили и увезли.

Первое время я и спал в плановой части на столе. На Воркуте-вом в то время было всегда несколько жилых домов, набитых до отказа. Многие сами строили для себя землянки. Несмотря на влиятельное положение Соколова, он не смог пристроить меня куда-нибудь. Чтобы помочь мне, он попросил завхоза выдать одеяло и хоть этим создать для меня кое-какие удобства. В каптерке ВЖД оказалось одно-единственное одеяло.

— Ну вот и выдай ему. Все равно одним одеялом никого не спасешь!

Завхоз поломался, но так как с Соколовым все вынуждены были считаться, написал каптеру: «Выдать». Я пошел в землянку, где была каптерка, постучал и отворил обитую старыми ватными штанами дверь. Против крохотного оконца стоял ящик. На табурете перед ним спиной к двери сидел лысый каптер и проставлял палочки в своих ведомостях. По одной стенке у него лежало разное тряпье, по другой стояла высокая и аккуратная постель. В сторонке топилась печь, сделанная из бензиновой бочки. На ней кипел чайник. Я подал записку. Каптер, не оборачиваясь, сказал:

— Одеял нет.

— Завхоз говорит, что одно есть.

— Так на него он десять записок выдал!— раздраженно крикнул каптер и повернулся. Взглянув на меня, он замолчал, секунду вглядывался и вдруг захохотал:— Вот это здорово! Встретились!— Это был Алексеев, наш ленинградский управляющий.— В плановой части, значит? Хорошо. Ты мужик грамотный. Такие нужны. А меня сначала дорогу штопать сунули. Но я в самодеятельность подался. Ведь так свистеть тоже не каждый может. Это ценится. От работ освободили и вот в придурки зачислили. Теперь проживу.— Он помолчал, потом опять захохотал:— Ха-ха! Вот встретились! Чаю хочешь? С сахаром!— После этого он выдал мне одеяло и опять принялся хохотать.

Возвращаясь с полученным одеялом, я испытывал какое-то радостное чувство и про себя тоже смеялся. Действительно, встретились. За управлением я увидел, что два наших счетовода — Соболев и Баранкин — копали землянку. Поставив и поговорив с ними, я спросил:

— А не примете и меня в компанию?

Они переглянулись, и Соболев обратился к Баранкину:

— Ну что ж. Пожалуй, возьмем?

Баранкин был известный хитрец. Он что-то смекнул, моментально погасил вспыхнувшую было в его лукавых глазах искорку и сказал:

— Идет!

Я нашел лопату, и копать мы стали втроем. Но Баранкин вскоре задохнулся, закашлялся и ушел.

На глубину до 40 см грунт вынимался без труда. Но дальше пошла вечная мерзлота, твердая, как бетон. Пришлось ждать, когда оттает. К следующему дню мерзлота отошла сантиметров на пять. Талый слой мы убрали и оставили оттаивать дальше.

Моим компаньонам было лет по 25—26. Особенно крепким и ловким выглядел Баранкин. Я спросил Соболева: чего ж он задыхается?

— Отличиться захотел. Ведь если кому повезет, то уж каждый думает, что и он может. На шахте двух воров досрочно освободили, вот и Степан захотел досрочное зарабатывать. Он на проходке был. И гнал, и гнал. Взрыв задержался, а ему ждать было некогда, ну, он и подорвался. У него теперь только одно легкое, да и то полно угля.

Когда котлован достиг метровой глубины, мы приступили к плотницким работам. Лес на Воркуте охранялся как самая большая драгоценность. Приходилось следить, когда мимо управления проходил состав с рудостойкой. Тут он задерживался, и мы с проворством мальчишек стаскивали с платформ несколько слег для каркаса. Также понатаскали и досок для пола и крыши. Большого риска во всем этом не было, так поступали очень многие — строился целый земляночный городок.

Для внутренней обшивки стен мы использовали снеговые щиты. Их завезли в огромном количестве, когда строилась дорога. Тогда никто не знал, что в огораживаемое щитами пространство, как в ящик, пурга будет сдувать снег со всей тундры. Раскопать или расчистить огороженную дорогу оказалось невозможным. Поэтому щиты стали одним из местных стройматериалов. Снаружи все сооружение мы завалили землей, на крышу наложили дерн, и, таким образом, внутреннее помещение получилось хорошо изолированным от холода и ветров.

В этом земляном домике мы и стали жить. Правда, жизнь заключалась только в том, чтобы спать по ночам, но все-таки приходиться в чистую комнату с яркой лампочкой под бумажным абажуром, улечься в постель, раздевшись, как дома, и укрыться одеялом было хорошо.

Но, прежде чем заснуть, Баранкин требовал:

— Ну, теперь давайте сказки!

Соболев огрызался:

— А ну тебя!

— Чего — ну тебя! Мы Владимира Васильевича зачем взяли? Пусть расскажет про Москву. Я ведь ничего не видел. Даже яблока не видел, и как растет — не знаю.

Баранкин был русским, но вырос в тундре, в якутском племени долган. Там из него получился могучий красивый охотник и оленевод. Он окончил семилетку, был грамотен, читал Фенимора Купера и считал себя индейцем. Сидел он в отличие от других заключенных за настоящее дело. Его племя не хотело коллективизироваться. Баранкину было тогда лет девятнадцать или двадцать. Он стал вождем и взялся увести свое племя в Америку через Берингов пролив. Долгане перебили уполномоченных и двинулись в поход. По пути они отбивали еще оленьи стада и разоряли фактории. На усмирение их были высланы отряды солдат. Началась партизанская война. Она продолжалась больше года.

— И никогда бы нас не победили! Мы им такие ловушки устраивали. Зама-ним — и оставим волкам на потраву!

— Почему же вас все-таки переловили?

— Появились недовольные. Всю голову вместе со мною выдали. Как везде.

Баранкин отбыл уже половину своего срока. Он уцелел в страшной партизанской войне, которую вел с советской властью, его не расстреляли, взяв в плен, он выжил даже после того, как его вынесли из шахты с разорванной грудной клеткой и вырванным легким, и теперь надеялся пережить срок, выйти на волю и уж не упустить в жизни ничего. Для этого надо было работать, чтобы удержаться в конторе, не погореть, не попасть в тяжелые условия, которых он мог бы и не выдержать.

Соболев был инога склада. До лагеря он служил в ГПУ и приучился к подозрительной скрытности. С ним приходилось быть очень осторожным, потому что он все время был на грани злобного раздражения. Он был злым от природы да еще озлился от того, что с ним сделали. На следствии ему вывихнули руку и оформили шпионом. Судя по его отрывочным рассказам, в 1932-м или 1933 году какой-то немец совершал поездку по нашей стране. Международного туризма у нас тогда не допускали, однако немцу почему-то ездить разрешили, но приставили к нему целый хвост секретных наблюдателей, которые отмечали всех, с кем немец говорил. Соболев случайно встретился с ним на пароходе. На палубе немец спросил его, как называются местность и город на берегу. Когда Соболев сошел в своем Сталинграде, его тут же на пристани арестовали и потом дали десять лет за шпионаж. Арестованных по этому делу оказалось более ста человек. Среди них были официанты из ресторанов, кондукторы автобусов,

просто случайные прохожие, которых немец спрашивал, как пройти. При полной безответственности перед людьми чего проще было хватать всех подряд, чтоб не упрекнули в «отсутствии бдительности». А если бы вздумали проверить, то только подтвердилась бы безошибочность ГПУ: все ведь сами «сознавались». Теперь я все время встречался вот с такими людскими судьбами. Соболев злобно высмеивал всякие надежды. Но видно было, что и он надеялся и жил этой надеждой. Да иначе и не могло быть. Все надеялись.

Поэтому и побегов почти не было. Бежали только уголовники. Время от времени убегал какой-нибудь опытный рецидивист. Оперативники, рыскавшие по дорогам и пристаням, его никогда не находили. Бывали случаи, что убегал глупый молодой вор, не имевший связей и начинавший плутать по тундре. Такой беглец был желанной добычей для вохровских охотников. За ним гнались на лошадях, окружали, спускали свору собак. Я видел двух оперативников, возвращавшихся с такой охоты. Они ехали верхом на лошадях. Один из них вел собаку, а за другим, привязанный веревкой за шею, без штанов, со связанными руками, босиком семенил пойманный беглец.

«Особо опасные», то есть всевозможные «контрреволюционеры», не бежали. Им и бежать было некуда. Уголовники имели свою подпольную среду, в которой могли скрываться и жить. А обычный человек был весь на виду, за каждым следили и наблюдали десятки глаз, спрятаться было некуда. Да и люди были не такие, чтобы идти на заячью жизнь. Все надеялись, что их дела пересмотрят, несправедливость исправят, а если и не пересмотрят, то, может быть, удастся дотянуть срок, а то и выйти досрочно и еще пожить по-человечески. И люди работали, потому что деваться было некуда.

А работа в таком слаженном предприятии, как железная дорога, при машинах и механизмах давала даже некоторое удовлетворение. Она позволяла противопоставлять себя бездельникам-чекистам. Заключенные ремонтировали и водили паровозы, составляли графики движения, умели рассчитывать и строить пути со всеми закруглениями и переходами, а оперуполномоченный знал одно — шпионам и троцкистам не давать пропусков. Ну все равно ему доказывали, и он давал. Небольшой хозяин.

2

А кругом, едва прикрывая вечную мерзлоту, лежало бесконечное тундровое болото... С наступлением ночи солнце спускалось теперь к самому горизонту. Становилось холодно. Вдалеке, на фоне вечерней зари, поднимался белый пар. Там гоготали собиравшиеся на ночь дикие гуси. Дождей после нашего приезда не было. В тундре обсохло множество кочек, и, когда приходилось прыгать по ним, под ногами слышался тоненький-тоненький свист: это маленькие тундровые мыши предупреждали друг друга об опасности.

Я не сразу понял, какую катастрофу для Воркуты несла сухая погода. Ведь Уса представляла собой горную речку. Если в горах Заполярного Урала шли дожди, вода в ней стремительно накапливалась и сразу же скатывалась в Печору. Без дождей Уса мелела настолько, что движение по ней становилось невозможным. После нас в ту навигацию пришло всего два каравана. Опытные воркутяне говорили:

— Ну, закуривай! До будущей навигации не завезут теперь ничего. Ни продовольствия, ни обмундирования, никаких стройматериалов. Даже письма и газеты получим только через год.

В сентябре начались темные морозные ночи. Вся тундра помертвела. Вскоре она покрылась снегом, а река замерзла. Кормить стали очень плохо. В запасе лагерь имел только хлеб и ячменную сечку. Не оставалось соли. Стали отмачивать старые бочки из-под соленой рыбы, но и этого хватило ненадолго. Вспомнили, что в прошлом году было сактировано большое количество сгнившей рыбы. Ее вывезли за реку и, чтобы не воняла, закопали. Теперь снарядили бригаду откапывать и привозить обратно. Эту рыбу коптили и кормили ею людей, а из бочек добывали соль. Народ начал умирать от цинги и пеллагры. С отвра-

щением, но и с завистью говорили о двух сторожах на базе, которые ловили крыс на опустевших складах, жарили, ели их и жили хорошо.

Я заболел цингой. Началось со страшной вялости и усталости. Потом быстро стали разрушаться зубы и выпадать волосы. На теле и особенно на ногах появилась кровавая сыпь. Но так как по своему положению я был не последним из придурков, мне можно было по-приятельски обратиться к врачу. В санчасти была корова. Молоко заквашивали, и некоторым больным выдавали простоквашу. Врач велел выдавать и мне по полстакана через день. Раздачей простокваши занимался «крестик». Это был один из мучеников «за веру». Когда у них спрашивали фамилию, они отвечали: «Сын Божий».

— Звать как?

— Зачем тебе? Я сын Божий, как все.

— Откуда?

— От Бога. К Богу иду.

Следователи выходили из себя, грозили расстрелом, били. Они все это выносили и обычно кланялись:

— Спасибо тебе. Сподобил потерпеть. Но Христос больше терпел.

В лагере они отказывались от работы, потому что велась она не для «доброего дела». Их гноили в изоляторах, но сломить не могли. А без конца держать в изоляторе было нельзя. Трудовые контингенты требовалось использовать. Конечно, можно было избавляться от неисправимых отказчиков — отправлять на старый кирпичный завод, самый страшный штрафной лагпункт. Но для этого необходимо было решение управления лагеря. Для рядовых «начальников» легче было договориться с отказчиками по-хорошему:

— Может, будешь все-таки хоть что-нибудь делать?

«Крестик» отвечал:

— Если доброе для людей — буду.

Вот так и наш «крестик» стал раздавать простоквашу. Он наливал мне полстакана, улыбался и говорил:

— Кушай во славу Божию.

В эту зиму он умер от истощения и цинги. Он не позволял себе пользоваться той простоквашей, которую раздавал людям.

Моя цинга хотя и не развивалась, но и не проходила. Это вызывало презрительное отношение со стороны Баранкина:

— Эх вы...

— А в тундре у вас разве не болели цингой?

— В тундре! Там люди настоящие. Они живую кровь пьют.

— Где же ее взять!

— Хм! Уметь надо. Прежде чем с людьми отношения заводить, надо с лошадьми дружбу наладить. Я на конном дворе каждый день бываю. Хлебушка им принесу, почешу, побеседую, а тем временем какую-нибудь маленькую жилку чирк ножичком и живой крови насосусь.

Я продолжал целыми днями работать в управлении дороги. Наш Соколов там стал теперь самым главным. Новый начальник дороги Первышев в управление никогда не приходил. Он сидел в паровозном депо, курил и молча слушал машинистов и слесарей — что-де паровоз не заклоченный и в этих условиях не выдерживает, что материалов для ремонта нет, что заводских деталей не присылают и как быть? Первышев выслушивал, докуривал, потом или посылал к такой-то матери, и слесарю становилось ясно, что приставал он зря, или подходил к паровозу, молча смотрел, опять закуривал, стоял, думал, наконец находил решение и говорил пару слов.

У тяговиков и механиков он пользовался громадным авторитетом, тем более что крепко удерживал для них целый ряд привилегий: жили они просторно и тепло в хорошем доме — «доме ударника», питались не в общей лагерьной столовой, а в так называемой столовой вольнонаемных, в которой, хотя никаких вольнонаемных не бывало, питание готовилось вполне человеческое, получали постельные принадлежности и т. п. Управленческих дел Первышев не касался, предоставив их Соколову. Лишь иногда он присылал ска-

зять Алексею Алексеевичу, чтобы работников управления вывели в воскресенье чистить дорогу.

Движение на дороге на зиму прекращалось — преодолевать заносы было невозможно. Но время от времени приходилось расчищать отдельные участки, чтобы выводить занесенные составы. В одно из воскресений мы чистили пути недалеко от станции. Стоял сильный мороз, и поэтому не дуло. Снег был спрессован ветрами так, что его приходилось резать железными лопатами и кирпичами выкладывать по обочинам. Получался глубокий коридор, из которого не выглядывали даже трубы паровозов.

Работой руководил сам начальник пути. Это был большущий молодой крестьянин с обветренным до красноты приветливым и открытым лицом. Фамилия его была Кожурин. Всю путевую науку он постиг в лагере, расчетов делать не научился, но был по-хозяйски заботлив и толково, без суетливости руководил людьми. Путевские рабочие не имели привилегий, как тяговики, жили на участках в тесных казармах без электричества, ели обычную ячменную сечку и работали по 10—12 часов на морозе да под дождем. Кожурин старался беречь их, как в деревнях берегли лошадей. Чистить дорогу было их делом, но он добился, чтоб по воскресеньям этим занимались «придурки».

Возвращаясь с работы, я шел с Кожуриным и Соколовым.

— Алексей Алексеич, — говорил Кожурин, — ты слышал, уполномоченный приказал дальнюю казарму освободить под троцкистов? А куда же людей?

Речь шла о небольшом этапе — человек в семьдесят, состоявшем из настоящих оппозиционеров. Для остальных заключенных это были белые вороны. Они жили в красноярской ссылке, а теперь Особое совещание заключило их в лагерь.

— Что ж поделаешь? Ведь они прямо к уполномоченному ходят, требуют, чтоб их ни с кем не смешивали. Да и это не все. У них несколько семейных. Для них будут землянки освобождать.

— Они разве навечно в генералы произведены?! Правду говорили: и на том свете им в котлах кипеть, а мы и там дрова таскать да подкладывать будем.

Я спросил Алексея Алексеевича: кто они такие?

— Что вам сказать? По-видимому, крупные партийные работники. Верховодит ими какой-то Жак. Мне они напоминают белых эмигрантов. Те в Харбине тоже собирались кучками, о чем-то спорили, обсуждали какие-то свои вопросы. Свой мирок, а кругом — чужое.

— А ты слышал, — перевел разговор Кожурин, — кое-кого на лошадях стали увозить? Считается, что только задаток дали, а теперь уж за настоящим делом вызывают. Вчера лыского каптера угнали.

— Свистуна?

— Да. За солью съездить — лошадей не было, а за новым сроком — сразу нашлись.

Спустя несколько дней, зайдя в нашу плановую часть, я застал там Жака. Это был небольшой черноволосый человек с густыми, коротко подстриженными усами, кончики которых, когда он говорил, поднимались к носу. У него была манера пристально смотреть через очки на собеседника непроницаемыми, как пуговицы, черными глазами. Он вел разговор с Алексеем Алексеевичем о том, что оперуполномоченный предложил им поискать себе работу в плановой части. Алексей Алексеевич, по-видимому, подготовленный к этому, отвечал так, чтобы не отказывать, но и не принимать:

— Работу, конечно, можно найти. Можно проанализировать графики движения за истекший год...

Жак сразу все понял и сказал:

— Мы, Алексей Алексеевич, ведь не настаиваем. Это оперуполномоченному хочется нас пристроить. Но для нас работа в лагере принципиально неприемлема. Мы не можем допустить, чтобы наш труд применялся подневольно. Это во-первых. Во-вторых, если бы мы и согласились работать, то никак не десять часов. Никакой режим, установившийся в стране, не смеет отменять завоеванного революцией восьмичасового рабочего дня. В-третьих, наш труд нельзя опла-

чивать ячменной кашей. Мы не можем ценить его так дешево...— Прощаясь, он добавил:— Уполномоченному мы, конечно, не скажем, что нам отказали. В этом отношении вы можете быть спокойны. Мы скажем, что работа в плановой части для нас неприемлема.

Немного погодя Соколов показал в окно:

— Вон еще один из них. Профессор Гольман.

По дороге с тростью в руке внушительно выступал бритый человек лет сорока. Он был в толстых шерстяных спортивных чулках, его шея была укутана теплым шарфом.

Этот согласился работать — помогать, кому делать нечего: каптеру палочки в ведомостях проставлять, но с условием: жить в его землянке. В отличие от «крестиков» красноярская кучка фрондирующих партийных интеллигентов хотела жить. Но заключать мир с произволом тоже отказывалась. Вскоре мне довелось познакомиться с одним из них поближе. Соколова перевели на строительство капитальной шахты. На дороге вместо него остался я. И вот Первышев как-то прислал деповского сторожа за мною. Я пошел в депо. Первышев стоял у разобранного паровоза. Он бросил и растер сапогом недокуренную папиросу и сказал:

— Звонил уполномоченный. Надо вам взять Косиора.

Через некоторое время ко мне явился Косиор. Это был родной брат Станислава Косиора — члена Политбюро и первого секретаря Украинского ЦК. Звали его Владимир Викентьевич. При разговоре он угрюмо смотрел в землю, подставляя собеседнику свою розовую отполированную лысину, и только изредка вскидывал голубые глаза. Я поручил ему делать сводки выполнения норм. На мои объяснения он нетерпеливо прошипел:

— Я знаю.

Трудился он усердно, при этом что-то бурчал себе под нос и ни в какие разговоры не вступал. Но когда отчет был готов и в аккуратно переписанном виде он подал его мне, я увидел, что все наврано. Он обиделся и зашипел:

— Нет! Все верно. Я проверял.

Я объяснил ему, что он вместо средневзвешенных исчислил среднеарифметические. Он потупился, но быстро понял, лысина, в которую мне приходилось смотреть, густо покраснела, он схватил отчет.

— Дайте! Я переделаю.

С тех пор он уже не проявлял по отношению ко мне своего плохо скрываемого пренебрежения, хотя разговоров избегал. Однажды мы шли с ним вдвоем из дальнего карьера. Кругом никого не было. Я спросил:

— А как вы объясняете весь этот террор, эти массовые, не имеющие никаких оснований аресты?

Он потупился и, в свою очередь, спросил:

— А вы как объясняете?

— Меняют состав партии и государственного аппарата.

— Хм. А зачем?

— Чтобы иметь свою партию и свой аппарат.

— В общем, это приблизительно правильно.— Он оживился.— Ведь мы брали власть, рассчитывая на мировую революцию. Она не получилась. Естественно, что диктатура при этом стала нужной только, чтоб сохранять диктатуру. В стране установился насильственный режим. А в связи с этим потребовалось ликвидировать не только всякую политическую активность, но и самую возможность этой активности. Весь аппарат, управляющий в стране, превратили в полицейский аппарат, в котором опасно было терпеть людей, подбирившихся ранее, а тем более людей, способных мыслить, имеющих знакомство с какими-то иными политическими порядками, людей, относительно которых вообще могли быть какие-нибудь сомнения. Надо, чтобы все безоговорочно, не задумываясь, не обращаясь к своей совести, подчинялись установленной дисциплине. А ведь для этого надо за каждым смотреть, чистить, устрашать. Вот так и образовалась теперешняя партия или то, что продолжает называться партией.

— А что представляет собою Сталин?

— Сталин? Сталин ничего собой не представляет. Но если ему принадлежит власть, которая используется только ради власти, то это-то и опасно. Будет еще хуже.

3

В ночь под Новый год Баранкина не было, а Соболев притворился, будто спит. Я вышел из землянки. Стояла лучшая из возможных на Воркуте погода. Мороз еле достигал 20 градусов. Было совершенно тихо. Мельчайшие кристаллики, наполнявшие воздух, у фонарей искрились, образуя пучки света, уходящие ввысь, как от прожекторов. Как спокойно! Я крепко зажмурился и ясно, как наяву, увидел столовую в нашей московской квартире, люстру, в которой по случаю Нового года горят все лампочки, а за столом под нею — веселого и радостно возбужденного отца, свежее, улыбающееся лицо моей жены, Любашу с Катюшкой, которая тянется ко мне, лопочет и смеется, и маму, разливающую чай...

С Новым годом, мои дорогие!

Январь для меня был особенно трудным рабочим месяцем. Надо было доказать, что рабсила на дороге, несмотря на консервацию движения, «используется» и забирать ее на шахты нельзя, надо было составить производственный план на новый год и представить экономико-статистический отчет за прошлый год. К отчету надо было дать хорошо оформленные диаграммы. На Воркутском их могла выполнить только одна организация — так называемая «История Воркуты». О ней надо рассказать.

Я познакомился с ней еще летом. Помещалась она в одной из избышек, оставшихся от первых геологов. Хотя я пришел тогда к одиннадцати часам, ее работники только вставали. Художник Вольпин мял бумажку и мурлыкал импровизацию:

«Англичане угрожают газовой атакою.

Англичан я не боюсь, вот пойду покакаю».

Другой художник — Глан, крупный, черноволосый, сердито нюхал миску с кашей и ворчал на дневального за то, что он принес такую гадость. Мной занялся третий художник. С ним мы впоследствии очень сблизились. Звали его Константин Константинович Пантелеев. Он ходил на костылях, имел густую жесткую рыжевато-серую бороду, лицо у него было какое-то не совсем русское — ястребиное, как из восточной сказки. Четвертый сотрудник «Истории» — бывший журналист из «Комсомольской правды» Стремяков — к моменту моего прихода еще не проснулся.

Пантелеев показывал мне альбом акварелей, изображавших эпизоды воркутинской истории, и говорил, что им поручено составить такую же книгу, какая была написана о Беломорканале.

Однако к зиме вся их деятельность прекратилась. Начальник лагеря Барабанов, затеявший это, уехал, забрав на память их альбом. Вольпина куда-то угнали, Глан отказался работать и ушел к троцкистам, Стремяков подыскал другую бездельную работу — замерять два раза в сутки уровень воды в Усе. Остался один Пантелеев.

Тесная избышка была захламлена и завалена всякой всячиной. Тут были штабеля подрамников, лежали разные доски, подобранные Константином Константиновичем «на всякий случай», валялись рулоны бумаги, всюду топорщились неряшливые обрывки эскизов, незаконченных рисунков, каких-то записей. У стенок стояли консервные банки с красками и белилами, много красок было разлито по полу. Среди всего этого хаоса стояла неприбранная постель без белья, со скомканной солдатской шинелью вместо одеяла.

Константин Константинович смахнул с табурета прямо на пол рисунки и записки, стер рукавом бушлата пыль и предложил сесть. При этом он задел груду бумаги на столе, и она упала. Я хотел поднять.

— Не надо. Раз упала, пусть там и лежит.

Мой рассказ о диаграммах его увлек, как увлекало каждое новое дело. Он стал серьезно разбираться, схватил первый попавшийся акварельный рисунок и

на обороте начал делать заметки и эскизы. В итоге он сделал мне штук пять прекрасных остроумных диаграмм.

С готовым отчетом я двинулся в управление лагеря. Собственно, Воркутинского лагеря тогда не было. Воркутинские шахты считались отделением Ухтомско-Печорских лагерей, но для нас это отделение было высшей инстанцией. С Ухтой мы дел не имели. Лошадь мне не полагалась, и я задолго до рассвета пошел вдоль занесенной дороги пешком по телефонным столбам. Идти надо было около 80 километров.

Я шел один по снежной пустыне, кругом никого и ничего не было — ни деревьев, ни кустов, ни встречных людей. Только бродили терявшиеся на белом фоне тоже совсем белые куропатки да по следам на снегу угадывалось присутствие других зверей: петляли зайцы, иногда тянулся прямой след песка, а то вдруг, испугавшись меня, вспархивала белая полярная сова и, не зная куда деваться, трепыхаясь, повисала в воздухе.

Примерно через каждые десять километров стояли станции. На зиму в них сторожахи оставались дорожные мастера и начальники станций. К ночи я прошел половину дороги, устал и решил заночевать в одной из них. Сторожил там молодой дорожный мастер, бывший комсомольский работник, поддеывавшийся теперь под урок: дневальным у него числился пожилой движенец (так мы сберегали зимой наши кадры, чтобы их не угнали на шахты или еще куда-нибудь). У них я застал Кожурина и Жору-Кавалера. Все слушали Кавалера, рассказывавшего под видом личных воспоминаний какие-то истории. Дорожный мастер слушал с напряженным вниманием, по-видимому, целиком переносясь в повествование, Кожурин — мрачно потупившись, старик-движенец — еле заметной усмешкой. Потом движенец подал кастрюлю с вареными куропатками, все поели и накормили меня. Кавалер, очевидно, продолжая тему каково-то из своих рассказов, кивнул в мою сторону:

— Вот интеллигенции Бог ни к чему. Вы ведь в Бога не веруете? И креста не носите? Ну, правильно. Ему готовая паечка всю дорогу идет. Это я вам без оскорбления говорю, не обижайтесь. А у меня от пайки живот болит! Так устроен! Ну а чего-нибудь другого просто так-то не возьмешь! Надо рвать. А не сумеешь, так тебя и с бушлатом, и с фамилией, и с прозвищем самого проглотят. Вот тут без Бога не обойдешься! Давайте я вам из жизни расскажу. Послушайте! — И вдруг почему-то злобно крикнул: — И ты, очкастый, слушай!.. Вот в одночасье у меня дело было — мокрое, но хорошее. Подфартило мне. Ну, оделся с картинки и, главное, тросточку заимел. Тогда Кавалером меня и прозвали. Так что — гулять по бульвару? Нет. Засел играть. И такая линия у меня тогда выдалась — все пошло под откос! Денег была куча — проиграл до последней бумажки. Так жалко! Стал присматриваться — честно ли играют. Нет, ничего, по закону. Ах, думаю, мать твою — не может же быть, должна прийти моя карта! Не отдавать же столько добра. И опять — не моя! Колеса хромовые снял, костюм отдал и уж остановиться не могу. Должна моя прийти! На мне шелковая рубашка была — и ее отдал. Сижу в одних подштанниках, да еще этот крест. Ну, тут я психанул. «Давай, — говорю, — на людей. Я десятого ставлю, а ты все, что взял». Думаю: должен же выиграть! И не выиграл!.. Ну, вышли. Светает, народ редкий, но уже идет. Стоим, справа забор, а то все — дома. Считаем. Мне в подштанниках-то холодно, поскорее бы! Наконец идет мой десятый. Оказался пацан лет пятнадцати. Я его пырнул, а он вроде как удивился, рот приоткрыл и не вскрикнул. И ведь надо такое: то народу не было, а тут целая куча, кто-то свистнул, кто-то бросился ко мне. Ну, думаю, приехал, отыгрался, Кавалер! Хотел через забор — высоко. Тут вот я и схватился за крест. Ну, Господи, спаси, выручай! И как подумал, так на меня кинулся толстый мужик — килограмм на сто, а я его — изо всей силы к забору. Он хрястнул и упал на четвереньки, как медведь. Я к нему на спину, со спины через забор и ушел. Что, по-твоему, это не чудо?!

Было уже поздно, хотелось спать. Я вышел во двор, за мной вышел Кожурин. Видно было, что, несмотря на обычное крестьянское безбожие, ему претит вся эта пакость. Он обратился ко мне:

— Видал чудотворца... его мать! Сунули в бригаду, теперь путешествует по трассе, объедает, обирает да еще ударные проценты получает. Падло! С Богом, видишь, контакты установил. Убивать сволочей мало!

...В конце зимы начались перемены в нашей жизни. Как-то, выглянув из окна плановой части, я увидел, что с фронтона депо снимают портрет Ягоды. Это был огромный, написанный на полотне портрет, обрамленный электрическими лампочками. Деповские сторожа, стоя на лестницах, отдирали его, а внизу стояли оперуполномоченный, комендант и Пантелеев, с ведерком и большой кистью. Когда портрет спустили, Пантелеев под наблюдением уполномоченного замазал черной краской лицо генерального комиссара, а потом все пошли дальше. Портреты Ягоды висели во всех помещениях. Оперуполномоченный с комендантом снимали их, бумажные тут же рвали, а на полотняных Константин Константинович старательно делал вместо лица черное пятно.

Такое ниспровержение генерального комиссара породило массу выдумок и догадок. Оживились надежды на амнистию и отмену приговоров. Начали думать, что если убрали главного негодяя, то и последствия его преступлений должны ликвидировать. Но получилось по-другому.

Вскоре заключенных стали вытеснять со всех руководящих работ и вместо них начали появляться вольнонаемные. В качестве начальника нашей дороги прибыл Сухов, который раньше служил в милиции. Он велел отделать себе кабинет с приемной и потребовал, чтобы начальники служб и частей являлись к нему с докладами. На должность начальника пристани из Архангельска прислали молодого комсомольца. Этого возмутило то, что работавший на пристани бывший морской капитан ходил в кителе с золотыми пуговицами, а он, не поняв, что это заключенный, подал ему руку. Сухов вызвал оперативника, и тот тут же отрезал у капитана золотые пуговицы. Затем начальник пристани заявил, что с заключенными он никаких переговоров и расчетов вести не будет. Поэтому все сношения с пристанью стали производиться только в кабинете Сухова: начальник пристани обращался к нему, он спрашивал находившихся тут же заключенных и повторял их ответы начальнику пристани.

Главным инженером вместо Сидоркина был прислан молодой прибалтийский немец Вайнберг. На протяжении двух веков эти немцы проявляли особую преданность порядкам, которым они служили. И Вайнберг старался быть чекистом больше, чем сами чекисты. Хотя ни в тюрьмах, ни в лагере никому не полагалось ходить с оружием, он всегда носил револьвер, а во время совещаний с заключенными специалистами клал его на всякий случай перед собой на стол.

Кто-то из прибывших вольнонаемных устроил скандал из-за того, что в «вольнонаемную» столовую ходят заключенные. Он обедал, и вдруг пришли двое заключенных и сели рядом.

— Мне что оставалось? Пришлось встать и уйти, не доемши.

Сословная дифференциация нарастала и усиливалась.

Но дело не ограничивалось этим. Началось формирование «настоящего» лагерного режима. Было приказано выселить заключенных из землянок. Началось строительство бараков в зоне, огороженной колючей проволокой. Я убегаю от переселения в зону, потому что строительство затянулось, но из землянки вынужден был уйти, вместе с моими экономистами и стариком-топографом занял секцию небольшого барака при лесопилке.

В этой обстановке состоялся суд над строителями нашей дороги. Их привезли, чтобы публично судить на месте их «вредительства». Судебное заседание открылось в лагерной столовой. На небольшой эстраде за столом, покрытым красным помятым ситцем, сидел председатель суда в потасканном пиджачишке со скрученным веревкою галстуком. По сторонам от него помещались два вольнонаемных вохровца — это были заседатели. Сбоку сидел одетый в полувоенную форму прокурор — белобрысый молодой человек с большой, выдававшейся вперед челюстью. Внизу, около эстрады, под охраной еще двух вохровцев сидели трое подсудимых: бывший начальник дороги Иванов, начальник пути и начальник тяги. Столовая была битком набита нашими железнодорожниками. Допрашивали начальника пути:

— Подсудимый, вам было известно, что путь не соответствует техническим условиям?

— Это всем было известно. И прежде всего начальнику лагеря Морозу.

— Я спрашиваю: вам было известно?

— Как же, я столько раз докладывал об этом Морозу.

— Значит, вы признаете, что знали и все же не закрывали движение?

— Да если бы я закрыл, Мороз сгноил бы меня в изоляторе.

— Подсудимый, не морочьте суд своими контрреволюционными выдумками. В Советском Союзе никого не гноят в изоляторах.

В публике послышался смех. Председатель постучал по столу. Потом возобновил допрос:

— Подсудимый, значит, вы признаете, что сознательно открывали для движения заведомо технически непригодный путь?

— Гражданин председатель, я заключенный и выполнял приказы лагерного начальства.

— В деле нет никаких приказов.

— Да разве я мог брать с начальника лагеря бумажки? Но все знают, что он заставлял нас шпалы прямо в болото класть, чтоб рапортовать об открытии дороги. Вот его и судите.

— Это наше дело, кого судить.

В общем, было ясно, что и открытый суд не отличался от Особого совещания. Начальника дороги приговорили к расстрелу, остальным увеличили уже имевшиеся сроки.

Стало ясно, что ни о каком смягчении приговоров мечтать не следует. Но что же происходило? Все мы с нетерпением ждали открытия навигации, газет и людей из внешнего мира. В начале июня лед наконец пошел. Ранним утром по шпалам я попытался пройти в карьер, но из-за тумана даже в двух шагах ничего не было видно. Скрытые этим туманом, как занавесом перед началом концерта, на все лады свистели кулики и кричали утки. Сырой воздух жил надеждами пришедшей и сюда весны.

Через несколько дней прибыли первые баржи. Они подвезли зимовавший неподалеку картофель. Измученный цингой и изголодавшийся народ набросился на него так, что начальство ничего не могло поделать — оно разрешило грузчикам есть картошку. На берегу зажгли костры, и в течение двух дней, пока разгружались баржи и грузились вагоны для отправки на шахты, люди запасались витаминами.

Следующие баржи привезли кипы газет, письма и посылки за целую зиму. Тут мы узнали, какого размаха достигли за это время репрессии. Начали поступать новые этапы. Оказалось, что Особое совещание уже не ограничивается сроками в три и пять лет, а дает по восемь и десять. Мы впервые услышали о новом генеральном комиссаре и его «ежовых рукавицах». Рассказывали, что в следствии стали участвовать «молотобойцы»: сам следователь играл роль кузнеца, формирующего показания, а специально подобранные здоровые парни эти показания выколачивали. Позднее начали приходиться партии «контриков» с лагпунктов, расположенных южнее Воркуты. Их сгоняли отовсюду, чтобы концентрировать на Воркуте. Проходя как-то мимо одного из таких этапов, я услышал:

— Зубчанинов! Зубчанинов!

Я подошел. Кричал бывший заместитель начальника планового управления наркомата, в котором я работал, Ратнер. Это был долговязый болван со светло-желтой густой шевелюрой и большими розовыми губами. В наркомате он считался накладным расходом. Наверное, поэтому на партийной чистке должен был похвастать: «Мне принадлежит честь открытия вредительства в текстильной промышленности!» Но эта «честь» его не спасла. Теперь, встретив меня, он проявлял неумеренную радость и кричал: «Друга встретил! Друга с воли встретил! Вы подумайте!» Но ему велели лезть на платформу, отправляющуюся на шахты.

В обстановке нарастающего гнета оппозиционеры из краснойорского этапа вступили в новую борьбу. Сначала они вновь отказались от работы. Даже Ко-

сиор ушел от меня. Потом согласились работать, но только своими бригадами и только по норме. Одна бригада взялась подвозить уголь к электростанции с таким условием, чтобы подвезти на сутки и уйти. Другая стала разгружать баржи, опять-таки с условием, чтобы разгрузить сданную им баржу и уйти. Но скоро отказались и от этого.

До нас доходили слухи о том, что у них что-то бурно обсуждается, ведутся горячие споры. К осени стало известно — они объявили массовую голодовку. В ней приняли участие более 70 человек. Всех их поместили в отдаленную путейскую казарму. Лагерное начальство не знало, что делать.

4

Зимой 1938 года в историю Воркуты была вписана одна из самых мрачных страниц. Красноярские троцкисты голодали около двух месяцев. Их насильно подкармливали, и, хотя многие ослабели и не могли двигаться, все же они не сдавались. Наконец им пообещали, что отправят в специальное место, где будет создан нормальный для политзаключенных режим, а перед отправкой их вылечат и дадут отдохнуть.

Действительно, как только они прекратили голодовку, их разместили в сангородке и стационарах и стали готовить для этапирования пересылку на старом кирпичном заводе. Руководил этой подготовкой Царев — недавно прибывший начальник, член партии, розовый, веселый и обходительный. Он приехал к нам из Воркуты-вом, чтобы в железнодорожных мастерских заказать разный инвентарь. Нас тогда поразило, что заказывалось большое количество ломов и железных лопат. Затем Царев получил несколько больших брезентовых палаток, в которых можно было разместить добрую тысячу человек. Подготовка велась никак не на сотню красноярских троцкистов.

Охрану кирпичного завода сформировали исключительно из вольнонаемных воровцев, главным образом коммунистов и комсомольцев. Командиром назначили тоже партийца — Потемкина. Вскоре оправившихся после голодовки стали небольшими партиями пересылать на кирпичный, причем бывших там штрафников возвращали на их прежние места.

Из нашей бухгалтерии там сидел тогда счетовод Фуфаев. Это был долговязый, уже пожилой дядька, с подкрученными усами и бородкой клинышком. Он очень не понравился Сухову своей ехидной болтливостью и потому был упрям на кирпичный на целый месяц. Теперь вместе с другими штрафниками Фуфаев возвращался на Воркуту-вом. По дороге они развели из рассыпанного угля костер, сидели и грелись. Навстречу им шла группа бывших голодающих. Они подсели к костру. Один из голодавших отбивал каторгу еще до революции во Владимирском центре. Он рассказывал:

— И вот стало нам известно, что царя свергли. Что будет? Ждем день, ждем другой... Наконец политическим приказывают строиться в коридоре. Все как будто еще по-прежнему: идем к выходу под конвоем надзирателей. Во дворе друг против друга построены две шеренги с винтовками. Несмело входим между ними, и вдруг начальник караула — долговязый прапорщик с бородкой — командует солдатам: «Смиирна!» Солдаты застыли. «На караул!» И вот мы в своих арестантских халатах, в кандалах, как генералы, идем между солдатами, отдающими нам честь! Ну, я не выдержал, бросился к этому прапорщику. Мы расцеловались, расплакались. Другие бросились целоваться с солдатами...

Фуфаев посмотрел на него:

— А в лицо ты этого прапорщика помнишь?

— Да я в жизни его не забуду!

— А ну, посмотри на меня.

Тот посмотрел, ахнул, и они обнялись и расцеловались, как двадцать лет назад. Кто-то, чтобы снизить чувствительность этой встречи, проворчал:

— Ну, теперь позаботились, чтоб ты революций больше не делал, а ты каторжникам генеральских встреч не устраивал. На такого прапорщика больше не надейтесь.

Через некоторое время стало очевидным, что на кирпичный будут отправлять не только голодавших. Каждую ночь уполномоченный выхватывал несколько человек, держал их до формирования партии в изоляторе, а затем отправлял. В одну из мартовских ночей у меня взяли старшего экономиста Певзнера, потом другого экономиста. Ивана Агапыча Панина срочно вызвали на шахты принимать дела плановой части, потому что начальника тоже отправляли на кирпичный. Гнали туда главным образом осужденных Особым совещанием на небольшие сроки, но много шло и десятилетников. Брали преимущественно пятьдесят восьмую, но попадались и зlostные отказники, в том числе все «крестики». Видно было, что попасть мог любой.

Тянулось это всю зиму. Всю зиму каждый из нас ждал, что, может, ночью заберут и угонят его. При этом все понимали, что гонят не в этап, а в какую-то бездонную яму, из которой никто не возвращается. Нарастали страх и безнадежное отчаяние. Как-то один из подготовленных к отправке, сидя в изоляторе, сошел с ума. Двое суток он на всю Воркуту-вом выл волком. Стало известно, что из Москвы прибыл старший лейтенант госбезопасности (значит, подполковник) Кашкедин в сопровождении еще трех лейтенантов. С их прибытием всю местность вокруг кирпичного оцепили караулами, так что к заводу нельзя было приблизиться и на десять километров. Там происходило что-то страшное.

Однажды я вызвал начальника пути Кожурина, чтобы обсудить с ним план развития станционных путей. Предполагалось большое увеличение перевозок, и надо было готовиться. Проект уже составили, но не было шпал. Я посоветовал Кожурину разобрать заброшенную ветку, ведущую на кирпичный. Без всякой задней мысли я сказал:

— Возьми шпалы там. Их на кирпичном много.

Он понял это как намек и усмехнулся:

— Да, шпал на кирпичном теперь много. Неудобные только — с руками и ногами.

Скоро стали доходить слухи о том, что на кирпичном происходит массовое уничтожение людей. Тогда же прекратили освобождение всех имевших «контрреволюционные» статьи. Срок кончился, но люди оставались заключенными и продолжали ожидать отправки на кирпичный. Уполномоченный набирал и набирал новые партии.

Как не хотелось этой бессмысленной гибели! Когда в Бутырской тюрьме мне грозили расстрелом, не возникало такого отчаяния. Раз арестовали, естественно, могли и расстрелять. Но здесь мы только и жили надеждой вернуться, только и думали: когда же кончится срок? Все мысли были о том, как там дома, как пойдет наша жизнь после освобождения. И вот оказывалось, что ни освобождения, ни жизни не будет. И ничего не поделаешь, и ничем не уберешься, и никто даже знать не будет. За что?!

Вдруг как-то ночью в плановую часть пришел нарядчик и прошептал мне на ухо:

— В хитрый домик вызывают. Сейчас.

— Меня?!

Он кивнул головой.

За все время пребывания в лагере я еще никаких дел с оперуполномоченным не имел. А в это время вызов к нему означал почти верную гибель. Но надо было идти. Когда я постучался и вошел в его кабинет, он, держа в руках какую-то записку, спросил:

— Кто такой Ратнер?

Надо сказать, что Ратнер, отправленный в свое время на шахты, устроился там в плановой части лагеря, но, так как работать не умел, его выгнали и сунули в первый попавшийся этап. Этот этап проходил через нашу Воркуту-вом, и Ратнер прислал мне записку с просьбой помочь и устроить. У нас был маленький лесзаг, лесозаготовительный пункт, куда требовался плановик-нормировщик.

Я обратился к Сухову, чтобы Ратнера послали на эту работу. Конечно, я сделал ошибку: ведь должен был понимать, что на новом, необжитом и неустроен-

ном месте этот неумный человек, не умевший работать даже в налаженных условиях, окажется всем в тягость, причем и ему будет очень трудно. Но придумать подходящую для него работу в тех напряженных условиях я не мог. Ратнер же присылал мне отчаянные записки. Он считал, что я послал его в ссылку, и просил из нее вызволить. Теперь такая записка попала в руки уполномоченного. Я сказал уполномоченному, что Ратнер работает плановиком на лесзаге. Он прочел мне записку и сказал:

— Кому где быть, не ваше дело. Занимайтесь тем, что вам положено. И чтобы мне таких записок больше не попадало! А эта пусть на всякий случай полежит у меня, идите.

Я отделался пока только испугом.

Между тем у нас шла очень напряженная работа. Вместо двадцати — тридцати тысяч тонн угля, которые отгружались в прошлую и позапрошлую навигацию, мы готовились грузить двести. Надо было перестраивать и развивать железнодорожные пути, пристань, конструировать и монтировать погрузочно-разгрузочные механизмы, достраивать бараки, учить людей, планировать организацию работ. Нервность обстановки усиливалась тем, что прибывали и прибывали вольнонаемные начальники. Это были надзиратели, которые сами и не думали работать. Их задачей было заставлять работать заключенных и проявлять бдительность. В помощь Сухову приехал вольнонаемный заместитель. Он вызвал меня и, не здороваясь, спросил:

— Это вы занимаетесь здесь вредительством?

Я сказал, что не понимаю вопроса.

— Почему рабочая сила не используется? Ну, я сам разберусь. Можете идти.

Все они были приучены к «ночному бдению», поэтому нам приходилось работать и днем, и ночью. Особенно напряженным было время с восьми-девяти вечера до двух-трех ночи. Начальство вызывало в это время людей, а они шли ко мне — всем надо было или менять планы, или находить рабочую силу, лошадей, материалы, причем все это в спешке, в крике и спорах, в которых сплошь и рядом обнаруживалось, что требования рваческие и давать ничего не надо. Но кто с этим соглашался?!

В лагере действовал естественный отбор, и руководителями работали люди, которые умели что-то делать. Но так как в течение двух последних лет этапами прибывали главным образом партийные работники, мало что умевшие, то кое-где держались и никчемные начальнички. В самое горячее время строительными работами у нас заведовал Шаумян — бывший замнаркома просвещения Армении. Инженер-строитель, он ведал у себя строительством школ. Это был веселый бездельник, технически полуграмотный и совершенно беспомощный как организатор. Но много было и замечательных работников.

Среди ночи в плановую часть время от времени на костылях приходил Пантелеев. Он был ночным человеком, любил посидеть у нас, понаблюдать людскую сутолоку, иногда делал зарисовки. Когда после двух часов народ расходился, я мог поговорить с ним. Он относился ко мне с большим дружелюбием и не паясничал. Как-то я решил поделиться с ним своей все нарастающей тревогой:

— Неужели так и прикончат нас здесь?

— Бросьте об этом думать! Меня один раз прикончили. Я целый месяц был на том свете. Это не страшно.

— Расскажите.

— Вдвоем мы бежали по немецкому окопу, из которого, по нашим сведениям, немцы ушли. Завернули за угол — и прямо лицом к лицу столкнулись с двумя немецкими солдатами. И мы, и они растерялись, но так как я бежал с винтовкой наперевес, то с ходу ткнул одного из них в живот. Он упал. А другой, одурев от смертельного страха, ударил ручной гранатой меня по голове. Я был в стальной каске и поэтому остался цел, а всех, конечно, разорвало. Но вы представляете, что значит взрыв гранаты на голове? Обо всем, что было потом, я знаю только по рассказам. Когда через несколько дней начали убирать трупы, меня поволокли в общую яму. Только тут заметили, что рука у меня су-

дорожно сжимается и разжимается. Фронт отошел, никто не торопился, лошади были, и меня вместо могилы отвезли в госпиталь. Но жизнь вернулась ко мне только через месяц. Я открыл глаза и почувствовал нестерпимую головную боль. Затем началась эпилепсия. Сначала было по несколько припадков в день. Уверяю вас, что месяц на том свете был лучше... Мучителен страх, а не смерть.

В конце зимы просочились подробности того, что делалось на кирпичном. Кашкедин имел задание расстрелять собранную там тысячу человек, или, как говорилось в шифрованных радиogramмах, «произвести глубокое бурение». Но перестрелять столько народу было непростым делом. Чтобы передать тысячу клопов, и то надо было подумать, как организовать работу. А Кашкедин, как все чекисты, которых мы наблюдали, организовывать ничего не умел. Сначала он придумал такой порядок уничтожения. Людям объявляют, чтобы они готовились к бане. Выводятся первые десять человек, они раздеваются в предбаннике, ничего не подозревая идут в натопленную баню, там их убивают, трупы выносят. Затем вводят второй десяток и т. д. Но когда первые, раздевшись в предбаннике, вошли в баню и увидели там вооруженных вохровцев, которые приготовились стрелять, началась свалка: кого-то успели застрелить, но кто-то схватил шайку и кинулся на вохровцев, кто-то зачерпнул кипятку и стал плескать на солдат. Все закрылось паром, стреляли наугад, беспорядочно и долго. Эту стрельбу слышали в палатках, и началась паника. Когда бойня с первым десятком кончилась и, поуспокоившись, хотели выводить второй, поднялись такие крики, возбужденный народ сгрудился такой толпой, что сделать ничего не удалось. Намеченный порядок пришлось отставить.

На другой день Кашкедин в сопровождении своих лейтенантов и вохровцев пошел по палаткам. Он крикнул:

— Кто начал вчерашние беспорядки? — Все молчали.— Не хотите говорить?! Так я знаю — кто. Взять этого.— Он ткнул пальцем в первого попавшегося. Потом также приказал: этого, этого... Но тут к нему кто-то подскочил и закричал:

— Я начал. Я!

С нар соскакивали люди и все кричали:

— Я! Я!

Опять поднялась страшная суматоха. Толпа с криками окружила чекистов. Они были без оружия. Носить его в тюрьмах не полагалось, потому что заключенные могли отобрать и вооружиться. Пришлось бежать из палаток.

Тогда было решено кончить все сразу. Примерно через неделю после своих неудач Кашкедин объявил, чтобы заключенные готовились к отправке на этап. Все было обставлено, как полагается. Людей вызывали с вещами, сверяли личности с формулярами, строили в колонну. Когда колонна была готова, по ней вдруг начали палить из пулеметов. В первый момент никто ничего не понял, а так как стреляли несколько пулеметов, то вначале было побито много людей. Но в следующие минуты началась паника. Стали падать, уползать, бежать. Пулеметчики стреляли уже не по колонне, а по отдельным движущимся фигурам. Потом Кашкедин с помощниками и солдатами долго еще бродили по полю, пристреливая раненых, выискивая и убивая отползших. Оцепление не снимали несколько суток. Когда наконец собрали все трупы, пересчитали и убедились, что никто не уполз и не сбежал, Цареву было поручено организовать захоронение. Для этого он и запасался ломами и лопатами. Потемкину и его солдатам выдали денежные премии и предоставили путевки в санатории, а Кашкедин улетел в Москву. Вскоре в одном из номеров центральных газет на первой странице появился указ о том, что «за образцовое выполнение специального задания правительства» Кашкедин награжден орденом Ленина. В указе были и другие фамилии: массовое уничтожение заключенных проводилось и на Ухте, Колыме, в Норильске.

Для нас эта трагедия с отъездом Кашкедина не кончилась. Сведения о секретах государственной безопасности почему-то всегда распространялись. Весной мы узнали, что Кашкедин радировал начальнику лагеря, чтобы «для целей глу-

бокого бурения» были подготовлены еще две или три тысячи человек. Начальник лагеря просил отсрочить «эти работы», потому что должен был выполнить правительственное задание по отгрузке двухсот тысяч тонн угля.

Но безнадежность создавалась не только угрозой уничтожения. Из Москвы начали поступать дополнительные сроки. На каждого, имевшего пятьдесят восьмую статью, если он отсидел уже свой срок, приходило постановление Особого совещания, в котором без всякой мотивировки срок заключения продлевался еще на восемь — десять лет. Обжалованию эти постановления не подлежали. Большие пачки их лежали в учетно-распределительных частях. О них знали, но официально их не объявляли, боясь, как бы люди с отчаяния чего не сделали.

Переписка с семьями была запрещена.

Все понимали, что решено вычеркнуть нас из жизни навсегда. Некоторые были не в силах владеть своими нервами. В конце зимы приехал Вайнберг проверять подготовку к навигации. Он ходил со своей свитой, выражал недовольство, ругался. Я застал его у Файвусовича, руководителя конструкторов, которые проектировали погрузочно-разгрузочные механизмы. Разговор уже кончался. У Файвусовича на впалых щеках выступили красные пятна. Но внешне сдержанно он говорил:

— Знаете что, гражданин начальник? Делайте тогда сами... А я пойду на кирпичный. Все равно — месяцем раньше или позже...

— Вы не пугайте!

— Я вас пугаю?! Может, это мы пугаем вас кирпичным заводом?!

Вайнберг увидел, что человек дошел до предела, и предпочел уйти.

Помимо того, что делалось у нас, мы догадывались и о том, что делается в стране. Репрессии охватывали всех. На наших глазах они распространились и на лагерных чекистов. Их по одному стали увозить. Брели главным образом тех, кто долгие годы работал в ГПУ до Ежова, а также всех переведенных в лагерь из центра после ликвидации Ягоды. Когда открылась навигация, то оказалось, что на буксире уборщицей работает жена одного из крупнейших чекистов. Она рассказывала, что ее мужа, как и других работавших при Ягоде, расстреляли, а семьи выслали. Кроме как уборщицей, ее никуда не берут.

С первыми пароходами увезли Вайнберга. Стало известно, что арестован нарком внутренних дел Коми, начальник оперотдела нашего лагеря и многие другие. Наш оперуполномоченный истерически требовал, чтобы его уволили в отставку.

Начальником Воркутинского шахтоуправления тогда был Воронин — герой гражданской войны, украшенный тремя орденами Красного Знамени. Не знаю, что он наделал, но его загнали на Воркуту и держали на второстепенных должностях. Был он сильно покалечен: спина была сломана, одна нога не разгибалась, когда ходил, кругом шепотом твердили: «Рупь с полтиной, рупь с полтиной». Как-то он вызвал в кабинет заключенного доктора Тепси, которому вольнонаемные доверяли больше, чем своим, посмотрел за дверь — не слушает ли кто? — и зашептал:

— Доктор, а что если сумасшедшим прикинуться? А? Или дурачком?

Кто же приводил в движение эту адскую машину? Той весной моим помощником работал Николай Иванович Ордынский, и мы с ним иногда говорили об этом.

Ордынский был интересным и умным собеседником. Он происходил из старинной дворянской семьи. За несколько месяцев до революции окончил морское училище, успел немного повоевать в Балтийском море, но после Октябрьского переворота сразу ушел в Красную Армию. Он был одним из помощников Раскольниковца по командованию Волжской флотилией, потом сам командовал Амурской флотилией и был начальником обороны Одессы. После гражданской войны ему удалось окончить Морскую академию, и затем он заведовал в ней кафедрой организации и управления. В 1937 году его, как и многих, посадили. Оказывается, он готовился убить Жданова. В числе многих тысяч таких же террористов он и попал на Воркуту.

У Ордынского были очень хорошие глаза, которые при широком носе и немного плутоватой улыбке делали его похожим на датского дога.

Я говорил ему:

— Все зло в том, что военной дисциплине теперь подчинены и партия, и весь государственный аппарат. Вам, как военному, такое объяснение не нравится?

— Нет, отчего же? Вы, как всегда, весьма глубокомысленны, причем иногда высказываете даже правильные взгляды.— Он любил оснащать свою речь такими небольшими уколами.— Но вы, как и многие великие люди, говорите афоризмами. Мысль надо развивать, а вы ставите точку там, где нужна только запятая. Дисциплина дисциплине рознь. У вас в плановой части тоже кое-какая дисциплина. Не очень твердая, но временами довольно тягостная.— Он покашлял и продолжил: — Все зло в том, что партию и государственный аппарат подчинили дисциплине, которая держится на самых низменных основах: на праве одной группы людей презирать и подозревать всех остальных.

— На том самом праве, на котором действовал унтер Пришибеев?

— Да. И вот, когда неограниченная государственная власть руководствуется только этим унтер-пришибеевским правом, это страшно. Вы знаете, в чем особенность унтер-пришибеевской дисциплины? Она держится не только на приказах. Ведь Пришибееву никто не приказывал. Право презирать и подозревать вызывает собственные рассуждения, решения и действия. Ежову далеко не все приказывают. Даже наш уполномоченный до многого доходит собственными рассуждениями. Но эти рассуждения вполне соответствуют тому, что могли бы ему приказывать... А вы представляете, как этой обстановкой могут пользоваться спекулянты и ловкачи? Они могут не только выдавать себя за самых подлинных пришибеевых, но вытворять и такие чудеса, до которых настоящие пришибеевы никогда и не додумались бы.

Вскоре нам пришлось встретиться с таким спекулянтом. С открытием навигации на Воркуту-вом прилетел начальник всех Ухто-Печорских лагерей Яков Моисеевич Мороз.

(Окончание следует.)



Проверка паспортного режима

РАССКАЗ

Сколько я знаю Стрижкова, он все время пьет чай. Не чай — чаек. Стрижков любит все в ласкательном наклонении. Такие они люди, стрижковы. Ласковые. Прихлебывают, проворно двигая нижней губой. Нижнегубные стрижковы любят еще и сласти — конфеточки, мармеладик, любят намазать печенье джемиком или шоколадной пасточкой с орешками.

По большому счету они заботятся о здоровье, не пьют, не курят, а вот вернуть сладенького эти твари случая не упустят. Тем более на халяву: как ни заглянешь в какую-нибудь редакционную комнату, а там — Стрижков. Сидит, покачивает ножкой в такт жевательным движениям, излагает концепцию «новой прессы». Сия концепция — стрижковский конек. Послушать Стрижкова, так это он ее создал. Его разбуди ночью, крикни ему в ухо «Пожар!», а он тебе — информационные потоки, точки напряжения, искажение и потеря информации, формальные и неформальные сообщения. Уж лучше не будить! Пусть задохнется продуктами горения!

Но еще стрижковы озабочены тем, чтобы все было хорошо. Чтобы работа двигалась успешно, чтобы все улыбались, были довольны и ни в коем случае не расстраивались. Их навязчивое стремление к хорошему, помноженное на упертость в теорию информации, делает из них оградителей от неприятных эмоций. Мир прекрасен, интересен, и каждого в конце ждет не смерть, а льготная путевка. Которую и вручат в теплой, дружественной обстановке. Это какие-то монстры!

Мой же Стрижков, как доподлинно было известно, вырывал из журналов статьи и фотографии, что могли бы расстроить его дражайшую половину. Сначала — чтобы половина не разрешилась раньше времени, потом — чтобы не пропало молоко, потом — чтобы воспитание сына не пошло вкривь и вкось. Цензура не помогла — половина сбежала от Стрижкова, и он начал звереть. Еще бы! Теория грамотно организованных информационных потоков дала сбой! Он стал лютым. Иными словами, проявилось стрижковское нутро. Звериный оскал сквозь добродушные ухмылочки. Как тут не вспомнить карикатуры Бориса Ефимова и текстовки Ник. Энтелиса! Хорошая была, к слову, парочка.

Но зверство его означало все то же — стремление к хорошему, к добру. Теперь он устраивал взбучки с особым сладострастием, разнося сотрудников журнала за недостаточное рвение в поиске позитивных новостей. В поисках хорошего Стрижков вполне мог угрохать полмира. И у него еще была зона для развития.

Вот этого я не учел. Протягивая в номер «косуху», мне следовало помнить: Стрижков не дремлет, «косуху» разрешено тянуть только тем, кто согласен делиться со Стрижковым. Я же делиться не собирался. Я хотел забрать все сам.

Во мне еще плескалось выпитое вчера. Плюс то, что я пил ночью, плюс две пива, заглоченные утром вместо завтрака. А я притащился в редакцию! Почти героизм. В небольшом зале рядом с кабинетом главного шла летучка. Я представил, как они оба, главный и Стрижков, сидят во главе длинного стола, и понял: стоит мне увидеть эту сладкую парочку — и меня всенепременно стошнит.

Я просочился в свою комнату, сел за стол заболевшей референтки, вытащил из сумки ежедневник и попытался представить себе хотя бы приблизительный план действий. Полная тишина. Никаких просветов. Все плясало перед глазами, к затылку временами словно прикладывали горячее полотенце, и тогда заходило сердце. Про ощущения во рту лучше и не говорить.

И вот, когда буквы, пометки и значки в ежедневнике мало-помалу приобрели понятные очертания, в комнату вошел Стрижков. С чашкой дымящегося чая. Весь окутанный запахом лимона. Скрипя кожей новых туфель. Со взглядом острым, как стрелка брючек. Стрижковская траектория была такова, что никаких сомнений не возникало — он шел к моему столу, дабы покопаться в ящиках. У меня нет паранойи. Нет и мании преследования. Но намерение провести шмон было просто-таки написано на стрижковской хारे.

— Плесни чайку,— выдержав паузу, сказал я, и Стрижков чуть было не вывернул на себя содержимое кружки.

Надо отдать ему должное. Он всегда держит себя в руках. Если и выпускает, то быстро ловит. Стрижков погрозил мне пальцем, безропотно отлил из кружки в подставленную мной давно не мытую шербающую чашку, уселся боком на мой стол. И вздохнул. Очень тревожно вздохнул Стрижков.

— Ну? — спросил я, прихлебывая.— Что на этот раз?

— Почему ты не на летучке? — вновь вздохнул Стрижков.

Чай у него был просто класс. Меня вдруг посетила крамольная мысль, что с таким человеком лучше было водить дружбу, что с ним лучше было делиться доходами от «косухи». Что исполнительный редактор влиятельного журнала всегда лучше, чем плативший мне — пусть наличными и сразу — делец. Который и подбил меня на эту «косуху». С другой стороны, оба они были тем еще дерьмом, но, главное, во мне сидел борец с крамолой. Примерно так же прочно, как в Стрижкове борец за добро. Мы могли бы с ним вместе наломать хороших дров!

— Так! — кивнул я.— Следующий вопрос, пожалуйста!

— От тебя пахнет! — Стрижков наморщил нос.

— Вопросы! — сказал я.— Пожалуйста, вопросы!

Но и без вопросов все было ясно. Путем немудреной комбинации я ухитрился продержаться свободное место. Ни ответсек, ни главный, ни Стрижков ничего не заподозрили. Когда же номер надо было подписывать, пустое место продолжало зиять. И вот тогда я втюхал свой материал. Свою «косуху».

— Ты поступил непорядочно! — вздохнул Стрижков.— Мало того, что это не твоя тема, но ты еще и подставил всех нас. Теперь все будут думать, что мы на содержании у...у...у.— На Стрижкова было жалко смотреть!

— Твой тесть все уладит,— перебил я.— Все будут думать: мы на содержании у «У», а мы, в самом деле, на содержании у «У — у»!..

Про стрижковского тестя говорить не стоило. Он сидел настолько высоко, что за ним начиналось безвоздушное пространство. Холод и вакуум чистой власти. Он действительно мог все что угодно. Он и делал все что угодно, если его об этом просили. Иногда тесть вступал в дело без просьб. Видимо, просто решил: «Пора!» — и по собственной инициативе наводил порядок в хозяйстве зятя. Но Стрижкову хотелось казаться самостоятельным.

И Стрижков покраснел, набычился. Его прозрачные глаза замутились. Ему стало тесно в пиджаке, рубашке, галстук начал его душить. Он мотнул головой.

— Знаешь,— сказал Стрижков решительно, так решительно, что мне показалось, эту решительность он репетировал,— ты всем надоел. Что-то из себя корежишь, ставишь себя выше всех, а на самом деле...

— А на самом деле ты говно!

Последние слова произнес главный редактор, тихо, как кот, вошедший в комнату. Он был не по-редакционному прифранчен, весь блестел, сверкал. Его желтые зубы отдавали не в охру, как обычно, а в стронциановую светлую. Он стоял в дверях, а ответсек, словно детеныш большой птицы-правды, птицы-информации, птицы-властительницы дум и чаяний, птицы-квохтушки, выглядывал из-под его локтя.

— Простите? — переспросил я.

Не было нужды переспрашивать. Все мои гневные тирады, все приготовленные заранее реплики типа «Сам такой!» пропали зря. Новые времена, новые нравы. Кодекс законов о труде еще действовал, но всем на него было пле-

вать. Манатки я собрал минут за сорок. И вышел прочь. Без расставаний, слез, печали. Карьера, надежды, несколько лет работы — все коту под хвост!

На улице были весна, слякоть и дождь. Дождь залил очки, потек по усам, застрял в бороде. Слякоть всосала в себя мои стильные башмаки, и там, где была прочна кожа, где строчка была крепка, вдруг обнаружились дефекты, ногам стало сыро. Все всегда наваливается вместе. Ничто никогда не ходит поодиночке. Поодиночке ходит только хорошее, но хорошего на свете нет: нам лишь кажется, что вот оно, долгожданное, а на самом деле кругом только дерьмо.

Мысль показалась мне плодотворной. Настолько, что я подумал: не позволить ли Стрижкову, не поделиться ли с ним? Если не она, я бы, пожалуй, даже двинул домой. Или в тот самый банк, что подбил меня на «косуху»: там оставалось примерно процентов двадцать пять от моих тридцати сребреников, за которые я продал честь журналиста. Но мне и так хватало «капусты». Банк не поскупился: в нем работали киты, для них тысяча баксов была, что для меня пригоршня мелочи.

И тогда я протянул руку, голосуя проезжающей машине, а через пятнадцать минут уже подходил к подъезду Губеровича. Даже успев взять пива и бутылку водки в ларьке у арки: Губерович живет, если кто не знает, в доме с аркой. Это вам не новостройки у черта на куличках, а центр, трах-тибидох! Здесь во двор попадают через арку, в подъезд входят через высокую дверь с кодовым замком, поднимаются по высоким гранитным ступеням. Дом Губеровича строили пленные немцы. Недобитые нордические войны. Теперь здесь живет еврей Губерович. Хоть видимость справедливости есть на белом свете.

Открыв дверь подъезда, я очень удивился, что в нос не ударил запах мочи и невымытых тел, — в полуподвале у Губеровича всегда был самый настоящий бомжатник. Меня, напротив, окружил аромат недавно вымытых ступеней, свежей краски, каких-то новых, мне как человеку советскому незнакомых строительных материалов. Даже больше — в маленькой каморке справа от двери, где в пору моей и Губеровича молодости было удобно быстренько приложиться к бутылке портвейна, где совсем недавно жил старый бродяга Сидор, сидел молодой человек в камуфляже и читал — читал! — толстую книгу. Он ни о чем меня не спросил, он только оценил меня сразу и точно, с одного внимательно-го взгляда, и снова углубился в чтение.

Я поднялся на второй этаж и постучал в дверь — звонок у Губеровича, мне кажется, не работал никогда. Мне открыли, и я шагнул в темную прихожую. Что-то подсказывало мне: «Ты правильно поступил, приехав сюда! Ты не пожалеешь!»

И я не пожалел. Ибо тут же, в темной прихожей, меня обняли голые полные руки, мне в губы впился большой влажный рот, а когда поцелуй с надрывным чмоканием завершился, голос Зойки, давней губеровичевой подруги, возвестил возле самого уха:

— Витя! Пришел твой татарин! С пакетом! В пакете звенит...

Зойка забрала пакет, а из комнаты выдвинулся Губерович. Надо сказать, что был он нечесан, несвеж, на нижней губе висел маленький окурочек, а в правой руке на отлете Губерович держал зажженную сигарету. Он затягивался, ничуть не обращая внимания на окурочек, из чего я сделал вывод: здесь пили давно и круто, все деньги, что Губерович получил за свою последнюю работу, уже спущены, и я для них ангел-спаситель.

— Здорово, — сказал Губерович, пожимая мне руку. — Закурить есть?

— Есть, — сказал я и достал сигареты.

Губерович угостился, переложив зажженную сигарету в левую руку, прикурив.

— Меня опять накололи хохлы, — сообщил он жалобно. — Опять напечатали мой перевод. Мало того, что не спросили разрешения, так еще и не заплатили...

Снимая куртку, я наблюдал за ним и пытался понять, какой сигаретой он будет затягиваться: из левой руки, из правой или, чем черт не шутит, раскурив окурочек. Однако все оказалось проще: мы прошли в комнату, и там на софе обнаружилась укрытая одеялом бледная и востроносая девица, которой Губерович и вставил в тонкогубый рот взятую у меня сигарету. Вошла Зойка и отняла у него другую. Ему ничего не оставалось делать, как раскурить окурочек. Что он и сотворил с необычайным искусством.

— Ну что, татарин, есть небось хочешь? — спросила Зойка. — У Витьки тут шаром покати. Масло вот есть сливочное, но намазать не на что.

Девушка посоветовала, на что можно намазать масло. Губерович ее высмеял и сказал, куда можно всунуть масло. Зойка хмыкнула и предположила, что ни мне, ни Губеровичу это не интересно, так как и он, и я импотенты. Губерович обиделся и сказал, что она дура, дура безмозглая, дура беспамятная, раз не помнит его семикратного подвига прошедшей ночью.

— Семь раз? — Зойка посмотрела на Губеровича с ужасом. — Да от семи раз я бы сдохла. А ты? — обратилась она к девушке.

— Я бы нет, — вяло ответила та. — От семи раз только аппетит разыгрывается...

— Ага! — сказала Зойка и толкнула меня локтем. — А ты, татарин, сможешь столько?

— Зоя, — начал я слишком серьезно, — Зоя! Во-первых, я не могу разговаривать на такие темы в присутствии незнакомых людей. Ты знаешь, я человек деликатный. Во-вторых, я тебе говорил тысячу раз: я не татарин! И, в-третьих, с чего ты взяла, что я импотент?

— А что ты стесняешься? — Зойка завелась. — Вот Губерович еврей — и ничего. Нормальная национальность. Не хуже прочих, а многих и лучше. И татары такие же. Что в татарах плохого? Не татарин! Надо научиться говорить правду! И не стесняться своей крови! И своей импотентности стесняться нечего. Это вполне нормальное явление. Как лысина. Всем нам придется когда-то стать бывшими. Так что, если кто стал бывшим чуть раньше, это не такая уж беда. Не надо стесняться!

Демонстрируя нестесненность, она поднялась, шагнула к софе и сдернула с девушки одеяло. Лучше бы она этого не делала. Девушка была худа, как скелет, но главное — она была от ключиц до пальцев на ногах татуирована разноцветной тушью. Драконы начинали пожирать тигров на крохотных грудях, чтобы хвостами обвить плечи, крыльями прикрыть бедра, превратив тощий живот в арену страшной битвы. Стаи рыб плыли среди водорослей по рукам вниз, чтобы у кистей вынырнуть из воды и схватить широко раскрытыми ртами мелких мотыльков с ее длинных пальцев. Маленькие уродцы убежали по ногам, карабкались на колени, катились дальше, прятались в маленьких домиках на ступнях.

— Опоили разной дурью и упражнялись на мне недели три, — равнодушно, как экскурсовод в заштатном музее, произнесла девушка. — Какой-то китаец из Амстердама приехал учить наших татушников. Я была у них моделью. Псы! Теперь мне домой ходу нет. Отец увидит — убьет. Он у меня крановщик. Матери все по фигу, мать-то спилась, а отца жалко...

Она некрасиво заплакала, отвернулась к стене, показав не менее живописно расписанную спину и плоские ягодички. Сердобольная Зойка опустила одеяло.

— Вот такие делишки творятся нынче! — сказала Зойка и сунула стаканчик девушке на софе.

Мы выпили, откупили пиво.

— Ты не голоден? — задал свой обычный после первой вопрос Губерович.

— Нет, — ответил я. — Ты мне лучше скажи, что у тебя происходит в подъезде?

— Ха! — выдохнул Губерович. — В подъезде у меня теперь новая жизнь. Понимаешь? Центр. У всех просто спирает дыхание, когда называешь адрес. Престиж, блин. Так какой-то банк, Крезипакс...

— Кредит экспорт! — поправила Зойка.

— Точно! Банк Тампакскредит купил весь первый этаж. Под офис. И пару квартир в нашем подъезде для сотрудников. Те, где еще были коммуналки. Они и посадили внизу охранника. Но это все цветочки! Ягодка в том, что они начали на первом этаже ремонт, расхреначили трубы и пролезли ко мне. Мне ни в сортир сходить, ни морду помыть. Я через дыру покрыл их как следует, они пришли, извинились, все починили, за все заплатили, а попутно предложили продать им квартиру.

Губерович пожевал губами и назвал сумму.

— За эти деньги ты можешь купить дом в Испании да на первом этаже магазин, куда посадишь испанца, и тот будет торговать, а ты будешь ходить по кофейням и попить кофеек, — сказал я.

— Ты понимаешь, — Губерович, притянув меня к себе, дохнул тяжелым духом, — я люблю свою страну. Я люблю переводить Керуака да Берроуза. Ни первое, ни второе в Испании никому не нужно, мне нельзя много кофе...

— У нас слабенкое сердечко,— заворковала окосевшая Зойка,— мы вообще старенькие...— Она набрала в рот пива и вдруг выпустила его струей прямо на Губеровича.— Семь раз! Ты слышал, татарин?

— ...и сам я там никому не нужен! — утираясь, продолжил Губерович.— Хреново то, что от банкиров приходили не раз. И не два. Даже угрожали: мол, не согласишься, почкают. Я им сказал, что квартира завещана дочери. Пусть попробуют получить! — Взгляд его затуманился, и Губерович явно задумался о вечном.

По второй налил я, по третьей — тоже. Пить водку под курятину и пиво у Губеровича дело непростое. То, что хмелеешь, то, что хочется где-то приклонить голову, а места нет,— дело десятое. У него всегда что-то происходит. Причем даже если от закуски ломится стол, пьется не сучок, а «Балантайн» и на софе полеживает не татуированная пэтэушница, а заглянувшая к последнему битнику калифорнийская профессорша. Всегда что-то происходит. И, надо признаться, мне очень хотелось, чтобы что-то произошло и на этот раз.

Мы выжрали бутылку, выпили все пиво, я сходил, взял то же самое, плюс чипсов и орешков. Зойка обозвала меня пижоном, оценила орешки как баловство. Губерович снисходительно ухмыльнулся.

— А вот скажи мне, дорогой друг,— начал он, глубоко затягиваясь и одновременно высасывая полбутылки пива,— скажи, что это ты шикаешь? Тебе повысили зарплату? Ты получил гонорар?

Что было ему ответить? Если тем более врать не хотелось? Да, я торговал собой, как мог, брал, сколько давали. Мое продажное и умелое перо приносило стабильный доход. Я и у себя в редакции продавался, как последняя шлюха, но там меня еще дурили разговорами об ответственности журналиста, о том, что все мы якобы должны писать только правду, правду и ничего, кроме правды. Одним словом, мне там нагло гадили в мозги в то время, как в тех местах, где мое перо было в цене, никто не собирался заниматься их промывкой. Там платили по результату. Ведь все очень просто: один раз попробуешь, получится, привыкнешь, а там и пошло-поехало. Главное — солидная рекомендация: этот — сможет. Остальное значения не имело.

Говорить обо всем этом Губеровичу не имело смысла. Губерович не любил журналюг и к моей работе относился резко отрицательно. Ему легко было переводить всякую заумь и при этом оставаться чистеньким, питаться кашкой и плесневелыми сухарями. Он уродился таким, а я другим. Мне же надо было вертеться, мне это доставляло удовольствие.

— Я написал заказной материал,— сказал я.— Пропихнул обманом, дело вскрылось, меня выгнали, и теперь мои бывшие коллеги везде будут трубить, что я продажный, что я сука, что я...

— В «Русский порядок»-то возьмут? — хохотнул Губерович.

— Туда — обязательно!

— А для кого ты писал? Если не секрет, конечно.

— Для твоего Тампакса. Меня купили те, кто хотел тебя выселить.

— Тесен мир...— обреченно вздохнул после небольшой паузы Губерович.

Тут оказалось, что недавно принесенное уже выпито, и темнота в комнате сгустилась, места стало как бы меньше, воздуха стало не хватать. Меня начало клонить в сон, мне и с открытыми глазами начало что-то снится, что-то начало происходить перед моим взором, удивительно динамичное, увлекательное. Я понимал, что пора уходить, что оставаться у Губеровича нельзя — иначе придется остаться надолго, пока не устанет сам Губерович, а он уставал очень медленно, после трех-четырёх дней загула, усталость свою проявляя в том, что вдруг садился, как был, всклокоченный за письменный стол и начинал судорожно переводить что-то из Гинзберга,— но я не мог пошевелиться, а сидел на стуле возле стола, курил, курил, курил.

На софе, словно страдая чесоткой, беспрестанно шевелилась татуированная. Зойка, выудив откуда-то веник, ходила по квартире, сметала пыль в большой эмалированный совок. Губерович, запрокинув голову, спал в кресле.

Я вновь — в который раз — задумался о своей судьбе. Правильно ли я поступил, продавшись банкирам, не лучше ли было тянуть лямку, пописывать статейки, заметочки, текстовочки? Правильно ли я сделал, поставив на сиюминутное в ущерб длительному? Не следовало ли продолжать служить, тья-тья, на задних лапках, вместо того чтобы показывать свою крутизну и мнимую независимость?

И все больше и больше положение мое казалось совершенно аховым, так, как, что впору было лезть в петлю. В петлю! Эта мысль заставила меня клацнуть зубами. Я впервые в жизни всерьез подумал о самоубийстве, хотя «подумал» — неточное слово: нечто проползло под кожей, процарапало мелкими коготками лопатки, обдало горячим дыханием шею, вцепилось в затылок. Как пушистый зверек, тяга к самоубийству перекадилась на грудь, сорвалась, упала вниз, на колени, там распрямилась, превратилась в туманное облачко, в котором играла блекло-голубая молния. Я слышал треск, ощущал запах озона. Молния набирала силу, она становилась толще, извивалась все причудливее и причудливее, грозила взорвать все вокруг, все вокруг испепелить. Мне не нужны были пригоршня таблеток, бритва, веревка, газовая конфорка, распахнутое окно на седьмом этаже или охотничье ружье, на курок которого я мог бы поставить большой палец ноги, еще влажный от сырой обуви, с прилипшей к ногтю ниткой от носка. Мне было достаточно укрепиться в решимости уйти, достаточно было неотрывно на облачко смотреть, и тогда после хлопка, после взрыва все мои несчастья были бы прекращены. Вместе со мной. Я набрал побольше воздуха, я приготовился. В облачке нарастал ритмичный треск, густеющий, набирающий мощи. Вот он перешел в гул, в глухие удары. Но вместо несущего избавление взрыва из облачка вылетел легкий дымок, обдавший прелым ароматом кожи и сукна, вместо грохота и грома вокруг застучали каблукки каких-то чужих, неприятных людей, а Зойкин истошный голос запричитал:

— Ордер! Ты мне ордер покажи!

Ох, не люблю я таких причитаний, и слово «ордер» мне никогда не нравилось!

Так и есть — в квартире Губеровича ворвалось целое подразделение милицейских бойцов. Трое самых крутых были в черных масках, со всех сторон обвешаны амуницией, в бронежилетах, с автоматами. Автоматы, словно их стволы были самым радикальным средством от прилипчивого весеннего насморка, они норовили обязательно сунуть под нос: сначала мне и Зойке, потом и Губеровичу, который, позевывая, попытался встать с кресла. С крутыми были еще двое: лейтенант и сержант в форме, с «макаровым» в веснушчатом кулаке, да штатский с ментовско-комсомольской искоркой в желтоватых циррозных глазах. Вся эта гоп-компания, за исключением штатского, в сущности, повторяла на все лады одно лишь слово.

— Б...! Стоять, б...! Сидеть, б...! Спокойно, б...! Руки, б...! Что, б...? Понял, б...?! Не понял, б...?! Сейчас поймешь, б...! Б...!

За каких-то полминуты они так нас измучили, что мы были готовы выполнить все их требования, тем более что и мне, и Губеровичу по паре раз хорошо досталось. Ребра наши уже потрескивали, шеи ныли. Требования были предельно просты: лечь на пол вниз лицом, руки на голову и молчать. Мы подчинились.

Зойке они милостиво разрешили сесть на табуретку, два автоматчика встали над нами, все прочие начали шерстить квартиру. Делали они это с шумом и задором, круша все напропалую. Губерович попробовал возмутиться, но стоявший над ним тут же хряпнул по почкам.

Это был какой-то ад! Татуированную они не нашли, видимо, приняв то, что находилось на софе, за обыкновенную кучу тряпья. Так же долго они отказывались объяснить цель своего вторжения. В конце концов Губерович заорал так, что задрожал пол, снова бить его по почкам они не решились, и тип в штатском — туфли у него были, что говорится, «for cars and carpets», — стоя над нами, глумливо объявил:

— Проверка паспортного режима!

Я скосил взгляд на Губеровича. Его горбоносый профиль был вдавлен в грязный пол. Им был нужен Губерович! Губерович, пьяница и бабник, бедняк, владеющий двухкомнатной квартирой в самом центре. Им было надо упечь его, упечь как можно скорей, по какому угодно поводу, запихнуть за решетку, хоть на день, чтобы там, в обстановке спокойной, пришить ему что-нибудь, вплоть до изнасилования всячего замка.

— Ваш паспорт! — ткнул меня носком туфли штатский. — И ваш! — Он ткнул Губеровича.

— У меня нет с собой паспорта, — ответил я.

— Зойка! — крикнул Губерович. — Дай им паспорт! Он в спальне, в секрете!

— Москва — режимный город, — наклонился ко мне камуфляжный. — Надо всегда носить с собой паспорт, особенно таким, как ты.

— У меня есть удостоверение журналиста, — сказал я. — Оно в кармане куртки. Куртка висит в прихожей.

Видимо, штатский мигнул камуфляжному, и тот поставил меня на ноги. Грубовато, дернув за воротник, но без ударов по почкам, без пинков. Сержант принес из прихожей настоящую рокерскую куртку со множеством молний, кармашков, заклепок.

— Ваша? — спросил сержант.

— Нет, — ответил я.

Сержант шагнул в коридор и вернулся с моим тайландским куртецом.

— Мое! — признался я.

— В секретере паспорта нет, — сказала с порога встревоженная Зойка.

— Тогда в шкафу, в кармане пиджака... — Губерович явно завидовал мне, стоявшему на ногах.

Штатский, брезгливо выпрямив пальцы, залез во внутренний карман и вытащил мое удостоверение.

— Кац... Кацман Владимир Яковлевич, — прочитал штатский и внимательно посмотрел на меня, сверяя лицо с фотографией. — Корреспондент. Так-так... А как позвонить в ваше... в ваше издание, Владимир Яковлевич?

Я назвал первый попавшийся телефон. Секретариата. Штатский вытащил из кармана мобильное совершенство фирмы Эрикссон. Было занято.

— В шкафу паспорта нет! — выкрикнула Зойка.

— Командир! — обратился Губерович к стоявшему над ним камуфляжному. — Дай-ка я встану, в своей-то квартире!

Штатский, надавив на кнопку повторного набора, цокнул языком.

— Лежи, лежи! — Камуфляжный навел автомат на Губеровича.

— В письменном столе, в верхнем ящике, справа! — сказал Губерович Зойке.

В секретариате было плотно занято.

— И о чем пишете? — поинтересовался штатский.

— Обо всем, — ответил я.

— А мы нелюбезные! Да? Нелюбезные? — Штатский вновь нажал кнопку. — А журналисты и органы должны работать вместе, как вы думаете, Кацман? Или я не прав?

— В столе нет! — заорала Зойка.

— Тогда в пальто! — Губерович закашлялся. — Я ходил на почту за переводом!

— Или я не прав? — Штатский поморщился от их крика.

— Прав ты, прав! — сказал я.

— Ага! Грубит... Так! — В секретариате ответили. — Э! Скажите, у вас работает некий Кацман? Что? Я спрашиваю: у вас работает Кацман? Кто говорит? Кто-кто! Дед Пихто! Старший оперуполномоченный Бунько. Да! Задержан, задержан... А, уже не работает! С кем я разговаривал? Стрижков, исполнительный редактор... Ага, спасибо! Что? Порвать его удостоверение? С удовольствием!

— Нет в пальто! — Зойка встала на пороге в столь трагической позе, что стало даже смешно.

Бунько, разрывая мое удостоверение и отдавая мне половинки, мигнул камуфляжному. Тот отстегнул от пояса наручники и нацепил их Губеровичу.

— Ну, Кацман, тебя уволили, но ты пока погуляй, а твой приятель поедет с нами!

— Я здесь прописан! — закричал Губерович низким басом. — Я здесь живу!

— Он здесь прописан! — закричали мы с Зойкой. — Он здесь живет!

— Вот мы все и проверим. Во всем разберемся. — Бунько сделал руками такой жест, будто поднимал оркестр. — Все мы где-то прописаны.

Губеровича подставили на ноги. Губерович был готов перегрызть всем глотки. Ему в таком состоянии оказаться в милиции — значит точно изнасиловать висячий замок. Зойка заплакала. Уж она-то Губеровича знала.

— Ну, пойдете, пойдете. — Бунько повторил свой жест.

— Зойка! В морозилке банка пива. Дай мне ее с собой! — сказал Губерович. — Можно я возьму с собой пива?

— Можно? — спросили мы с Зойкой в один голос.

— Да, пусть возьмет,— разрешил Бунько. Это был его звездный час. Разрешить взять с собой пивка! Каждый бунько мечтает о такой форме гуманизма. Конечной и предельной. Ну, еще дать сигаретку. Покури, браток, пока тебя не отвезли.

Зойка вышла на кухню.

— Ищи работу, Кацман! — сказал мне Бунько. Камуфляжные с видом исполненного долга забросили автоматы за плечи, лейтенант отгрызал заусенец, сержант стоял столбом.— Работать надо, Кацман! Понял?

— Он в морозилке! — донесся с кухни истошный Зойкин крик.— Он тут вмерз! — Она вбежала в комнату.— Паспорт! Витя! Твой паспорт в морозилке! Во льду!

— А пиво? — спросил Губерович, глядя в пол.

— А пива там нет! — Зойка умчалась, и стало слышно, как она выламывает паспорт изо льда. Потом она появилась в комнате, держа развернутый паспорт кончиками пальцев.— Вот он!

— Я буду работать,— сказал я.— Я буду много работать! Очень много! Обработаюсь. И только для того, чтобы...

— Ну, договаривай!

На Бунько было жалко смотреть: такой облом! Он полистал паспорт Губеровича. Руки его слегка подрагивали. Или от холода, или от желания вмазать мне, Губеровичу, Зойке. И я решил не договаривать.

— Оштрафовать бы вас, Виктор Ильич! — сказал Бунько.— Это документ, это лицо страны, это...— Он посмотрел на сержанта и камуфляжных, кивком указал им на дверь.— Ну ладно! Приятно оставаться!

Бунько протянул паспорт Губеровичу, но за какое-то мгновение до того, как Губерович взял его, разжал пальцы. Паспорт, словно кусок рыбного филе, шлепнулся на пол. Бунько покинул квартиру последним. Как капитан тонущего корабля.

Хлопнула дверь, и Зойка метнулась на кухню.

— И что? Там-таки нет пива? — крикнул Губерович.

— Есть, конечно, есть! Только я решила о пиве не говорить, раз нашелся паспорт.— Зойка появилась с открытой банкой.— Ты будешь, татарин?

— Зоя! — сказал я.— Я не татарин!

— А что стесняться? — Зойка попыталась всосать пива, но не смогла и передала банку Губеровичу.— Вот Витя еврей и не стесняется!

— Да, старик, ты не стесняйся,— сказал Губерович, повторяя неудачную Зойкину попытку: даже Губерович не мог пить ставшее льдом пиво.

— А мне пива не дадут? — раздался с софы голос татуированной.— И вообще, народ, что это было? Они что, с чего-то сорвались?

— Это была проверка паспортного режима, дочка...— начал Губерович, передавая банку татуированной. И татуированная хлебнула! Да, подрастает крепкая молодежь! Им уже не страшны никакие преграды.

— Татарин,— Зойка тронула меня за рукав,— у тебя ведь еще деньги остались? Пока Тампаксбанк не крюкнулся...

Вы не поверите, но в этот момент меня посетила безумно пошлая мысль. «Зачем?! Зачем я живу?! — подумал я.— Чтобы пить с Губеровичем водку, объяснять Зойке, что я не татарин, рассматривать татуировки на малолетних кислотницах? Для того чтобы писать заказные материалы, продавать их по возможности дороже, а потом... Да, а потом — пить, объяснять и рассматривать!..» Мне стало так плохо, так тесно и тошно, что, если бы в руках у меня оказался пистолет, я бы тут же вышиб себе мозги, продырявил бы сердце. Я бы выпил яд, перерезал бы вены! Мне хотелось крикнуть: «Оставьте меня! Не трогайте!» — но я посмотрел на Губеровича, на Зойку, на татуированную. Я был им нужен. И тот, кто бы сказал, что нужен лишь как спонсор, был бы бездушным подонком. Каждый из них понимал мое состояние, пусть по-своему, но понимал. Лучше всех, конечно, Губерович. У него к нижней губе был вновь приклеен окурок, в щетине запутались пыльные лохмы. Он смотрел на меня с легкой усмешкой. Мол, и куда тебе не деться, дружок! И не пытайся! Не ты первый, не ты последний! Он был прав.

— Остались,— сказал я Зойке.— До того, как я найду работу, я потрачу все!

После нас потоп

РОМАН

XII. Любовь хана

Между тем как перелагатель национальных литератур в самом бедственном состоянии, опираясь на плечи неизвестных черноусых людей, переставляя ноги и бормоча рифмованные строчки, был введен в свою квартиру, сдан с рук на руки заспанной жене, раздет, уложен и на другой день самоотверженно сидел за рабочим столом и мрачно взирал на монгольского витязя, а витязь на него; между тем как Илья Рубин бил костяшками о дощатый стол, не задумываясь о том, как это может быть, чтобы автор резался в домино с призраками собственного мозга; между тем как часовых дел мастер Августин Иванович вперялся в светящееся время, которое медленно наполняло реторту, время, безжалостное и равнодушное ко всем, время-расплата, время-возмездие, равно карающее безвинных и виноватых, время, которого осталось так мало, которое, в сущности, было уже израсходовано; между тем как Москва окраин, ни о чем не подозревая, гонимая голодом, скукой и вожделением, предвкушая ужин и телевизор, втискивалась в подземные вагоны, осаждала автобусы, валила домой, и навстречу ей расступались кварталы, и вдали вечный город весь потел, и дымился, и метал молнии из бесчисленных окон, и мерцал малиновыми пятиконечными звездами в дымно-розовом и зеленом небе,— между тем как все это происходило, суетилось и мельтешило, доживало свой век и утешалось несбыточными надеждами, на пересечении двух самых больших проспектов у въезда в столицу, в восьмом часу вечера по западному времяисчислению и на восходе сто тринадцатой луны восточного календаря, неохотно, подозрительно приоткрылась массивная стеклянная дверь высотной гостиницы и смазливый подросток вступил в мраморный холл.

Наперерез ему уже спешил швейцар в серо-серебряной униформе, похожий на распорядителя в цирке.

«Не положено,— внятно сказал привратник.— Ну-ка назад!»

Посетитель, одетый в черный бархатный костюмчик, черные чулки и модные мокасины на каблуках, ничего не слышал, никого не замечал и, не торопясь, но и не теряя времени, несколько развинченной походочкой, пожалуй, все же выдававшей его смущение, направлялся к лифту, минуя регистратуру, откуда с египетским спокойствием за ним наблюдала пожилая золотокудрая барышня, увешанная фальшивыми украшениями, лет на тридцать моложе своих ровесниц.

Холл был обставлен кожаными креслами и диванами вокруг стеклянных столиков, устлан ковром, полусвещен, таинствен, безлюден, лишь за прилавком киоска с газетами братских компартий маячила фигура продавца.

«Гражданин!»— повторил швейцар, он был новый человек и твердо знал свои обязанности.

Хорошенький подросток бросил через плечо:

«Отвяжись!»

«Чего? Ну-ка!»

Тут произошло нечто непредвиденное, почти неслыханное: посетитель остановился, стяхнул схватившую его руку и, стрельнув по сторонам сузившимися татарскими глазами, прошипел:

«Если ты сейчас от меня не отлипнешь...»

Швейцар обратил остолбенелый взгляд к барышне-бабусе за стойкой. Регистраторша величественно кивнула. Швейцар развел руками: дескать, откуда мне было знать? Так бы и сказали. Выскочил мальчик в картонной шапчонке и форменных брюках, почтительно распахнул дверь лифта. Черный юноша поехал наверх среди ламп и зеркал.

Время от времени женское очарование с непостижимой отвагой отбрасывает свои уловки, совершает головокружительный вираж, жертвует всем достигнутым; можно сказать, что в этот момент оно отказывается от себя, чтобы с триумфом вернуться к себе окольным путем. Каждые двадцать или тридцать лет мода изобретает этот фокус, и, нужно признать, каждый раз он производит ошеломительный эффект. Вместо того чтобы привлечь внимание к главному, вам хотят внушить, что его нет. Вместо того чтобы всемерно подчеркивать пол, мода его отвергает. Тем неожиданней открытие, что «она» — все та же, ибо смысл этого qui pro quo состоит в том, что чем усердней «она» маскируется под «него», тем больше она остается самой собой. Мужчина, переодетый женщиной, смешон, девушка в мужском наряде прелестна вдвойне. В то время как женское платье приближает ее к зрелости, мужское — возвращает к возрасту андрогина, и тут выясняется, что главное — не пол, а возраст, не женственность, а юность, не настоящее, а будущее. Преодолеть тривиальность женственности — вот в чем суть; обрядить женщину в плащ эфеба — значит поистине вернуть ей вечную юность; девственность в мужском облачении возвещает о мифологической весне мира, когда не было ни мужчин, ни женщин. Юный андрогин навестил нашу юдоль, вошел в стеклянную дверь, вознесся на пятнадцатый этаж, откуда, откуда, говорят, можно разглядеть будущее; выбрался из коробки лифта и очутился в мертвом, сияющем огнями коридоре. Мельком взглянув на четырехзначный шифр, Шурочка постучалась в номер.

Одиночество придает мужчине ни с чем не сравнимую привлекательность. Председатель степного и предгорного края сидел, погруженный в глубокую думу, в полусоsvещенном чертоге, за накрытым столом. Из-за полураздвинутых занавесей не видно было ничего, кроме необъятных меркнувших небес. На нем были синий, стоящий колом коверкотовый костюм со звездочкой Героя и значком депутата, галстук жизнеутверждающей расцветки, зеркальные штиблеты. Хан предстал в облачении государственного мужа, или, как тогда выражались, ответственного работника; хан выглядел устрашающе-импозантно, это был Марс, забывший снять свои доспехи. Быть может, не без умысла.

Между тем как...

Между тем...

Выпив полфужера и едва притронувшись к блюдам, сунув в рот шоколадную конфету, устроившись с ногами на кушетке, — хоть и не впервые здесь, но мы все еще не вполне уверены в себе, не нащупали линию поведения, хотя какая там линия поведения, глупое слово, речь совсем не о том, речь идет о судьбе, — полулежа, она слушает и не слушает, отвечает и не отвечает; гаснет небо за окном, на столе горят свечи, в номере происходит диалог, в котором больше пауз, чем слов.

«Слушай сюда...»

Молчание. Она разглядывает ножичек для разрезания фруктов.

«Подойди ко мне. Подойти сейчас же ко мне».

«Можно и так разговаривать...»

«Не хочешь — не надо. Тогда пойдй туда и встань на стул. Встань на стул».

«Зачем?»

«Не надо спрашивать, становись, я тебя подержу. И постучи. Рукой постучи».

Странное зрелище, если бы кто-нибудь вошел: в углу просторной комнаты Шура в шелковых чулках, в черных коротких штанишках на цыпочках тянется к потолку, хан сжимает ее бедра; так держат вазу.

«Постучи по стенке... Слышишь звук? Как будто в пустом бочонке. Еще раз... Это они подслушивают. Это у них аппаратура. Они всех подслушивают! Они и сейчас подслушивают, вот то, что я тебе сейчас говорю, они там сидят и слушают, но мне наплевать. Я все знаю, меня не обманешь».

Хан обнимает Шурочку, его ладони скользят по бархату, проникают под курточку, поднимаются мимо груди к подмышкам, все это продолжается несколько мгновений, она хочет прыгнуть, хан держит ее под мышками и ставит на пол, она одергивает костюмчик, развязывает на шее батистовый бант, уф-ф. Ей жарко.

Потомок мурз, отпрыск князей Услава и Святослава расхаживает по комнате, заложив руки за спину, могучий торс хана выпирает из расстегнутого пиджака, и на лацкане сияет Звезда Героя Социалистического Труда.

«Мне пора уезжать, я получил известие... Что я этим хочу сказать, тебе понятно?»

«За тобой следят?»

«А! — Хан презрительно отмахнулся. — Тьфу! Пускай следят, пускай слушают, пускай пишут свои доклады. Сегодня я здесь, завтра меня нет... Сегодня они там пишут, а завтра от них и пыли не останется! Мне на них наплевать, и тебе тоже должно быть на них наплевать. Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать, не притворяйся, что ты не понимаешь».

Молчание вместо ответа. Ей жарко, черная курточка лежит на кушетке. На Шуре светлая кофточка с развязанным бантом, с просвечивающим лифчиком. Хан степей жует, барабанит пальцами по столу.

«Почему ты мне не скажешь? У тебя была кровь или не была?»

Она молчит.

«Ты не бойся мне сказать. Если крови не было, я этому даже рад...»

На ее лице появляется что-то вроде усмешки.

«Да, я буду рад. Потому что если да, то тем более. Да, я хочу, чтобы у меня был сын... Но не здесь. Там! — И он показал пальцем в окно, в огромную даль неба. — Так вот. Спрашиваю в последний раз».

«Не знаю...»

«Чего ты не знаешь?»

«Боюсь».

«Чего ты боишься? Кого? Скажи!»

«Я там буду совсем одна».

«Зачем одна? Подруги будут. Моя мать будет тебе как мать. Моя семья будет твоя семья».

«У тебя там, — сказала Шурочка, — небось и без меня жен хватает».

«Какие жены? — вскричал хан. — Какие жены, нет у меня никаких жен! Посмотри на меня, разве я мальчишка! Ты будешь моя жена, единственная».

«Так я тебе и поверила...»

«Ты моему слову не веришь? Ты — мне — не веришь? Слушай. Я даром слов на ветер не бросаю. Ты это запомни».

«Мне надо сделать еще кое-какие дела, — сказал он после продолжительной паузы. — Два дня, три дня. После едем в аэропорт».

Шура, в курточке, накинутой на плечи, забросила ногу на ногу, смотрела в пространство.

«Ты прекрасна в этом костюме, — заметил хан. — Но у нас серьезный разговор. Ты видишь, я не играю в любовь. Иди туда, — сказал он, — в ту комнату. Там для тебя домашнее платье приготовлено. Сними свои штаны... Будет удобней».

Когда она вошла, пиджак и галстук хана висели на спинке кресла, он был в фисташковой импортной рубашке с запонками и в шелковых подтяжках.

Когда она вошла...

Нет, подростка больше не было. Андрогин обернулся женщиной, но, право же, ничего не потерял!

Хан оглядел ее медленным темным взором.

«Еще два или три дня, есть кое-какие дела... Мелочи... Больше тут делать нечего. И тебе тут нечего делать. Ты мне можешь поверить, я знаю, что говорю... Еще три дня. Потом с тобою — фьюить!»

И он взмахнул рукой, словно вознес невидимую саблю.

Шура пробормотала: «Я работаю...»

«Не твоя забота. Все будет оформлено, сделано, и квартиру твою сдадут, тебе пальцем не надо пошевеливать. Московскую прописку сохранишь. Если хочешь взять что с собой, скажи».

Слабая музыка, доносившаяся откуда-то издалека, словно в другом крыле здания играл национальный ансамбль, коснулась ее слуха.

«Слушай,— промолвил хан.— Я ни о чем не спрашиваю. Может быть, у тебя есть жених. Может быть, есть любовник, я не спрашиваю. И я даже не хочу спросить, любишь ли ты меня. Я только одно скажу, и ты мне можешь верить, я слов на ветер не бросаю. Клянусь тебе всем дорогим, жизнью моей матери клянусь, памятью предков... Я ни одной женщине не говорил того, что я тебе скажу».

Пение дудочек, жужжание струн и глухие удары барабана слышались все сильнее, карие глаза хана расширились.

«Что это?» — спросила она.

«Это радио. Слушай... Когда я тебя увидел... Я не мальчишка. Я повидал женщин. Ха! — Он взмахнул рукой.— Женщин сколько угодно, только помани! Но когда я тебя увидел, я сразу понял. То, чего никогда не понимал. Ты не веришь. Но это бывает! Я увидел тебя всю сразу... И твои глаза, и твою походку, и твою душу, и твое тело. Я увидел твою шею, твои груди, теплые, полные... белые, как молоко... Я увидел, как во сне, как в саду, я все увидел. Как ты идешь, и как ты опускаешь голову, и как ты садишься, и как твои брови сходятся на лбу, и как ты смотришь из-под бровей, сквозь ресницы, и как ты поднимаешь руки, чтобы поправить волосы, и как дышит при этом твоя грудь. Слушай... этого не может быть. Но это бывает! Я тебе все отдам, слушай. Все, что у меня есть, все! Ты молодая, ты еще настоящей жизни не видела... Я устрою твою жизнь. У тебя будут самые лучшие платья. У тебя будет все самое лучшее. Хочешь выйти замуж за меня, пожалста. Хочешь просто так жить, а? Пожалста! Работать хочешь, быть самостоятельным человеком, найдем тебе работу. Как меня все уважают, так тебя все будут уважать. Тебе ни в чем не будет отказа. Хочешь, сиди дома. Хочешь, едем на курорт. На самый лучший курорт, у меня всюду есть друзья. Они для меня все сделают, да еще с какой охотой. Я все устрою! В путешествие поедем, в горы поедем, хочешь, в Крым, хочешь, на Кавказ, на Северный полюс, куда хочешь! Я не мальчишка. Я слов на ветер не бросаю. Я...»

Хан раскинул руки, не находя слов, глаза его стали почти черными, он отвернулся и подошел к окну.

Шура сидела на кушетке, опустив голову.

Хан тяжело вздохнул, щелкнул пальцами, и из воздуха явилась, и даже не явилась, а как будто так и стояла в сторонке на круглом столике, короткогорлая глиняная бутылка.

«Вот, бальзам из джейрана,— пробормотал он,— помогает для здоровья. Выпей, лучше себя чувствовать будешь...» Он наполнил две рюмки, протянул Шурочке и опрокинул в рот свою.

И прошло еще сколько-то времени. И угасли остатки зари, и как будто пронеслось какое-то дуновение. Дрогнули и увяли лепестки свечей на столе, в блистающих сумерках московского дня комната превратилась в шатер. И какие-то полуголые люди в просторных пестрых шароварах внесли с поклонами чеканные узкошейные сосуды, и в светильниках взвился огонь, и зурначи поднесли к губам свои инструменты. Посреди ковра сидел на подушках, положив

руки на раздвинутые колени, в похожей на полотенце чалме с серебряною луной волоокий, ясноликий половецкий хан. «Слушай»,— сказал он. И умолк, и оба, падишах и рабыня, мужчина и женщина, смотрели друг другу в зрачки и видели там друг друга.

Приходится согласиться, что опаснейший враг любви — не другая любовь, а свобода. Вечный вопрос: что я такое сделала, чем не угодила?— предполагает, что кто-то из двух должен быть виноват; но на самом деле никто не виноват. Предполагается, что тут замешана чья-то юбка; ничего подобного. Тут не измена, не новая женщина, не месть, не обида и не уязвленное самолюбие. Тут познание своей независимости и свободы. Назовите его иначе: чувство пустоты.

Ну и прекрасно, думал Илья Рубин, и дай тебе Бог. В этой мысли не было ни малейшей горечи. Ни тени ревности. Облегчение? Пожалуй, и облегчения не было. Ничего не было. Собственно говоря, давно уже ничего не было, так что в пору было задать вопрос: а было ли вообще?

Он спросил: знает ли Педерастович?

Ответом была молния ее глаз, голос, полный злости и ненависти:

«Какой Педерастович?»

«Ну... этот».

После чего воцарилось молчание, похожее на молчание зеркальных вод: швырнуть камень? броситься в плавь?

Разумеется, было бестактностью упомянуть об Олеге Эрастовиче, о котором вообще забыли — или почти забыли. Просто нахальством, наглостью было упомянуть его имя,— кто привел ее к этому карлику с потным мясистым носом, кто ее продал этому специалисту по пупкам и ягодицам? А главное, это значило обесценить все объяснение. Это значило: ты поступила в «заведение» Олега Эрастовича, он обещал тебе красивую жизнь, так и вышло, ты добилась, чего хотела, подцепила богатого фраера, он надарил тебе всякого барахла, даже хочет жениться. За чем же дело стало?..

Примечательно, что и сам Эрастович как-то мало-помалу стусевался. Отчитывалась ли она перед ним? Можно предположить, что, познакомившись с ханом, она не принимала больше никаких заказов, не отвечала на телефонные звонки, вообще прекратила знакомство с Олегом Эрастовичем. Быть может, Олег Эрастович, поняв, куда дело зашло, отступился. Получил от степного хана отступные или что-нибудь в этом роде. Так или иначе, это был ее единственный «заказ», первый и последний. Нам хотелось бы, чтобы это было так. И если это действительно так, ее возмущение было оправданно.

Но было бы ошибкой думать, будто Рубин упомянул об Эрастовиче, чтобы ее уколоть. Такая подлость, как ни странно, могла бы утешить Шурочку. Увы, ничего подобного в мыслях у него не было. Просто брякнул без всякой задней мысли. Потому что ему было все равно. Шура стояла перед зеркалом в крошечной своей квартирке, и, как когда-то в комнате для больничного персонала, он видел ее волосы, плечи и облежавшее спину платье, под которым угадывались пуговицы бюстгальтера, видел ее ноги, видел в зеркале ее глаза, с острым блеском, со злой обидой смотревшие в его глаза. Он взглянул на ее стан и подумал, что всегда остается способ уладить любое недоразумение, это тело могло бы принадлежать ему в любое время дня и ночи, хоть сейчас,— и эта мысль не пробудила в нем ни малейшего энтузиазма.

«Хочешь,— сказала она,— я буду к тебе приезжать?»

Трюмо было ее убежищем, она одергивала платье, ее короткие ножки в чулках с модными стрелками поворачивались на каблуках — вправо, влево, она словно собиралась в гости, задумалась, подошла к балкону. Она повернулась лицом к нему, спиной к балконному окну, белый пасмурный свет окружил ее волосы тусклым нимбом, и лицо было погружено в тень.

«А может, вовсе не ехать?»

Рубин смотрел на нее, в голове у него ни с того ни с сего, без всякой связи вертелись строчки: «Не пойдем, услышим звуки отдаленных бурь. Молча свяжем вместе руки, отлетим в лазурь».

«Думаешь, я так уж гонюсь за богатством?»

Он усмехнулся, ему хотелось возразить: а что я могу тебе дать взамен?

Но что-то опять потянуло его за язык. Он сказал:

«А Педерастович?»

«Что Педерастович?»

«Он тебя просто так не отпустит».

Она не удостоила его возражением. За окном накрапывал дождик.

«Ладно, — сказала она, — чего тут думать, надо решать. Скажешь, поезжай — я поеду, оставайся — останусь. — Она засмеялась. — Вот сейчас позвоню и скажу: нет, и до свидания! Хочешь, позвоню?»

«Решай сама...»

Молча свяжем вместе руки... Эх!

«Дура набитая, — бормотала она. — Таких дур поискать».

Пожатие плеч, он смотрит впереди себя в пол, в коврик, привезенный еще из Тулы, вперяется в пустоту, где сгущалось его упрямство, где клубились его независимость, его нежелание связывать себя чем бы то ни было, наконец, его «дело».

И все же он не смеет вслух сказать «не звони», или «дай тебе Бог», или «скатертью дорога», нет, он этого не произнес. И Шура ждала, что он опомнится, поднимет голову, скажет: плюнь ты на этого чучмека, ведь нам было так хорошо вдвоем! Она ждала этого, чтобы потом говорить себе: у меня было все, но я на все махнула рукой; у меня был фантастический поклонник, но я отвергла его. Да, она готова была от него отказаться, чтобы потом всю жизнь тешилась и наслаждалась сознанием своей жертвы.

Поразительно, как ей до сих пор не везло. Ее замужество, какой это был ужас. Родился сын, и показалось, что все наладится; со смертью малыша и этот эпизод был вычеркнут из ее жизни. Преподаватель училища... Да, вот, пожалуй, был единственный человек, кто любил ее почти так, как ей хотелось, чтобы ее любили: нежно, преданно, бескорыстно; но уж слишком бескорыстно. А главное, был до того робок, до того нерешителен, что, когда наконец в один из его приездов, уже начинавших ей надоедать, они оказались вдвоем, ничего толком не получилось. Пренебречь такими любовниками не было бы заслугой.

Зато Юсуф! Он обещал ей то, чего никто никогда не мог обещать. Он жил в мире, где все делалось даже не по его приказу, а как будто само собой, где все доставалось даром, где не надо было рано вставать, спешить, давиться в очередях, где не было этой вечной, всегдашней, неодолимой тесноты, грязной ругани и нехватки всего. В мире хана обо всем этом не имели представления. Хан был велик и всесилен. И, наконец, в чем она не могла не признаться себе, ибо с самого начала, с первой встречи это обволокло и околдовало ее, — хан обладал особой и непостижимой чувственной властью.

Была ли эта власть так сильна оттого, что он был богат? Или богатство было обрамлением его власти? Хан был мужчиной; мужчина должен быть неукротим. А ее окружали слизняки.

Ничто в отдельности не могло бы победить в Шуре бессознательный расизм обитателей столицы, хан казался ей наглядным подтверждением всего, что она слышала об этих «черных»: его щедрость была подозрительной, чины и почести — словно ненастоящими; бритая голова, хитро-безумный взгляд, маленькие нетерпеливые руки пробуждали в Шуре инстинкт самозащиты; ненасытность хана мешала ей вполне отдаться самозабвению, и мощь чресел внушала скорее страх, чем ответное желание. Но в самом этом страхе было нечто гипнотическое: вокруг хана дрожало магнитное поле.

Опомнившись, она говорила себе: беги, пока не поздно. Но она начинала уже привыкать к его повадкам. Быть может, впоследствии, если бы она рассталась с ним, минуты близости растянулись бы в ее воспоминаниях в долгие дни

и недели неземного счастья, и кареглазый, безрассудно-горячий красавец хан превратился бы в миф об идеальном любовнике.

Но если все-таки, несмотря на то, что Рубин, вечно где-то шатающийся, неизвестно чем занятый, ненадежный и нищий, был, скажем мягко, не подарок,— о, это вечное, проклятое ни то ни се всех нынешних мужчин, которые сами не знают, чего хотят,— если, несмотря ни на что, она хотела его сохранить, хотела остаться с ним, а там будь что будет, если все-таки он один (как она убеждала себя) оставался «единственным и настоящим», так что все его недостатки превращались в преимущества, неприкаянность лишь усиливала очарование и пробуждала в ней материнский инстинкт, если никакие посулы, никакие деньги и тряпки, никакое ориентальное сладострастие не могли поколебать это первенство, то разрыв с Ильей страшил ее вдвойне: получалось, что она не только променяла на деньги, на легкую жизнь, на золотую клетку что-то настоящее, заветное, неподкупное, бескорыстное, но лишилась того, что, быть может, составляет высшую усладу женщины,— лишилась возможности упрекать его за разбитую жизнь!

Получалось, что не она, а он приносит себя в жертву. Не он, а она бросает его на произвол судьбы — бедствовать, мыкаться, кое-как есть, кое-как спать, ходить вечно в одном и том же застиранном и заношенном джинсовом костюме. И Шуре казалось, что он молчит из гордости.

Она вертела что-то в руках, прижимала к губам сплетенные пальцы.

«У тебя кто-нибудь есть? Скажи прямо».

«Нет у меня никого».

Он поглядывал на нее, ей казалось, что он колеблется, а на самом деле у него в голове вертелись откуда-то взявшиеся ни с того ни с сего стихи.

«Сколько сейчас времени?»

Рубин перевел взгляд на часы, которые никогда не показывали точное время.

«Может, чайку выпьем? Водочки?»

В конце концов существует два метода решения всех вопросов: один — это лечь в постель. Нырнуть на дно, на мгновение раствориться друг в друге, уснуть, умереть — и восстать на другой день в спокойном сознании, что решать-то было нечего. Второй способ — сесть за стол.

И вот они сидят друг против друга, молча, погрузившись в тупую задумчивость, так лежат в окопах солдаты двух армий, и командир силится разгадать замыслы неприятеля. Военное преимущество женщины, как всегда, в том, что она догадывается, о чем думает он, или воображает, что догадывается. Он же уловить зигзаги ее мысли неспособен, да и не старается угадать.

«Ты остаешься?»

Слепое зрение, которым она видит то, чего он не видит своими зрячими глазами,— вот в чем ее преимущество. Илье Рубину приходит в голову, что, если бы роли переменялись, если бы она равнодушно указала ему на дверь, он понял бы, что теряет свой последний шанс: понял, что, быть может, сейчас, в эти минуты, вместе с ней от него уходит самое важное, единственно важное в жизни.

Я в дольний мир вошла, как в ложу. Театр взволнованный погас...

А Журнал, а «последние могики»? Ах, все труха, призраки. Ему приходит на ум простая, яснее быть не может, мысль. В Шуре, в этой провинциальной дурочке, живет нечто подлинное, исстари человеческое, замены которому нет. Пока еще она здесь. Завтра она исчезнет. Ему бы надо держаться за нее обеими руками.

Человек с гроздьё разноцветных воздушных шаров за спиной, человек, подбитый воздухом! Рано или поздно газ улетучится, и воздушный прыгун шмякнется о землю.

Все мы кем-то придуманы.

Она спросила: ты остаешься? Это означало: ты остаешься на ночь, за окнами дождь, и мы больше не будем говорить об этом, утро вечера мудренее.

И еще одна мысль пришла ему в голову вместе со стихами, мысль, для которой в мозгу есть особый апартамент, где она пребывает в роскошной пассивности, как тайная возлюбленная. Время от времени ее посещают и ласкают ее, и играют с ней, как играют с вожделием, не доводя его до конца. Это мысль о самоубийстве.

Спрашивается, какая тут связь, но связь была самая прямая. Тут, возможно, скрывалась разгадка той неясности, неизвестности, о которой мы говорили, перечисляя ходячие версии смерти Ильи Рубина. Мало кому эта последняя версия казалась убедительной, люди вспоминали черные кудри Ильи, белозубый смех и веселую беззаботность и не могли поверить, а между тем — кто знает? Все шло к концу, и Журнал, корабль Одиссея, убежище духа, оплот свободы, называйте его, как хотите, а вместе с ним и вся вымороченная, подпольная жизнь, — все было только отсрочкой. И никогда еще эта свобода не выглядела такой мнимостью, как сейчас, когда Шура объявила о своем отъезде.

Незачем искать доводы в пользу самоубийства, скорее нужны доводы против него. Решительно нет ничего странного в идее убить себя, эта идея вложена в нас, как забота о хлебе насущном, как мысль о женщине. Самоистребление, универсальный ответ. Выход, когда некуда деваться; самоубийство от сознания бессмыслицы всего, в чем хотели найти смысл, пытались забыться, самоубийство от засухи, от удущья, от скуки! Самоубийство, которому впору приписать значение символа, банкротство духа, крах интеллигенции — словом, что-нибудь этакое, но тут мы влезает уже в совершенно абстрактные дебри.

Итак, они сидят на кухне, в той самой квартире, куда немного спустя вломятся незваные посетители; на Шурочке бледно-розовый байковый халат, одна из ее обновок, на тарелках закуски, перед каждым стоит рюмка. И ее взор, блестящий от слез.

Бремя решения свалилось, странное облегчение оттого, что совершается неизбежное и никто не виноват, охватило их, и, как подтверждение тому, что ничего уже не поделаешь, в ту самую минуту, когда, глядя влюбленно друг на друга, они подняли стопки, в комнате с зеркалом зазвенел телефонный звонок. Шурочка поставила полную до краев стопку на стол. Телефон звонил и звонил.

«Подойти?»

Телефон умолк, они ждали, и через минуту он зазвонил снова.

Наконец, она поднялась, медленно, лениво, в туго подпоясанном розово-белом халате, который делал ее пышнобедрой, круглой и маленькой. Дверь осталась открытой, он услышал, как она произнесла: «Да». Больше ничего не было сказано. Посидев, он встал и вышел вслед за ней.

Она стоит с трубкой перед диваном, смотрит на него и слушает другого. «Почему?» — спросила она.

Трубка продолжала говорить, Шура смотрела в трюмо, где появился Илья, он спросил глазами: это он?

«Не понимаю, — сказала она. — Ну и что?»

В зеркале что-то происходило, день утонул в темноватой влажной мгле, в светлом серебряном стекле блестели глаза на темных лицах.

«Когда?»

Трубка квакала у нее под ухом — человек на другом конце города сердился, — она пожала плечами, ее рука в зеркале медленно отвела руку мужчины, все, происходившее в зазеркалье, совершалось помимо их воли, как будто там они жили в другой жизни.

«Не знаю...» — проговорила она.

Трубка заволновалась. Шура, смотревшая на себя из зеркала — поясок свисал до пола, лунная кожа мерцала в просвете халата, — медленно покачала головой, это движение относилось к голосу в телефонной трубке или к тому, кто сидел рядом с ней на диване; тут-то и обнаружилось, что стекло смеялось над ними, в черно-серебристом провале происходило другое, там она стояла в светлом распахнутом одеянии, и рука мужчины медленно гладила ее кожу;

трубка выпала из ее руки; но здесь — халат был плотно запахнут, Шура правильно наклонилась и подняла хрипящую трубку.

«Да... — сказала она. — То есть нет... Посмотрим. Нет. Ну, как хочешь. Ладно. Да нет же. Не знаю. Хорошо. Когда? Нет. Да».

Последние слова были произнесены, когда полная, белая нога Шуры перешагнула столик. Она задела высокий флакон с мутно-белой притертой пробкой, флакон повалился, кремовый халат свесился на пол с туалетного столика, она была уже внутри рамы, в комнате, которая в точности повторяла ее комнату, но по другую сторону от всех и всего, и, повернувшись к нему, мерцающая молочной чешуей, смеясь, она манила за собой Рубина.

XIII. Рубин. (Продолжение.)

«Але... товарищ такой-то?»

«Да».

«С вами говорят оттуда-то».

«Угу».

«Вы меня слышите?»

«Угу. А в чем дело?»

«Хотелось бы побеседовать».

«О чем?»

«Есть о чем поговорить».

«О чем же?»

«По телефону долго объяснять. Хотелось бы с вами побеседовать».

«Может, вы все-таки объясните?»

«При встрече».

«Угм».

«Завтра часиков в одиннадцать?»

«А в чем дело?»

«Тогда все и узнаете».

«Не могу. Работаю».

«А вы отпроситесь».

«Пришлите повестку».

«Ну, вот. Так уж сразу и повестку. Зачем эти формальности?»

«Без повестки не приду».

«Ну уж. Раз уж. Если вы настаиваете...»

Утверждают, что на закате века в связи с небывалым ростом окраин территория столицы достигла невероятных размеров; если наш расчет правилен, расстояние от центральной резиденции до Ильи Рубина должно было составить не менее тридцати километров. Никто, однако, не передвигается в городе по прямой линии, и на любом виде транспорта добраться можно было не раньше, чем через час. Курьер, невзрачная личность, явился через пятнадцать минут. Скучным голосом, не заходя в квартиру, спросил фамилию и вручил листок. Хозяин взглянул, поднял голову — посыльного уже не было. Мы, современные люди, называем это явление аннигиляцией.

«Такой-то?» — осведомился приятный лысый человек в штатском, называя нашего друга по имени и отчеству. Встреча произошла в приемной, после чего Рубин был препровожден в соседнюю комнату, где висел портрет, стояли стол и два стула.

«Давно мечтал с вами познакомиться, много о вас слышал. Даже хотел в институт наведаться. Вы ведь, кажется, работаете в институте? Да вот, говорят, вас трудно застать... Очевидно, не каждый день бываете на работе, много других дел?»

Рубин пожал плечами.

«Ну, вот видите. Мне ужасно неудобно, что я вас побеспокоил... Курите?»

«Спасибо».

«А я, если не возражаете, закурю. Я слышал,— сказал человек,— вас постигла тяжелая потеря».

«Какая потеря?»

«Я хочу сказать, тяжелая утрата. Говорят, ваша матушка умерла».

«А-а. УГМ».

«Позвольте выразить соболезнование... Значит, вы теперь один. Отчего не женитесь? Самое время. Небось скучно одному. Да, впрочем, что я говорю: у вас, кажется, есть подруга?»

Рубин сделал неопределенный жест.

«Как это она так... плохо за вами смотрит? Костюм давно пора купить новый. А то даже не в чем в гости пойти. Говорят, вы любите ходить по гостям. Ну ладно, это так... Не сердитесь, что я задаю бесцеремонные вопросы, мне, собственно, хотелось с вами поближе познакомиться. Так что не считайте это официальным разговором... Для официальных разговоров, уважаемый Илья такоевич, у нас пока еще не дошло... Н-да. Время-то идет,— воскликнул он,— что же я хотел у вас спросить, вот память! Представляете, забыл».

Человек подошел к окну, за которым не было никакого города: ни домов, ни людей.

«Слушайте,— сказал он,— может, выпьем чайку?»

Буфетчица в бумажной диадеме вокруг жидких волос, отворив дверь голым локтем, внесла поднос.

Лысый человек спросил:

«Это что такое?»

«Чай велели...»

«Вижу, что чай. А с чем пить-то будем? Ну-ка живо. И бутербродов!»— крикнул он ей вдогонку. Явилась сахарница, явились соевые конфеты в вазочке мутного стекла, на тарелке два ломтика хлеба с сыром подозрительной свежести.

Человек схватил бутерброд, жестом пригласил Рубина.

«Врачи говорят, много сладостей ем. Да как же тут иначе, когда и пообедать толком не дадут! Не получается! Вот так целый день чаем и перебиваемся. Все думают, у нас тут разлили малина. А на самом деле, сами видите. Чай небось холодный... Так вот, о чем бишь... Я, знаете, сам люблю литературу. Даже собирался когда-то поступать в Литературный институт. «Мечты, мечты, где ваша сладость?...» Тут как-то недавно перечитывал «Преступление и наказание» — гениальная вещь. Помните, как там Порфирий говорит: вы и убили, батюшка Родион Романович! Психология следствия, внутренняя логика следствия — вот главное, вот на чем все держалось, и, заметьте, никакой техники, никаких там особенных лабораторий, отпечатков пальцев, все чисто логическим путем! И преступник приперт к стене. У нас, надо сказать, долгое время недооценивали Достоевского... Считали его реакционным, даже чуть ли не запрещали. Все это давно прошло... Времена, знаете ли, переменились, и то ли еще будет. Вот я хочу у вас спросить. Зачем вам все это понадобилось?»

«Что?»

«Ну как что? Неужели неясно?»

«Неясно».

«Ну вот,— рассмеялся человек,— будем теперь в прятки играть. В несознанку. Милый мой, да ведь я ничего у вас не выпытываю, мне ведь и так все известно. Думаете, так уж трудно было бы вас навестить? С понятиями, само собой, с ордером — все честь честью. И весь ваш журнал тью-тью!»

«Не понимаю, о чем вы говорите».

«А вы вон бутербродик съешьте. Пока я его сам не умолот. Так как же?»

«Что — как?»

«Я спрашиваю: что делать будем? Вы поставьте себя на мое место. Пейте, чай остывает. Я говорю: представьте, что вы на моем месте. Подпольная организация, изготовление и хранение нелегальной литературы, сто девьяностая статья, все как на ладони. Что прикажете делать?»

«По-моему, — сказал Рубин, — вы меня с кем-то путаете».

«Те-те-те, знаем мы эти фокусы. Вы только меня, очень вас прошу, за идюта не считайте. Но я повторяю, у нас с вами сейчас разговор неофициальный. Никаких протоколов, никаких свидетелей. Хоть вы тут всю душу вывернете наизнанку, что я с вами сделаю? Ничего не сделаю. Или, может, вы думаете, тут в стене что-нибудь спрятано? Не волнуйтесь, никто не подслушивает. Поговорили и забыли. Меня другое интересует. Может, объясните мне...»

«Что?»

«Ну вот это другое дело, это разговор между взрослыми людьми. А все эти увертки, наивные глаза, дескать, я не я и телега не моя, откуда вы, дескать, взяли, да мы ничего не знаем, да вы нас с кем-то путаете! Это все, дорогуша, надо оставить. Это я на своем веку, знаете, сколько раз слышал? Еще чайку?»

«Спасибо».

«Спасибо «да» или спасибо «нет»?»

«Спасибо. Нет».

«Ну нет, так нет. — Человек вздохнул. — Допустим, что никто вам не давал никакого задания, что вы, так сказать, затеяли все это ради собственного удовольствия, что ли, от нечего делать...»

«Что затеял?»

«Минуточку. Я говорю: допустим. Далее, предположим, что вам удалось этой вашей идеей, ну, что ли, этим журналом — все-таки звучит солидно — заинтересовать определенную группу людей, каких-нибудь графоманов, непризнанных гениев. Годами, понимаешь, обивали пороги редакций, никто их не признает, никто не хочет читать их сочинений, а тут пожалуйста. Да и самому приятно, все-таки редактор. Так я говорю или нет?»

«Мне непонятно, о ком...»

«Нет, вы уж отвечайте на вопрос. Я говорю, кому из нас не хочется славы? Я, знаете, тоже мечтал в Литературный институт попасть, да, слава Богу, вовремя опомнился... Нет, я, конечно, представляю себе: когда такому доморощенному гению, который уже Бог знает что о себе возомнил, в редакциях, где, понимаешь, корзины ломятся от всякой графоманской писанины, когда такому, с позволения сказать, писателю в редакциях отвечают: нет, друг мой, ты сначала поучись русскому языку, почитай классиков, а еще лучше займись чем-нибудь полезным... Когда он получает такой ответ, что он начинает думать? Цензура, давят свободу творчества! А тут подворачивается такая возможность, есть такой Рубин. Пиши, что хочешь. Зеленая улица!»

«Можете не изображать из себя оскорбленную невинность, — сказал лысый человек, поглядывая в окно. — Обижаться-то пока не на что, я ведь все представил в самом невинном свете. На самом деле все можно повернуть и по-другому. Откровенно говоря, глядя на вас, трудно поверить, что вы такой уж, простите за выражение, несмышлениш! Опять-таки вы мне скажете: подумаешь, кто там об этом журнале знает? Весь тираж — полтора десятка экземпляров, да и те читать невозможно, слепая печать, глаза болят после первой страницы... И где вы только таких машинисток берете? Небось еще двойную цену дерут. Плата за страх, хе-хе! Может, помните, фильм был такой с Ив Монтаном».

«Что я хотел сказать? Дескать, все это пустяки, подумаешь — взрослые дети играют в литературу. Можно, конечно, и так посмотреть. Но только, дорогуля, как-то все же мне не верится, чтобы вы были так уж наивны. Чтобы не понимали, что скрывается за всеми этими криками о цензуре... Игры играми, а кто-то на этом политический капиталец себе сколачивает, таким мучеником выглядит, глядишь, и по радио о нем сообщат, вот он и прославился. И не замечает, что он всего-навсего засаленная игральная карта... Я вам больше скажу... Мы на многое смотрим сквозь пальцы. Цензура цензурой, в других странах, между прочим, тоже есть цензура. И если что-нибудь начальству не понравится, то там с такими гавриками тоже не церемонятся. Вы только нас за идиотов не считайте, не считайте

нас за идиотов! Мы понимаем, что настоящий писатель, умный писатель, талантливый писатель всегда может сказать правду. И никакая цензура ему не помеха. Потому что он рассчитывает на такого же зрелого, такого же понимающего читателя. Я вам приведу пример. Допустим, вам нужно описать интимный акт между мужчиной и женщиной. Правда жизни, никуда не денешься! Вот вы мне и ответьте: что сильнее подействует на читателя, какой художественный эффект будет достигнут — или вы грубо и прямо напишете все, как есть, как они там совокупаются, или с помощью художественных образов, метафор, косвенно, полупрозрачно, так, чтобы читатель сам догадывался, чтобы он дорисовал своей фантазией? Понимаете, не впрямую! Это, милый мой, не я придумал, это закон литературы. Или вы не согласны?»

«Согласен, почему же».

«Ага! Наконец-то. Наконец, вы соизволили признать, что я прав, Илья такович. Давайте-ка уж все начистоту».

«Что?»

«Вам непонятно?»

«Что вы имеете в виду?»

«Да все то же, дорогуша. Все то же... Я вам свои соображения изложил. Теперь очередь за вами».

«Что я должен сказать?»

«Честно и прямо. И покончим на этом. Больше вас задерживать не буду! Поговорили — забыли».

«Не понимаю,— удивился Рубин,— это какое-то недоразумение. Вы что, думаете, что это я?»

«Ну, конечно. Вы и есть».

«Не понимаю».

«Ну вот, опять двадцать пять. Этак мы с вами каши не сварим! Да ведь, дорогой товарищ, все лежит как на ладони: кто ж еще-то, как не вы!»

«Не знаю».

«Н-да. Так-таки и не знаете. Может, домой к вам съездим? Вызовем машину, дело двух минут. И поглядим, что там у вас хранится».

«Пожалуйста...»

«Вот сейчас вызовем машину. Чего проще? А?»

Илья пожал плечами.

«Н-да,— сказал майор.— А я, между прочим, считал вас умным человеком».

Услышав звонок, Олег Эрстович устремил вопросительный взгляд на пуделя и деревянного карлика, оба выразили недоумение и озабоченность.

«Кто?» — спросил Олег Эрстович.

За дверью ответили:

«Свой».

«Кто — свой?»

«По делу, Олег Эрстович, откройте...»

Подумав, Олег Эрстович сказал:

«Меня нет дома».

«Однако же вы дома,— сказал, вступая в квартиру, прилично одетый господин неопределенных лет,— позвольте представиться...»

«Я, собственно, принимаю по предварительной договоренности,— величественно возразил Олег Эрстович.— Вас кто-нибудь рекомендовал?»

«Меня? — спросил посетитель.— Конечно, конечно... Позвольте, не могу вспомнить: кто же меня рекомендовал?.. Кто-то, наверное, рекомендовал. Ну да не в этом суть. Надеюсь, мы одни?»

Он повесил шляпу на крюк и погладил лысое темя. После чего вынул и показал удостоверение.

«Я ничего не понимаю, в чем дело?..» — лепетал хозяин, следуя за гостем, который направлялся к деревянной лестнице. Поднялись наверх.

«Прекрасная квартира»,— промолвил лысый человек.

«Да, но... Может быть, вы объясните?»

«Всему свой черед, уважаемый Олег Эрастович... Нет, знаете, просто хомы! Завидую вам, честное слово».

«Ну вам-то уж завидовать...»

Человек усмехнулся. «Все думают, что мы как сыр в масле катаемся. Да мы такое же учреждение, как и все, уверяю вас, такой же, по правде сказать, бардак... Получить хорошую квартиру, ого... Пока тебя на очередь поставят, да пока строительство начнется, а там еще, сами знаете, разные блатные, знакомые...»

«Вы, кажется, сказали,— заметил хозяин,— бардак!»

«Именно. Именно, уважаемый Олег Эрастович».

«А вам не кажется,— осторожно сказал Олег Эрастович,— что вы, э, того, как бы это выразиться, клевете на славные органы!»

«Я? Ха-ха-ха! С вами надо держать ухо востро. Вижу, вижу: имею дело с бывалым человеком. А знаете, вы правы. Теперь я, можно сказать, в ваших руках. Изобличен с поличным! Может, у вас и магнитофон где-нибудь спрятан?»

Человек вертел головой, оглядывал книжные полки, портрет на стене.

«Это кто же такой? Ваш предок?»

Олег Эрастович важно кивнул.

«Иностранец, если я не ошибаюсь... Небось какой-нибудь француз?»

«Остался в России после 1812 года».

«Слышал, как же, слышал... Виконт де Бражелон, в детстве читали. Значит, это он и есть?»

«Он самый».

«Представьте, какое совпадение: мой пра-пра... хрен его знает, прадедушка или прабабушка... Одним словом, воевал под Бородиным. Конечно, я не могу похвастаться таким происхождением, как вы. Крепостные мужики, черная кость, а какой патриотизм, какая самоотверженность! Понимали ведь, что речь идет о судьбах отечества!»

«Мы должны учиться у народа. Любви к родине, сознанию своего долга»,— сказал Олег Эрастович.

«Верно, верно... Приятно с вами беседовать, но, к сожалению, времени маловато... А там у вас что, спальня? О,— сказал лысый человек,— я вижу, вы занимаетесь фотографией!»

«Так, немного балуюсь».

«Великолепно. У вас настоящая студия. А где же ваши работы?»

«Какие работы?»

«Я имею в виду фотографические. Этюды или что там, портреты...»

«Ах, пустяки! Чистое любительство».

«А все-таки. Я тоже, знаете, в юности увлекался. Мечтал стать,— голос его донесся из-за ширмы,— фотокорреспондентом».

Человек вышел из-за ширмы. Можно было подивиться его нюху. Виконт Олег Эрастович бессильно опустился на кушетку. Стащил с головы берет, тяжело дышал, пригладивал лиловые кудри.

«Жарко? Топят, черти собачьи, всюю... Ну в чем дело, я вижу, вы чем-то расстроены. Что тут такого — хорошенькая девочка...— говорил майор, разглядывая фотографию Шурочки.— Иди сюда, мой милый...» Пудель подбежал, стуча лапами по полу, гость трепал его грязную шерсть. «У, ты, какой умища...»

Оба сидели снова за низким столиком перед книжными полками.

«У меня к вам вот какой вопрос, уважаемый... Считайте, что наш разговор вас ни к чему не обязывает, как видите, я не стал вас вызывать, сам навязался в гости... Вам такой Рубин известен?»

Ага, подумал Олег Эрастович, теперь все понятно.

«Рубин?» — спросил он, пожимая плечами.

«Ну, ну,— ласково сказал гость,— я же знаю, что вы знакомы».

Ну, это еще ничего не значит.

«Ах да, в самом деле! — прошамкал старческим голосом Олег Эрастович. — Но очень поверхностно...»

«Вы, кажется, рекомендовали ему машинистку?»

«Машинистку? Ах да, кажется...»

«Но взялись сами передать ей материалы».

«Материалы, какие материалы?»

«Олег Эрастович...» — мягко сказал гость.

«Впервые слышу!»

«А вы напрягите свою память. У, ты, умница...»

«Нет, я просто удивлен. У меня с этим Рубиным нет ничего общего... я...»

«А, кстати, я забыл спросить. Кто эта барышня?»

«О! Случайная знакомая».

«Случайные знакомые в таком виде не фотографируются».

«Знаете, современная молодежь... Мне, право же, стыдно».

«А где остальные?»

«Пардон?»

«Я говорю: где остальные фотографии?»

«Остальные? Но у меня нет никаких фотографий!»

«Гм, вот как. Студия, камера — все есть, а фотографий нет?»

«Надо бы поискать, я давно уже не занимаюсь... Какие-то семейные фотографии, наверное, сохранились».

«Вы правы, надо поискать. Может, сейчас и поищем? Ну ладно, как-нибудь в другой раз... Как же насчет материалов Рубина?»

«Слово дворянина! — торжественно сказал Олег Эрастович. — Если там что и было... Абсолютно не помню. Не имею к этому ни малейшего отношения».

«Так, так, никакого отношения...»

Лысый человек задумался, кивал, поглядывал на Эрастовича.

«Насчет современной молодежи тоже верно, — бормотал он. — А вы мне все-таки подарите на память эту красотку...» После чего произошло нечто необъяснимое.

Пудель вскочил на кресло, где осталась вмятина. Спрыгнул, понесся вниз. Виконт Олег Эрастович, озираясь, крался по лестнице. Внизу в прихожей витал легкий запах дыма. Человек исчез, испарился. Олег Эрастович обследовал вешалку. Обернулся. Деревянный мажордом, со шляпой в руке, кланялся, приглашал войти.

XIV. Академик Т. М. Погорельский

Вперед, как говорит поэт, вперед, моя история... Лицо нас новое зовет, лицо, знакомство с которым может быть лишь попутным, мимолетным; к таким персонам подступиться непросто, тут мы дерзаем подняться на весьма высокую ступень государственной пирамиды. Этот архитектурный образ употреблен, как сейчас станет ясно, не зря.

Прошрое — не загадка для того, кто знает, что было потом; ретроспективный взгляд находит в событиях то, чего не замечал взгляд современника: нечто закономерное, бесспорное, почти принудительное. Лишь современник тешит себя иллюзией, будто завтрашний день — бездонный кладезь возможностей. Если бы он очутился на месте историка, то понял бы, что на самом деле он влекся под бичом закона, в оглоблях необходимости. Если бы ему позволили заглянуть в книгу судьбы, он убедился бы, что у него нет выбора. Но он об этом не знает, и слава Богу.

И все-таки даже тогда, в суматохе последних недель, в этих странных, грозно-нелепых, многозначительных и прискорбных событиях, которыми мы намерены заключить нашу по необходимости фрагментарную летопись, — да-

же тогда нельзя было не почувствовать в них дыхание злого промысла. Да, тут дало себя знать нечто такое, что в художественной словесности именуется замыслом беллетриста, а в жизни — перстом судьбы. Заметим, однако, что все имеет свою причину, всему есть объяснение; другими словами, рок избирает банальные сюжеты и предпочитает естественные решения. Все эти недели, как только что сказано, прошли в суете и волнениях. Последние приготовления к отчету о проделанной работе по выполнению правительственного задания потребовали от руководителя проекта академика Погорельского предельного напряжения всех сил; телефонные звонки, доклады наверх, распекание подчиненных, улаживание и согласование, суматоха и нервозность, ночи напролет, проведенные в рабочем кабинете, не вылезая из кресла, довели Тициана Марковича до последней степени изнурения.

Теперь, когда проект рассекречен, можно сказать о нем подробнее, а заодно коснуться его предыстории. Разумеется, в самом кратком виде. По общему мнению, величественный архитектурный замысел, который в описываемое время, после длительной паузы, вновь предстояло извлечь на свет, был способен затмить все прежние достижения строительного искусства. Затмить Египет, затмить Вавилон — подобно тому как новая эра, чьим символом стал этот замысел, должна была превзойти величие всех цивилизаций и царств.

В своем первоначальном виде проект родился в двадцатые годы, в эпоху головокружительных идей. Правда, уже тогда возникли сомнения, не повлияет ли столь высокое сооружение на вращение Земли, не грозит ли это, в свою очередь, смещением орбиты, сокращением расстояния от Земли до Луны, возмущениями соседних планет или чем-нибудь подобным. Вспыхнула дискуссия, в которой приняли участие зарубежные астрономы. А если бы даже и грозило, возражали энтузиасты, что с того? Тут припомнилось, кстати, пророчество некоего философа, который еще в прошлом веке мечтал, что человечество научится управлять движением Земли и, сбросив путы солнечного притяжения, ринется в космические дали.

Как бы там ни было, в начале следующего десятилетия споры были прекращены, возражения умолкли и больше никто о них не вспоминал. Не могло быть больше сомнений в необходимости немедленно приступить к стройке. По утверждению проекта на расчищенной территории начато было рытье котлована. Количество вынутого грунта было таково, что, как подсчитали в газетах, этой землей можно было засыпать пустыню Гоби и развести там сады. Предлагали также рассыпать землю по городским крышам с целью устройства солнечных оранжерей. По разным причинам о дальнейших работах ничего не сообщалось. Ходили фантастические рассказы; по слухам, там была найдена нефть. Кто-то видел на дне котлована нефтяные вышки. Кто-то намекал на строительство гигантского подземного завода, для которого наружные работы служили якобы только ширмой. Между тем грузовики свозили к воротам огромные тесаные блоки, было приступлено к укладке фундамента, как вдруг разразилась война. Работы были прекращены ввиду того, что огромная строительная площадка в центре города, по заключению специалистов, представляла ориентир для вражеских самолетов.

Победа уже витала в воздухе, из репродукторов гремел бессмертный голос: «...двадцатью артиллерийскими залпами!...» — и ночи столицы озарялись праздничными салютами, когда Погорельский, лицо в то время абсолютно неизвестное, еще без живота, без складчатого подбородка, с волнистой шевелюрой и орденом Отечественной войны на гимнастерке, мечтавший из фронтового фоторепортера стать художником, вернулся в город. И одно время ходил каждый день на какую-то скучную службу мимо длинного глухого забора, за которым царили тишина и неизвестность. Мальчишки разглядывали сквозь щели гигантский кратер, откуда поднимался молодой лес. Было очевидно, что в ближайшие годы не предвидится возобновление стройки, и в самом деле прошли годы.

Тогда-то в те чудные, безвозвратные времена, молодого художника осенила идея — одно из тех гениальных озарений, что приходят единственный раз в

жизни и переворачивают всю жизнь. Не следует пренебрегать утопическими мечтами, всякому действию предшествует мечта, и мечтой вдохновляются самые значительные деяния. Проект сделал Тициана Погорельского главой и гордостью отечественного изобразительного искусства, превратил его в вице-президента Академии художеств, депутата и лауреата.

Чем сомнительней представлялось возвращение к первоначальному плану, тем насыщеннее было его символическое перевоплощение. Вновь и вновь ремонтируемый, подпираемый жердями, залатанный толем забор в центре города, мозолил глаза и портил настроение. Гнусный забор был особенно замечен отсюда, где он меньше всего должен был привлекать внимание, со стороны реки в районе крупных гостиниц. Его могли видеть иностранцы. В него упиралось Бульварное кольцо. Необходимо было разрубить гордиев узел. Новый проект предлагал идеальное — в обоих смыслах этого слова — решение.

Коллектив, руководимый Тицианом Погорельским, трудился не покладая рук. Трижды приемная комиссия рассматривала готовое произведение, прежде чем представить его на утверждение наивысшей инстанции. Решающий день приблизился. Гигантское панно было транспортировано на автоплатформах и установлено в зале главного здания Академии. Вокруг полукругом стояли юпитеры, с потолка свисали гирлянды софитов.

Пронеслись по опустевшим улицам и подъехали длинные бронированные автомобили. Толпа телохранителей, советников, ответственных работников и референтов взойшла следом за тяжело дышащими, медленно переставляющими ноги товарищами по мраморной лестнице, прошествовала через холл, приблизилась к дубовым дверям. Нечто грандиозное, покоряющее ум и воображение ожидало их в зале. Медленно, как в театре, померк свет многоярусных конусовидных люстр, и вспыхнули прожектора. Зажглась боковая подсветка. Тициан Маркович с трехметровой указкой стоял сбоку. Группа товарищей в одинаковых пиджаках и брюках из негнущейся ткани разместилась на возвышении у стены.

Никто не подумал бы, что это фанера, правда, особо прочная, устойчивая против непогоды; никто никогда не догадался бы, что это всего лишь фанера, настолько искусно она была превращена в голубое небо, и в бесконечных далах, над горизонтом серебрился и розовел восход, это было утро мира. На щите, перегородившем зал, был представлен — нет, не представлен, а стоял, как живой, высился и возносился в небесную твердь изумительный храм будущего, циклопический дворец, каким его мог бы созерцать маленький человек, спешащий по своим делам, скромный труженик, прохожий-насекомое, рядовой египтянин, пораженный видом гробницы фараона. Воистину ничего подобного никогда не бывало.

Хотелось вскричать вслед за классиком: не так ли и ты, Русь?.. Нарисованный дворец являл собой в некотором смысле стержень мира. Зритель — и в этом состоял секрет фанерной картины, а точнее сказать, секрет искусства, — находился у подножия и одновременно витал за облаками; зритель видел волшебный дворец снизу доверху во всех его подробностях: живопись сделала дворец более обозримым, чем этого могло бы достигнуть самое совершенное строительство; живопись превзошла зодчество. Вместе с тем она производила необходимое педагогическое, вдохновляющее и одновременно усмиряющее воздействие: зритель мысленно восходя по уступам все выше и выше, все ближе и ближе к цели, чувствовал себя все мельче и мельче — и там, в космической пустоте, его ждал, но не замечал его, обращался ко всему миру и стоял над миром в ореоле еще скрытого для земных обитателей солнца, в башмаках из нержавеющей стали, с простертой рукой гигантский крошечный Некто, о котором можно было только догадываться, кто он такой, которого следовало скорее назвать Никто, подобно Богу, к коему неприменимы никакие «кто» и никакие «что». Панно радикально решало поставленную задачу. Оно должно было заменить дощатый забор вокруг котлована или неизвестно вокруг чего, ибо никто уже не мог к тому времени уверенно сказать, что находится за забором. Отныне фанерная панорама раз навсегда сняла этот вопрос с повестки дня, сдела-

ла его несущественным. Но в том-то и дело, что это была уже не фанера. Это было торжество искусства над действительностью или, лучше сказать, действительность, отменившая сама себя.

Товарищи в негнущихся пиджаках были не то чтобы потрясены, но все же находились под впечатлением от увиденного, хотя нелегко было догадаться об этом по их неподвижным лицам. Из практики вращения в высших сферах было известно, что отсутствие выражения на лицах руководящих товарищей necessarily означает осуждение, но не является и безусловным знаком одобрения, точно так же как не указывает ни на отсутствие мысли, ни на ее присутствие. Имея немалый опыт, Тициан Маркович приготовился к тому, что с его творением обойдутся строго, по-хозяйски, по-государственному. Были сделаны следующие деловые замечания:

«Угу. М-да».

«М-гм. Думается, в общих чертах...»

«В общих чертах, думается, можно...»

«Одобрить. Товарищи, безусловно, отнеслись к своей задаче...» — сказал первый.

«Безусловно, осознали», — сказал второй.

«Ответственность перед народом, перед нашей родиной», — произнес третий.

«Однако», — заметил первый.

«Идейно-художественный замысел раскрыт недостаточно».

«Товарищам надо еще поработать».

«Полнее раскрыть».

В ответном слове Т. М., стоя с указкой, как витязь с копьём, сказал, что коллектив горячо благодарит за ценную помощь и критику. При своей чрезвычайной занятости руководители нашли возможным уделить время заботе об искусстве. Коллектив глубоко тронут этим вниманием. Все сделанные замечания будут учтены, сказал Т. М. Панно предполагается установить ко дню великой годовщины.

«Не так уж много времени осталось», — заметил первый, насупив брови, и следом за ним нахмурились остальные.

«Товарищам надо как следует поработать».

«Оправдать доверие. Вся страна на вас смотрит».

Осмелев, Тициан Маркович Погорельский заверил, что коллектив приложит все усилия. Недостатки будут устранены. Хотелось бы знать, есть ли конкретные пожелания. Проектора издавали легкое равномерное гудение. В зале стало жарко.

«Угм... Замысел...»

«Думается, главный недостаток — это...»

«Недостаточно отражена идея неуклонного стремления ввысь».

«Магистральное направление проекта».

«Движение не просто вперед, а вперед и ввысь!»

«Не простое, а поступательное».

«Качественно новый скачок».

Под вечер вконец измочаленный, но счастливый Тициан молча принял поздравления жены и, сменив официальный костюм на просторную домашнюю мантию с кистями, прошлепал в свой кабинет, где черт дернул его снять трубку и набрать некий номер.

По здравому рассуждению приходится заключить, что это и было не что иное, как рок. Рок шепнул, что не худо бы после праведных трудов поразвлечься. На чем в конечном итоге Тициан Маркович Погорельский — скажем это сразу, чтобы уж больше к данной теме не возвращаться, — неприятнейшим образом и погорел.

Да, черт дернул академика позвонить Олегу Эрстовичу, и встреча состоялась, если наши сведения правильны, на другой же день; было ли это до или

после того, как Олега Эрастовича почтил своим посещением уже известный нам лысый господин в штатском, сказать сейчас трудно, — впрочем, неожиданно оборвавшийся разговор сделал это посещение как бы не состоявшимся. И впоследствии Олег Эрастович спрашивал себя: а не было ли оно каким-то наваждением. Каждый знает, что в жизни бывают события, о которых потом невозможно сказать, были ли они на самом деле.

Как бы то ни было, лицо, которое в столь деликатных обстоятельствах не следовало называть по имени, пренебрегло персональной машиной и прибыло на такси (в девятнадцатом веке сказали бы — в наемной карете). Вице-президент был в наклеенных усах и низко надвинутой шляпе, из-под которой виднелись тронутые сединой кудри. Встречен чрезвычайно почтительно.

«Угм!»

«Сюда. Покорнейше прошу...»

«Прелестная резьба».

«Это из особняка Кулебякиных. Представляете себе, они хотели выбросить его на свалку...»

«Варварство».

«Еще какое!»

«Возмутительное отношение к нашему национальному наследию».

«Что поделаешь! Когда вокруг одни инородцы».

«Вот именно».

«Прошу. Старый арманьяк...»

«О! Превосходен. А что это у вас там... э?»

«М-м?»

«Что это там за вазочка?»

«А, эта! Приобрел по случаю. Приятель уезжает».

«Гм... все уезжают. Позвольте взглянуть? О, настоящий Мейсен».

«У вас безошибочный глаз: Мейсен. Пятидесятые годы».

«Прошлого века?»

«Что вы! Восемнадцатого!»

«Позвольте, разве?»

«Уверяю вас. Мне ли не знать?»

Гм. Я, собственно, к вам на минутку. Времени совершенно нет».

«Понимаю, понимаю. Чем могу служить?»

«Ах, уважаемый Олег, э-э... э?»

«Эрастович».

«Дорогой Олег Эрастович. Жизнь — вещь нелегкая!»

«О, как я вас понимаю!»

«Особенно в наше время».

«Кому вы говорите...»

«И, заметьте: чем выше положение, тем труднее».

«Вы правы. Государственные обязанности требуют разрядки, требуют отдыха».

Оба скорбно вздохнули. Академик Погорельский углубился в рассмотрение альбома.

«Угм. Тирим-пам-па. Вот эта ничего себе. Полновата, пожалуй».

«Цыц!» — крикнул Олег Эрастович. Как легко догадаться, это относилось к пуделю.

«О, а вот это штучка! Глаза, глаза... Небось темперамент — о-го... Будь я помоложе!»

«Цыц! Я т-тебя».

«Трим-па-па... Не то. Не то, батюшка Олег Эрастович...» — сказал, вздохнув, академик и захлопнул альбом.

«Может быть, эта?»

«Новенькая?» — спросил Тициан Маркович, принимая от хозяина портрет Шуры.

«К сожалению, занята. Но я попытаюсь для вас устроить. Если не ошибаюсь,— проговорил Олег Эрастович,— она будет на днях в...»

XV. Термы Каракаллы

Даже на тогдашних картах, намеренно вводящих в заблуждение чужой и недобрый глаз,— ибо все могло стать поживой для иностранных разведок,— даже на этих романтических, далеких от пошлой действительности картах нашего города нетрудно было бы отыскать территорию, на которой вознесся возрожденный властью искусства пирамидоподобный дворец. Найдите излучину реки. Здесь, у подножия холма, где легендарный основатель города сидел за бревенчатым тыном, поджидая родича и соседа, чтобы вместе отпраздновать разбойничий набег, у левого излома подковы раскинулось то, что и после установления живописного панно хранило свою тайну. А теперь совершим экскурсию по другим памятным местам: вниз по Волхонке, мимо колбасного магазина, где благоухает чеснок, мимо памятника Героям, где пахнет порохом, мимо статуи Ивана Грозного, от которой тянет серой. Минуя Знаменку, через площадь Победы, сквозь арку ворот, так удивительно похожих на врата Вечного города, у которых рыдал последний римский поэт. Дальше, дальше, по Моховой, сквозь мглу воспоминаний...

Здесь придется, однако, за отсутствием подробного плана сверяться по допотопным путеводителям конца двадцатых годов и вспоминать исчезнувшие названия: какой-то Лоскутный переулок, тут же, впрочем, и акционерное общество «Тряпье — лоскут». Что такое акционерное общество? Это уже никто не помнит. След простыл и от дома, где оно помещалось. Где мы? Налево — Петровские линии, Рахмановский, направо — Первый Неглинный, Третий Неглинный... Стоп: мраморная доска. Сандуновские бани. Какой столичный житель, коренной, наследственный римлянин, какой настоящий москвич не встрепенется, увидев эти слова?

Сандуновские бани, да ведь это все равно что термы Каракаллы, все равно что Форум и Эсквилин. Это все равно что Арбат, Донской монастырь или Художественный театр. Сандуновские бани, сколько великих мужей побывало здесь! По справедливости следует присвоить им наименование мемориальных, или академических бань, или Всероссийских, принимая во внимание исключительную роль Сандунов в анналах отечественной цивилизации, в становлении национального самосознания.

Утверждают, будто они существуют до сих пор. Поверить трудно, существуют, может быть, но не здесь, ибо здесь теперь уже что-то другое. Федот, да не тот; имитация старины, которая вряд ли кого обманет.

Говорят, апостол Андрей в бытность свою в Новгороде дивился тому, что люди секут себя в пару прутьями. Баня в нашем отечестве есть институт особого рода. Баня вообще примечательна тем, что это единственное общественное место, где человеческий род сызнава воскресает в своей первородной невинности, где люди являются друг перед другом, какими их изготавил творец: тучными, тощими, гладкими, костлявыми, стройными, кривобокими, с мышцами и ключицами, с плоской, продавленной или бочкообразной грудью, с торчащими лопатками, похожими на плавники или остатки крыльев, с позвонками оживших ископаемых, с волосатыми плечами приматов, с оплывшей грудью, с утонувшим в складках пупком и органами размножения, спящими на пухлых бедрах под перинной живота.

Баня — это воспоминание об Эдеме, это само первобытное человечество, нагое, как племенное еврейство, шумное, как орда, это гулкие возгласы, плеск и хохот, тусклые лампы в облачных керамических чертогах, баня — преисподняя голых тел, предвестье и предвкушение потустороннего будущего, баня — это, увы, прообраз газовых камер.

Liberté! Egalité! Fraternité! Вот слова, которые следует начертать над ее порталом. Но если верно, что бани возвращают нас к досоциальному братству,

плотскому равенству и анатомической свободе, если вместе с одеждой, с габардиновыми доспехами, папахами из барашка, вместе с членскими билетами и мандатами с важного лица спадет все внешнее, официальное и условное, и человек братается с ближним в ничем не прикрытом естестве, и *seid umschlungen, Millionen*², иначе не скажешь,— если все это так, то все же в Сандунах дело обстояло не совсем так и даже скорее наоборот, ибо они служили местом для совершенно особых конфиденциальных встреч.

В бане «отмокают». В бане сбрасывают бремя забот, отскребывают коросту лет. В бане постигается мудрость неспешного существования и вкушается сладость ничем не омраченного времени — сладость жизни. Все это так. Но наш скромный дискурс был бы неполон, если бы мы умолчали о том, что баня, по крайней мере та, о которой идет речь, есть обиталище избранных. Баня — лучшее место для ведения дипломатических переговоров, завязывания коротких отношений, заключения сделок, обмозговывания проектов и обговаривания щекотливых дел. Не будет преувеличением сказать, что в Сандунах решались судьбы многих и многого, если не всей державы.

Чтобы туда попасть, надо было знать топографию Сандунов, не то чтобы абсолютно секретную, но и не подлежавшую широкому оглашению.

Дело в том, что вывеска и парадное крыльцо, и кассовый зал с прејскурантом, сообразительствами и что там еще полагалось вывешивать,— все это были еще не настоящие Сандуны. Не то, что подразумевалось под гордым словом Сандуны и произносилось так, как в иные века говорили: салон мадам Рекамье. Или: Соколовский хор у Яра. Или: великая ложа Востока. Незачем было входить в кассовый зал, чтобы попасть в настоящие Сандуны, незачем было читать сообразительства и покупать билет: тем самым вы показали бы, что вы не лицо, не настоящий клиент; не осетр, а мелкая рыбешка. Осетры проплывали мимо.

Вынырнув из потока машин со стороны Грубной площади, лакированный экипаж прошуршал, не останавливаясь, мимо псевдосандунов, пронесся вдоль шеренги домов и мягко свернул в каменное ущелье, где за мглистыми окнами громоздились друг на друге конторы и навеки присохли к своим стульям служащие, а по узкому тротуару пробирались редкие и робкие пешеходы. Закон отрицательной показухи, важнейший закон эпохи — своего рода диалектическое отрицание декоративного величия,— закон этот гласит, что все, по-настоящему важное, не должно бросаться в глаза. Автомобиль подкатил к невзрачному входу: три ступеньки вниз, и, само собой, никаких вывесок.

Выскочил лейб-шофер в черных соплевидных усах, с глазами, как антрацит, отворил дверцу. Выбрался тучный поэт в огромном дорогостоящем кепи. Вылезла Шурочка, прелестная, как весна.

Спустившись несколько боком с одной ступеньки на другую, высокий гость приблизился к тесным воротам, о которых можно сказать словами псалмопевца: праведные внидут в них. Тусклое помещение, облупленные стены и квартиры каких-то жалких людей, технико-эксплуатационная контора и рядом с ней еще одна дверь, не то чтобы военная тайна, но не всякому положено знать. Проще говоря, служебный вход, дверь для своих людей, наподобие заднего входа в магазин или в театр. Шофер надавил на кнопку звонка, выглянула смазливая мордочка, горничная или секретарша, в тесной юбочке, в кофточке из батиста, с острым носиком, с бюстом, как морская пена... Коридор, графики дежурств и портреты победителей в соцсоревновании. Стенгазета «За отличное обслуживание». Здесь присутствует Государство; скажем так: все еще присутствует. Мимо, мимо... Явление знатных гостей вызывает счастливую панику. И уже чувствуется издали парной дух, ароматное тепло. Горничная — туда-сюда, с полотенцами, губками, мочалками, с мазями и бальзамами, с обширнейшей, как пустыня Гоби, мохнатой и мягчайшей простыней, а там уже встре-

¹ Свобода! Равенство! Братство! (*франц.*)

² Обнимитесь, миллионы. Ф. Шиллер (*нем.*).

чает заслуженный пространщик, «сам» Аркадий Лукич. Хриповатым баском, в котором опытное ухо различило бы и ноты вышколенного дворецкого, и обертоны старого блатаря на почетной синекуре, негромко, несуетливо, не без фамильярности, не без некоторого почтительного презрения, дескать, мы и сами с усами:

«Ба-а! Гость-то у нас какой. Ваше ханское сиятельство! Вот уж не ждали». Хотя, что говорить, ждали.

«Дорогой,— возразил гость,— зачем обижаешь? Почему не звонишь?»

«Ваше сиятельство, так ведь кто ж знал, что вы тут».

«Все знают, ты один не знаешь. Как живешь? Как дети? Как мать, как отец?»

«Слава Богу,— отвечал пространщик, у которого отродясь не было ни отца, ни матери, что же касается жен и детей, то тут вопрос сложный.— Живем, хлеб жуем, вы-то как?»

«Ах-х! — взмахнул рукой гость.— Печенка барахлит. Почки никуда не годятся. Спина замучила. Всех профессоров обошел. Никто не помог. Ты моя последняя надежда!»

«Так точно. Что можем, то сможем».

Черноусый возникший исчез, выбрался из катакомб и, отрулив в сторонку, дремлет в машине. Тем временем хан с наложницей шествует в предбанник, шелестя гигантскими шлепанцами из кожи саблезубого тигра.

Конечно (повторим это), никакой чрезвычайной тайны топография знаменитых бань не представляла. Однако и не афишировалась. Существовали, как во всякой бане, первый и второй разряд, но был и особый разряд. Бани были коммунальными, общедоступными, всенародными, но это лишь означало, что подразумевались не те бани. Жизнь вообще была устроена так, что говорилось одно, а подразумевалось другое, ценилось лишь то, что было настоящим, настоящее же, как все, чего не хватает, чего нет, но что все-таки есть, не могло не быть лишь наполовину реальным. Коридор, графики дежурств, стенгазета, все правильно, ничего особенного, но дальше начинается мифология, античная Греция и Левант, царский предбанник, душ сидячий, лежащий, стоячий, парильня для богов, мраморные чертоги, комнаты массажа, комнаты отдыха и хрен знает что.

XVI. Пур

Семь часов вечера, первая стража, по римскому счислению, а по восточному — час пробуждения луны. Для дальнейшего изложения, как и для последующего расследования, важно уточнить время. Итак, в семь часов или около того отворяется дверь и показывается розовый и помолодевший после прохладного душа, с блестящим, как бильярдный шар, черепом, с влажными, подернутыми поволокой карими глазами под густым, как усы, смолистым двубровьем, в роскошном ассирийском одеянии, подпоясанный толстым витым поясом с кистями, которые кольшутся между выглядывающими из халата крепкими мохнатыми ногами в тигровых шлепанцах,— показывается хан. Следом плывет утомленная спутница. Кто такая? Никто не спрашивает, никому она не представлена; она медицинский персонал, или кому там положено обслуживать важного ответственного работника, пациента с застарелым радикулитом, аристократической подагрой, артрозо-артритом, ибо какой же государственный деятель бывает без артрозо-артрита; доверенная наперсница, секретарша, первая жена гарема, романтическая незнакомка — подцепили на улице, остановили машину и поманили толстым пальцем — или, чего доброго, подосланная сучка из органов? Все может быть, и никто ни о чем не спрашивает. Под кремовым халатиком дышит и волнуется ее нежная грудь.

Большой человек пожалуй, такое наименование будет самым уместным. Большой человек оглядел стол, издал одобрительно-утробный звук. Пространщик Аркадий Лукич Лыков при полном параде — свежайший накрахма-

ленный халат, манишка с черной «бабочкой», нарукавники — осведомляется, можно ли впустить другого гостя: просится и сочтет за честь. «Кто такой?» — спросил хан брезгливо.

Овладев по-хозяйски бутылку, он разлил желтое, сверкающее, словно расплавленный янтарь, вино — себе, Шурочке — и первую чашу, по обычаю, осушил молча. Пространщик вопросительно стоял в дверях. Хан степей кивнул.

«Как же, как же, слышали», — промолвил хан, когда академик Тициан Погорельский, лысый и среброкудрый, в кимоно с драконами, благоухая лосьоном, вступил в пиришественную светелку.

«Слышали о твоём таланте. И до нас докатилась твоя слава. Садись, гостем будешь...»

«Присаживайтесь», — кутаясь в халатик, нежно сказала Шурочка.

«Ты что же, один?»

«Увы», — развел руками Погорельский.

«Нехорошо», — сказал хан.

Несколько времени продолжались приготовления, нюханье цветов, ревизия закусок.

«Н-да-с...»

«Ну-с...»

Хозяин занес бутылку над бокалом академика.

«Нет, я, пожалуй, водочки, — потирая ладони, говорил Тициан Маркович. — Нашему брату славянину, знаете ли, после баньки необходимо... кх, кх...»

«Знаем, знаем... А вот вина моего не хочешь попробовать?»

«С удовольствием, и премного благодарен. Но я, пожалуй, водочки!»

Шура, молча и как будто не замечая бокала, который ей пододвинул хан, протянула Тициану свою рюмку, тот поспешил налить из заиндевшей бутылки. Хан с чашей прозрачного янтаря насупил усоподобные брови.

«Мне кажется, — проворковал Тициан Маркович, подняв рюмку и чокаясь с дамой, — мы с вами где-то встречались!»

Шурочка лукаво улыбнулась. Хан сказал:

«Это тебе приснилось. За твоё здоровье».

«Будем здоровы... О-о, хорошо пошла!»

«Эй! — позвал хан и хлопнул в ладоши. — Принеси ему стакан. Пускай пьёт свою водку... Гранёный!» — крикнул он вслед Аркадию. Пространщик принес толстый гранёный стакан и молча поставил перед Тицианом. Хан небрежным движением отослал Аркадия Лукича.

«Вот, — сказал он, — если будет мало, принесут больше».

И широко развел руками, указал на стол. Сам он обильно угощался. Тициан Маркович что-то клевал вилкой, соблюдал диету. Выпив водки, Шурочка погрузилась в томное молчание, губы её приоткрылись, грудь мерно дышала под халатом.

«Как, ты сказал, тебя зовут? Ва! Так это тот самый, который Венеру голую нарисовал? А ты мне вот что скажи. Ты как считаешь? Рисовать без всего — ведь это нехорошо. На неё мужики смотрят, дети смотрят».

«Видишь ли, Усуф...» — возразил Тициан.

«Какой я тебе Усуф? Мы пока ещё с тобой не знакомы».

«Зато теперь будем знакомы», — сказал Тициан, не желая портить настроение.

«Я пошутил. Знаю, что ты не Тициан».

Он налил себе золотого вина.

«То есть Тициан, но не такой».

«Федот, да не тот», — улыбнулся гость.

«Не тот».

«А теперь я предлагаю, — торжественно сказал академик, — выпить за нашу прекрасную... гм... За хозяйку нашего стола!»

«Хо-хо! — громыхнул хан степей. — Ты, я вижу, мастер говорить тосты».

«Где же это мы с вами виделись?» — мечтательно произнес Тициан Маркович и, уже не скрываясь, взглядом художника оценил ее шею, ямку между ключицами и складку грудей в просвете халата. Шурочка, как бы застыдившись, одарила художника обещающим, как ему показалось, взглядом. Тициан Маркович мысленно сравнил оригинал с фотографией из альбома. Он высвободил под столом босую ногу из туфли. Немного погодя нога поехала по полу и приблизилась к Шурочкиным ногам.

Бес овладел ею. Ее колени плотно сжимали ступню академика. Между тем хан степей равномерно осушал кубок за кубком и против обыкновения мрачнел с каждой минутой. Были ли наглые авансы, делаемые академиком живописи разнеженной Шурочке, причиной скверного расположения духа или тучи приплыли издалека, объяснялась ли недобрая складка между бровями хана таинственными, все еще не доделанными делами в столице или флюидами луны? Сопя, он ударил в ладоши, и, казалось, облака рассеются, впорхнут гурии, войдет ансамбль зурначей, и на душе станет легче, и грозный хан степей, как был, в развевающемся халате, с волочащимися по полу кистями плетеного пояса, в туфлях из шкуры махайродуса, врежет лезгинку. Но вместо этого в комнату вошел Аркадий Лыков, и председатель, хлопнув себя по колену, сузив глаза, спросил угрюмо:

«Ты где там? Садись, ешь-пей с нами».

На одну короткую минуту наступило молчание, пространщик смотрел на красные лица мужчин, и как-то вдруг почувствовались загадочная многозначительность этого пиршества, дразнящее присутствие женщины и каменное могущество хана.

«Благодарствуйте, ваше сиятельство,— сказал небрежно Лыков,— только я на работе...»

«Не уйдет твоя работа. Тут, понимаешь, за здоровье хозяйки пьют, хочу, чтоб и ты выпил».

«Благодарим покорно».

«Эй, кто там!» — позвал хан.

Лыков оглянулся на дверь, никто не отозвался; поколебавшись, он вышел и вернулся с белой, какие бывают в банях и поликлиниках, табуреткой.

Он сидел, выпрямившись, в крахмальной манишке с черным галстуком-«бабочкой», но без служебного халата, что означало как бы полуофициальный характер его присутствия. Под манишкой была сорочка с короткими рукавами, обнажившими худые, жилистые руки со следами татуировки. Пространщик пригладил беспалой рукой редкие свои волосы, в правую руку взял бутылку с водкой и налил себе полный стакан. Бесстрастным взглядом обвел хана и академика, презрительно-внимательно скользнул глазами по Шурочке. «Будем»,— пробормотал он. Половецкий хан приветствовал его ободряющим жестом. Лыков поднес стакан ко рту и медленно выпил до дна, не отрывая от губ.

«Ценю»,— сказал хан.

Шурочка придвинула тарелку с закуской. Лыков не притронулся к еде и сидел все так же прямо, глядя перед собой.

«А теперь,— это был уверенно-вкрадчивый, с какими-то старорежимными обертонами голос Тициана Марковича Погорельского,— прошу присутствующих поднять бокалы за здоровье нашего уважаемого восточного гостя, нашего... Мы, москвичи, люди искусства, придаем особое значение симметрии, и потому...»

Непонятно было, что он имел в виду, видимо, он готовился произнести длинный тост.

«Дружба наших народов...» — Но его не дослушали.

«Отчего не ешь?» — медленно сказал хан, не сводя глаз с Лыкова.

«Спасибо. По первой не закусываем».

«Ай-яй,— сказал хан,— этак и спиться можно».

«Уметь надо»,— сказал пространщик.

«А ты умеешь?»

Пространщик ничего не ответил.

«Я хочу поднять этот тост,— лепетал Тициан,— за здоровье...»

«Тост не поднимают. Тост провозглашают. Вино с водкой мешать не надо... Та-ак,— молвил задумчиво половецкий хан, крутя пальцами чашу.— Скажи-ка, Лыков. А ведь ты меня не любишь».

Пространщик обратил на него тусклый взор.

«Налей ему,— буркнул хан.— Полный налей... Он умеет».

Шура приподнялась, придерживая халат, и это движение, тонкая женская рука, протянутая к бутылке, шевельнувшиеся под байкой нагие налившись груди что-то прибавили к ожиданию, повисшему в воздухе. Пространщик спокойно следил, как льется водка в стакан. Хан степей вознес свою чашу.

«Твое здоровье... Не отрекайся. Не увиливай. Я люблю правду. Я всем говорю правду. И от моих людей всегда требую, чтобы говорили правду. Вот я и хочу тебя спросить, скажи: за что ты меня не любишь?»

Пространщик возразил, что он уважает хана.

«Уважаешь, да. Еще бы тебе меня не уважать. Боишься? Конечно, еще бы не бояться. Но не любишь. О-ох,— он прищурился и покачал головой,— не любишь...»

Пространщик молчал и смотрел на хана все тем же тускло-оловянным, ничего не выражающим взглядом. Тициан, заметно нетрезвый, ловил вилкой в тарелке зеленый горошек. Шурочка, поджав губы, покойно сидела на своем месте. Ей казалось, что мужчины ждут, когда она снова поднимется, наклонится над пиршественным столом и ее полушария нальются в просвете халата. Хан протянул руку к водке, но не смог подняться. Тогда она привстала и взялась за бутылку, то ли готовясь налить Аркадию следующий стакан, то ли желая сказать: «Хватит». То ли с другим намерением.

Председатель вырвал у нее бутылку.

«Благодарю ваше ханское сиятельство»,— снова раздался голос Аркадия Лыкова, как будто прошелся ножом по стеклу. Тициан уронил вилку. Лыков взглянул на свой стакан.

«Отчего не пьешь?» — спокойно спросил хан.

«Благодарю»,— проскрежетал пространщик.

«Так! — сказал хан.— Значит, не хочешь».

Он тяжело вздохнул и опустил руку на колено женщине. По-прежнему не сводя глаз с Лыкова, отшвырнул короткую полу ее халата и впечатал пальцы в белое Шурочкино бедро. Шура сбросила его руку.

«Значит, так,— медленно накаляясь, дыша с присвистом, продолжал хан,— вот так, значит... Я уезжаю завтра, мне тут больше делать нечего... Может, когда еще приеду... А ты, Лыков, запомни. Я тебя везде достану. Ты у меня вот где!»

И с ненавистью сжал маленькую короткопалую руку в кулак.

«Вы все у меня вот где. Вот вы на меня смотрите, и ты, и ты, и все вы... И думаете: черножопый приехал. У, черножопый... А вы у меня вот где! Мне только стоит захотеть. И вы все, все, как один, вот сейчас передо мной будете плясать. Потому что вы все продажная сволочь. Каждого можно купить с потрохами. Ты забыл, Лыков, кто тебя из грязи вытащил? Кто тебя на твое место устроил? Тебе мало? Еще дам... Сколько надо, столько и дам. А будешь себя плохо вести, прогоню ко всякой матери!»

«Юсуф,— сказала Шура вполголоса,— успокойся, Юсуф... Давай поедем. Тебе надо отдохнуть».

«Пошла вон! — закричал хан.— Шлюха! Все пошли вон!»

Пространщик Аркадий Лыков, казалось, никак не реагировал на речь хана, лишь задумчиво кривил и покусывал губы. Мертвые глаза его скользнули по столу, мимо Тициана, сидевшего на своем месте с выражением чрезвычайного достоинства, оглядели Шурочку, ее круглый подбородок и нежную шею. После чего, по некоторым сведениям, Лыков опустил голову, обхватил пальцами свой стакан и мгновенным движением выплеснул водку в лицо половецкому хану. Хан выпучил глаза, схватился за стол, смаял скатерть и начал медленно подниматься. Пространщик стоял по другую сторону пиршественного стола,

табуретка лежала на полу. Хан засунул руку за отворот халата и вынул нож. «Грязная сука!» — сказал хан и добавил что-то на родном языке. По некоторым данным, пространщик ничего не ответил. Хан выбрался из-за стола и шагнул навстречу врагу, но покачнулся и сел на пол.

С первой минуты, едва только вошли в служебный коридор и навстречу показался пространщик Лыков, с первой же минуты он вызвал у Шуры неприятное и неприязненное чувство, нечто затаенно-недоброе показалось ей во взгляде Лыкова, в том, как он мгновенно и грубо раздел ее и словно навесил на нее этикетку с ценой. Нечто неуволнимо наглое было в самом голосе Лыкова, в его лакейском гостеприимстве. Впервые очутившись в волшебных чертогах, о существовании которых, как и огромное множество граждан, она не подозревала, наедине с ханом, превзошедшим самого себя и которому в этот раз она принадлежала целиком, безоглядно и до конца, она отряхнулась от первого впечатления, освежилась в бассейне, отдохнула после массажа; но, когда Лыков, провожая гостей в кабинет, где неслышные и невидимые руки уже приготовили для них стол, снова бросил на Шуру свой оловянный, мертвый, ничего не выражающий взгляд, ей стало не по себе, ее охватил страх.

Явился художник, или кто он там был, важная шишка, судя по всему — не важные сюда не пускали, — кудрявый, лысый, медоточивый; когда он начал под столом искать ее ногу, она испытала легкое отвращение, его присутствие забавляло ее, забавляло его идиотская уверенность, будто он уже близок к цели. С приходом Тициана Марковича установилось нечто лестное и щекотавшее Шуру, то, о чем впрямую не говорится, что напоминало дрожание воздуха в жару, то, что она ощущала все сильнее, но описать могла бы лишь грубо-приблизительно; в конце концов она оттолкнула его ногу и сидела, запахнувшись в бледно-розовый байковый халатик, ласкавший ее кожу, остро и отчетливо ощущая всю свою наготу, чувствуя, что и мужчины ни на минуту не забывают о том, что под халатом на ней ничего нет. Жестокая музыка женского тела, выпивка, острые яства распалили их, и, когда она вспоминала потом, чем это все кончилось, гнала от себя жуткое видение и снова вспоминала, то доходила даже до того, что думала: уж лучше было бы сделать как-нибудь так, чтобы уединиться со страшным пространщиком на одну коротенькую минуту и как-нибудь перетерпеть. Для нее было очевидно, из-за чего разгорелся сыр-бор, она как будто слышала те подлинные слова, которые прятались за словами, произносимыми вслух. В Лыкове, под его невозмутимым видом, под ледяным спокойствием, бушевали зависть и ненависть, и эта ненависть была не чем иным, как вожделием, утолить ненависть, собственно, и значило утолить похоть.

Так по крайней мере представлялось ей, когда она думала о случившемся, склонная, как всякая женщина, сводить все необозримое множество мелочей и нюансов к простому знаменателю. Была ли она права? Чтобы ответить на этот вопрос, надо исследовать истоки самого загадочного чувства, основополагающего чувства, универсального чувства, которое стало (заметим в скобках) в те времена чем-то уже почти равнозначным мировоззрению; и оно стало верой, и оно сделалось идеологией; нужно исследовать происхождение ненависти. Нужно решить, была ли эта ненависть возбуждена присутствием женщины, живой, и дышащей, и теплой, и казавшейся доступной, или музыка ее наготы была только поводом, так сказать, искрой, воспламенившей ненависть. Надо проследить, как копится, и нагнетается, и гонит стрелку вправо, к красной черте, потенциал ненависти — к чему? К кому? Ненависть стала самодовлеющей. Ко «всему»...

«Эй, кто там!»

Хан щелкает пальцами, хлопает в ладоши.

Но никого нет в соседних помещениях, персонал деликатно удалился, и в переулке в призрачном сиянии фонарей за рулем спит телохранитель. Пространщик вышел и воротился с табуреткой.

«Будем...»

«Будем».

«По первой не закусываю».

«Хм».

«А теперь я предлагаю поднять бокал за здоровье нашей очаровательной...»

«Давай за здоровье нашей очаровательной. Будем!»

«Будем».

«А ты, Лыков, запомни...»

«А мы, ваше сиятельство, все помним».

«Вот как?»

«Да-с».

Вилка выпала из рук Тициана Марковича.

«Кто-то к нам жалуется. Особа женского пола, хи-хи...»

Он ищет вилку под столом, находит плотно сжатые колени Шурочки.

«Очаровательная, алмаз моей души. Хочу к тебе в постельку...»

«Разбежался! А вот этого-того не хочешь?»

«Я завтра уезжаю...»

«Скатертью дорога, ваше ханское сиятельство».

«Ты что-то много стал разговаривать, Лыков. Твое здоровье...»

«Предлагаю выпить за здоровье нашей... Мы, люди искусства...»

«Мне тут делать больше нечего. Может, снова когда приеду».

«Умение ценить красоту, будь то красота нашей жизни, красота подвига, женская красота... предлагаю... Усуп...»

«Какой я тебе Усуп?»

«Усуп...»

«Ты сам усуп. Скажи, Лыков... Давно хотел тебя спросить. За что ты меня не любишь, Лыков?»

«Есть за что...»

«Как ты сказал, повтори?»

«Что слышали, то и сказал».

Тут — или немного позже, это не имеет значения — оказалось, что академик смылся. Не стало вдруг академика. Под шумок, так что они даже не заметили.

Хан:

«Значит, я не ослышался. Ясно. Люблю правду. Почему не пьешь?»

«Благодарим».

«Так. Значит, не хочешь». Он опускает тяжелую маленькую руку на ее бедро, Шура отводит руку, рука проникает между полами халата, гладит кожу. Шура сбрасывает его руку.

«А ты знаешь, Лыков, что я с тобой могу сделать?»

Пространщик спокойно:

«А ты, начальник, меня не запугивай. Я пуганый».

«Значит, мало тебя пугали. Я тебя, суку грязную, бесхвостую...»

«Юсуф, — пролепетала она, — успокойся...»

«Молчать! — крикнул хан. — Я вас всех вижу насквозь! Я всех могу купить, с вашими гнилыми потрохами! Вы на меня смотрите и думаете: черножопый. У-у! А вот я сейчас хлопну в ладоши, и вы все вокруг меня будете танцевать».

Вот тогда, кажется, это и произошло.

Скатерть свесилась на пол, валялись объедки, осколки посуды. С ножом в руках, раскинув ноги в домашних туфлях, хан сидел на полу и, очевидно, приходил в себя. Карие выпуклые глаза его пробудились. Он нашел взглядом пространщика, подобрал ноги и начал медленно подниматься. Пространщик ждал. Хан двинулся на Лыкова, тот вышиб нож из его руки и профессиональным приемом повалил его на пол. Блестящий череп хана степей брякнул о половицы. Лыков, сидя на нем верхом, обеими руками впился в его короткую мощную шею, готовый задушить хана, но в этом не было надобности: хан умер.

Шурочка, плача, щупала ему пульс.

Лыков поднялся, оттолкнул ногой табуретку.

«Так, — пробормотал он. — Очучурился?»

Она не отвечала, сидела на полу, в ужасе глядя на хана, на его могучий торс, раскинутые волосатые ноги, шлепанцы из кожи саблезубого тигра, свалившиеся с голых ступней, на его маленькие руки — знак родовитости.

«Ты кто такая будешь?»

«Медсестра», — сказала Шура.

«Вот что: ты успокойся».

Она сидела рядом с ханом, закрыв лицо руками, задыхаясь от рыданий.

«Слушай меня внимательно... Никто его не убивал, он сам помер. Хотел пойти в уборную, вышел из-за стола — и все. Никакой драки не было, ясно? Главное — не паниковать. Ты вставай, — сказал он и положил руку на ее плечо. — Вставай... Сходи за шофером. А я вызову «Скорую». Это мы уберем, — он поднял нож с пола, — это тут ни к чему...»

XVII. Лыков, или Свобода

Этимология слова «пространщик» темна, не исключено, что оно восточно-го происхождения; либо это контаминация двух слов: простыня и пространство. Служебным пространством Аркадия Лукича Лыкова были номера, издавна называемые семейными, позднее перестроенные и усовершенствованные, но служба как таковая мало о чем говорит, куда важнее было то, что Сандуны представляли собой его социальное и символическое пространство, своего рода ленное владение. Пространщик — лицо невидное, нена начальственное; начальства, любил говорить Аркадий Лукич, и без нас хватает. Ни выгод, ни привилегий, ни приличной зарплаты; разве что собирать чаевые да поплавать в бассейне после рабочего дня; словом, должность, которую может занимать всякий. И, однако, не всякий.

Сведений о происхождении Лыкова нет, если не придавать значения слухам, возводившим род Лыковых-Передреевых к легендарному основателю бань; однако все эти громкие слова, с некоторых пор вошедшие в моду, — кровь, происхождение, все это, может быть, годилось для какого-нибудь Олега Эрастовича, к Лыкову они не подходили. Прошлое Лыкова состояло из вопросительных знаков. Прошлое представляло собой дальнейшее темное поле, над которым стлался туман; возраст — сорок с гаком, близко к полтиннику, а может, и все шестьдесят. Был он, как можно предположить, выходцем из далеких мест, откуда-нибудь с Алтая или из-под Архангельска и, в сущности говоря, был человек без роду и племени, как девяносто девять процентов людей, толкающихся по тротуарам, хотя, с другой стороны, что-то выдавало в нем старого москвича. Лет шестьдесят — семьдесят тому назад он мог быть половым в трактире, пожалуй, мог бы и сам быть хозяином. Лет триста назад он был бы шишом или стрельцом. Аркадий Лукич Лыков был человек немногословный, малоприветливый, сдержанно-значительный и при этом совершенно незаметный; худой, сутуловатый, несколько постного вида; носил, как уже говорилось, кроме должностного халата, на шее потертую «бабочку» и сам казался каким-то стертым, словно жизнь прошла по нему наждаком; на левой руке не хватало двух пальцев, на безымянном пальце железный перстень, крашенные волосы прикрывали лысину.

Словом, человек простой — и непростой; и так же непросто было определить местоположение Лыкова в иерархиях нищеты, благоденствия или власти. Его бедность была маловероятной, а его благополучие — сомнительным. О его связях можно было строить столь же смелые, сколь и малодоказательные догадки. Бесспорно, его влияние простиралось далеко за пределы его служебной компетенции — пример того, что в философии именуется *extasis*, — но как далеко оно простиралось? Было ясно, что так просто его не раскусишь, но кто вообще был простым человеком в нашей столице? Лыков был одним из тех людей, у которых в глазах ничего не возможно прочесть, одним из тех, о ком говорят: «С него станется»; Лыков был чужая душа, о которой говорят: потем-

ки. Он не верил ни во что, а людей оценивал по одному признаку: можно ли на них положиться? Положиться можно было, впрочем, мало на кого. Лыков презирал начальство, богачей, нищих, работяг, интеллигентов, женщин, презирал книги и ученость и за истину признавал лишь то, в чем убедился сам. Убеждался же он всю жизнь в том, что мир стоит на трусости, клевете, себялюбии, предательстве и подлоге.

Человек он был на свой лад могущественный, но главная сила его состояла, быть может, в том, что он хоть и держался за свое место, хоть и дорожил своим положением, но лишь до определенной черты. За этой чертой он уже ничем не дорожил и ни за что не хватался. За ней начиналось то, что никакими другими словами не выразишь, кроме как: «Е...сь все в доску! На х... мне». Начиналось упоение абсурдом. Тот, кто однажды испытал это упоение, знает, что он выше других. Ибо знает: у каждого есть слабинка, у каждого тайный якорь, заветная святыня, а он откажется от любой святыни, коль скоро перейдена черта, махнет рукой на все и сорвется с любого якоря. Ибо он знает: нет способа злей надсмеяться над миром, чем надсмеяться над самим собой. Никто не дойдет до последней точки, а он дойдет, никто в последнюю минуту не окажется так страшно свободен, как этот раб, ни в ком абсурд не победит окончательно. А он в крайности пойдет на все, сожжет себя, с чудовищным матом раздерет грудь в порыве безумного вдохновения — вот он я, стреляйте. И он эту черту в себе знает и в душе презирает всех, и он прав. Таков был Лыков. Но мы отвлеклись.

Он снимал комнату где-то на окраине, прописан был по другому адресу, числился там дворником, хотя дом уже несколько лет как был снесен. Имел в Крыму (как утверждали) дом-дворец и еще имел заколоченную полуразвалившуюся избу в вымершей деревне под Рязанью. Получал, как уже сказано, скудный оклад, но зарабатывал прилично. В трудовой книжке именовался инженером банно-прачечного хозяйства. В райсобесе числился инвалидом III группы, а в военкомате — ветераном Отечественной войны. Имел два паспорта, в одном значился холостым, в другом стоял штамп о разводе и заключении нового брака; одна семья находилась в Рязани, другая — в Кемеровской области: жена, дети, мать жены и незамужняя сестра-калека. Лыков помогал всем, слал посылки, переводил деньги, но никогда с ними не виделся.

Следствие, разбираясь в паутине служебных взаимоотношений, не могло, разумеется, не столкнуться с тем фактом, что, будучи, как он сам себя аттестовал, последней спицей в колесе, Аркадий Лукич на самом деле руководил руководителями и начальствовал над начальством. Никто к нему иначе как по имени-отчеству не обращался, не исключая таких лиц, как главный администратор орденоносных бань, заместитель директора по хозяйству, заместитель по оргчасти и даже сам директор. Ибо не директор и не заместитель решали, кому положено заезжать в Сандуны с переулка, а кому не положено, и уж, ясное дело, не директор встречал именитых гостей. Любопытно вдуматься, что, собственно, значит слово «положено».

В словарях его истинное значение не зафиксировано, да и не мог бы никакой словарь передать всю гамму его нюансов. Между тем старожилы свидетельствуют, что это было одно из тех слов-устоев, которые равнозначны целым параграфам и достойны поэм. Не усвоив это слово, невозможно понять то главное, что было важнее всяких законов, на чем держалось общество, всю тончайшую систему психологических градаций, социальных рангов, невидимых глазу границ, которые решительно отделяли того, кому положено, от тех, кому не положено.

Рискнем заметить — раз уж зашла об этом речь, — что вопреки всяческим учениям не производство, а потребление определяет место человека на общественных качелях, вверх взлетает все то, что напрямую подключено к снабжению, все те, кто потребляет дефицитные блага, кому положено их потреблять. Внизу болтаются те, кому не положено. Почему — это вопрос настолько тонкий, что никаких общих правил тут не может быть: ни должность, ни заслуги

не решают дела, а решают знакомства и связи, и «рука руку моет», и «сухая ложка рот дерет», и «всяк сверчок знай свой шесток», тут важно и умение себя подать, и умение подольститься, и умение повелевать. Отчего, к примеру, не только директору ГУМа и директору ЦУМа положено было купаться в Сандунах, но и никаких постов не занимавшему Олегу Эрастовичу, и даже какой-то совершенно занюханной, безымянной личности в крытой толем сторожке на Тишинском рынке?

Но, когда после утомительного рабочего дня Аркадий Лыков снимал халат, манишку и «бабочку» — все это аккуратно складывалось в отдельный шкафчик, — когда, выйдя, он окунался в многоголовую, серую, обездоленную, вечно куда-то опаздывающую, что-то промышляющую толпу, он терял всю свою власть, ведь толпа есть нечто противоположное обществу, толпа признает лишь иерархию спешки. Одни мчатся, точно в спину им дует ветер, и тротуар уносит их на себе, как река, другие тащатся из последних сил, матери цепко держат детей, маленькие невзрачные женщины пробираются с кошелками, косясь по сторонам, точно воровки.

Лыков шел к подземелью на площади Дзержинского. Он даже стал меньше ростом, из-под изжеванной кепки выглядывали волчьи глаза, калоши и шлепали по мокрому тротуару. Путь неблизкий, метро с двумя пересадками и автобус. И было уже совсем поздно, когда он поднялся по темной лестнице, отпер дверь английским ключом и увидел свое жилище: мертвую коммунальную квартиру, четыре двери. Первая дверь направо принадлежала жильцу, который никогда не появлялся; во второй комнате жила мать-одиночка с двумя детьми, ей должны были дать другую жилплощадь, а на ту претендовал сосед напротив, но и его никогда не было; в комнате за четвертой дверью, возле кухни, помещался Аркадий Лыков.

Коридор с самой тусклой лампочкой под потолком, какую только можно было купить, был увешан счетчиками (каждый жилец хотел иметь собственный электрический счетчик), заставлен рухлядью; кто-то выезжал, барахло осталось, кто-то вселялся, но передумал; за людей представлялись вещи: деревенский сундук, картонные коробки, перевязанные шпагатом, одна на другой, и на самом верху детские санки; Лыков пробирался среди этих торосов.

«Опять в темноте сидишь», — проворчал он. Женщина, похожая на ребенка, или скорее ребенок в бабьем платке, услышав условный стук,пустила Аркадия Лукича в комнату. Он зажег свет, это была довольно затейливая люстра, и вообще комната производила смешанное впечатление бедности и богатства: низкая импортная кровать, полированный шкаф для посуды. На телевизоре шествие фарфоровых слонов. На стене висела перевязанная лентой гитара. Лыков поставил на стол сумку с продуктами.

Он пригладил редкие крашенные волосы, в зеркале был виден покаты́й стол, девочка сидела, съезжившись, придерживая платок под подбородком. «Ты ужинала?» Он складывал продукты в холодильник. Вышел на кухню, вернулся. Она сидела за столом. Она могла так сидеть целыми вечерами, годами.

Аркадий Лыков уселся напротив, наклонился и стал медленно выговаривать каждое слово, тщательно шевеля губами:

«Сними платок. Здесь не холодно. Сколько можно тебе говорить! Чего ты боишься, а? Тебя никто пальцем не тронет. Ты поняла? Я здесь, с тобой, поняла? — Она кивнула. — Я тебя в обиду не дам. Что мне с тобой делать? На работу брать с собой, что ли...»

Последние слова он произнес, говоря уже как бы сам с собой. Но она догадалась и помотала головой.

«Хочешь, сходим в театр. В театр, поняла? Где артисты играют, дерутся или там танцуют, тра-та-та-та!» Он жестикулировал, топал ногами. Она смотрела на него блестящими глазами, прыснула со смеху и покачала головой.

Он тускло взглянул на нее.

«Небось в деревню хочешь, в Кукуй».

Ее глаза округлились, она замотала головой.

«Ладно»,— вздохнул Лыков. Некоторое время его не было в комнате, а когда он вернулся с чайником и сковородой, маленькая женщина была без платка, рыжеволосая и веснушчатая, в платьице из сатина с воротничком и короткими рукавами, на столе разостлана белая скатерть, для Аркадия Лукича приготовлены тарелка, вилка, в хлебнице нарезан хлеб.

«Молодцом»,— сказал он бодро.

Она смотрела на него: круглые настороженные глаза, как у мыши. Лыков, прикрыв глаза, важно кивнул. Она проворно достала из полированного буфета хрустальный филигранный бокальчик, присела на корточки перед холодильником. Лыков принял из ее рук запотевшую бутылку, налил стопку, тяжело вздохнул, выпил. И принялся за еду. Она сидела напротив, по народному обычаю глядя, как он жует.

Немного погодя он заговорил снова, а она смотрела, подперев кулачками щеки и не отрывая глаз от его губ.

«Хочешь, в деревню поедем? Плюнем на эту Москву. И махнем куда-нибудь. Да не в Кукуй, а куда-нибудь получше. Километров этак за пятьсот. Купим дом хороший, крепкий... И заживем. Хорошо в деревне. На воле... Где я только не жил! — сказал Лыков, глядя сквозь нее.— А вот в деревне, в настоящей, глухой деревне, пожить не пришлось. Будем с тобой печку топить, тепло будет... Гулять будем ходить. Я тебе шубу куплю. Шубу, поняла?.. Снег. Чисто, тихо. На сто верст кругом ни души... Хорошо, а? Чем черт не шутит,— он усмехнулся,— может, ребеночка мне родишь».

Она опустила глаза, тонкой рукой взяла бутылку за горлышко и налила Аркадию Лукичу еще стопку.

После него поужинала-поклевала сама. Собрала со стола, Лыков вынес посуду на кухню. После этого еще немного посидели за столом, он курил, смотрел в пространство. Наконец поднялся, достал из шкафа чисто выглаженное белье и начал перестилать постель, была суббота.

Рядом с коммунальным сортиром у входа на кухню находилась кладовка, Лыков вытащил цинковую ванночку, бак, таз и кувшин, зажег газ на кухне; когда вода закипела, он внес в комнату бак с горячей водой, сходил с кувшином за холодной водой; стол был отодвинут, Лыков, в желтом японском халате с короткими рукавами, с серебряными иероглифами на спине, пробовал воду в ванне жилистой рукой с остатками вытравленной татуировки, рядом на табуретке стояли туалетные принадлежности. В комнате сразу стало жарко. «Банный день,— сказал он.— Давай, Оля. А то вода остынет». Девочка кряхтела и упиралась. «Ну-ка, держись,— пробормотал Лыков,— Бог терпел и нам велел...» «А-а!» — завопила она, когда Лыков, взяв ее под мышки, заставил шагнуть в ванну. Она стояла в воде, спиной к нему, судорожно перебирая ногами. Лыков плескал на нее воду ладонями.

«Бог терпел! И нам велел! Ух, ты! Хороша водичка. Все смоеет, все грехи! Боком ко мне повернись... Ну, кому говорю? — Она все еще стояла к нему спиной, но он знал, что она его понимает. Он заставил ее сесть на корточки. Она схватилась руками за края ванны, открыв рот, смотрела на воду потемневшими птичьими глазами.— Ноги вытяни. Садись, жопой садись! Ах ты, етить твою...» Вода выплеснулась на пол.

Она сидела в короткой ванне, ее голова, покрытая пеной, моталась в руках у Лыкова. Он скреб, взбивал, полоскал рыжие блестящие волосы. Он подал ей руку. Она терла глаза кулаками, пошатываясь, встала. Лыков мылил губку беспалой рукой. Руки Аркадия Лукича держали девочку, ловко и размашисто терли спину и ягодицы, проехали по ключицам, вокруг крошечных грудей, по впалому животу, с грубой нежностью мазнули между ногами, лицо его было мрачно, брови сдвинуты, маленькая женщина болталась и поворачивалась в его ладонях, как кукла. Она перешагнула из ванны в таз. Лыков лил на нее воду из кувшина, и девочка, свежая и блестящая, смотрела как зачарованная на свой живот и ноги. Вода раздевала и одевала ее в текучий и поблескивающий наряд. Девочка восстала из воды, как будто только что родилась и еще не умела говорить, и только кряхтела, когда Лыков обтирал ее мохнатой простыней. Он пе-

ренес ее, завернутую в простыню, на кровать. Когда все принадлежности и следы мытья были убраны, он сидел боком к столу под люстрой, перебирал гитарные струны и пытался напевать фальцетом: «Шел я и в ночь, и средь белого дня...» Девочка спала. Кто-то из их деревни говорил ему, что до пяти лет она умела разговаривать, пела песни; когда он с ней встретился, она уже молчала. Он думал: и к лучшему.

Деревня — десяток почернелых изб — носила нелепое название Кукуй, и, чтобы до этого Кукуя добраться, нужно было прошагать километров пять по насыпи, оставшейся после разобранной одноколейки, — самая опасная часть дороги, здесь могли увидеть, — а потом уже напрямик завьюженными болотами, утонувшим в снегу мелколесьем, через поваленные куртины, где черт ногу сломит. К числу профессий и должностей, которые переменял за свою жизнь Аркадий Лыков, принадлежала должность заведующего лесоскладом. Социальный космос лагеря мог вознести заключенного выше иных начальников. Кварталы леса, окруженные деревянными вышками и столбами, обтянутые проволокой, прорезанные просеками и усами дорог, трещали и падали, срезанные заподлицо, под пулеметный стрекот электрических пил, обрубились, отскабливались от коры: трещали и дымили заваленные лапником костры; высокие, как дома, штабеля бревен, жердей, свеженарезанных шпал, горбыля, досок и длинные, словно торговые ряды, штабеля дров тянулись по обе стороны железнодорожной ветки; издалека, с делянок, откуда тянуло, как порохом, смоляным дымом костров, из белой мглы тащились по ледяным колеям все новые возы с рудстойкой, тарником, шпальником, резонансной елью, авиасосной; скрипели железные санки, сцепленные крест-накрест стальной цепочкой, и лошадь, усердно кивая, вбивала копыта в лед, и заиндевелый возчик шагал рядом, проваливаясь в снег; укатчики, орудуя вагами, вкатывали наверх желтые лоснящиеся баланы, росли штабеля. Звенела и пела пилорама, и впереди, где виднелся паровоз, бригады грузчиков, в рубахах, дымящихся на морозе, в тряпичных рукавицах, с матом и уханьем катили бревна наверх по скользким лагам, с грохотом сбрасывали на платформы, и паровоз разводил пары, и сотни и тысячи фетметров заготовленного леса медленно уезжали в неведомые края. А в это время, да, в это время Лыков, носивший тогда другую фамилию, в шапке из настоящего меха, что говорило о его положении, сидел в избушке с железной трубой, в конторе лесосклада, за дощатым столом перед кипами рапортчиков, разнарядок и спецификаций, слуга-шестерка хлопотал возле раскаленной железной печки, на которой стояла сковорода со скворчащим салом, и кричал: «Дверь закрывай!» Так может сидеть за столом, ни на кого не глядя, тот, от кого зависят сильные. В клубах пара в контору вваливались бригадиры, нормировщики и учетчики, кирпичнолицые, с сосульками на усах и бородах, рассаживались, кто на скамьях, кто у самого стола, смотря по рангу.

Это было общество рангов, но опять же сами по себе ступень и ранг еще не решали дело. Не зря было сказано: социализм — это учет. Что означает: не столь важно производство, сколько оформление. Лыков мог, с шапкой в руках стоя в кабинете начальника лагпункта капитана Сивого, молча выслушивать капитанский рык, но при этом оба хорошо знали, кто от кого больше зависит. Мог называть технорука, как положено, «гражданин начальник», но оба знали, что начальником на складе был он, а не технорук. Высшей, хоть и неписанной обязанностью Лыкова было давать ежемесячное выполнение невыполнимого плана. Этим искусством он владел в совершенстве — искусством выкручиваться и выкручивать руки другим, рассчитывать, приписывать, недописывать, придерживать заприходованное, копить в заначку, натягивать шкуру, фабриковать туфты и выручать ленивое и слабоумное начальство. Со своим четвертным — а за что он его схватил, долго объяснять, проще назвать статью, 58-1б, что означает: измена Родине с оружием в руках, то есть, собственно, ничего не означает, кроме того, что в сорок первом под Вязьмой юнцом попал в плен, — со своим двадцатипятилетним сроком Лыков, вообще говоря, не мог занимать административную должность и, однако, занимал, не мог быть расконвоирован,

но имел в виде исключения пропуск за зону, в его формуляре значилось: «Использовать только на общих работах», — и тем не менее Лыков никогда не брал в руки лучковой пилы, не слышал лай бригадира, не стоял в утренней тьме в колонне перед воротами на разводе в слепящем свете прожекторов, не топал по шпалам, по четыре человека в ряду, в производственное оцепление, не вкалывал, не ишачил, не упирался рогами, не ел в вонючей столовой, не мылся в грязной общей бане, не спал на нарах, жил не в секции, а в кабинке вместе с помпобытом и завпекарней, носил летом настоящие сапоги, зимой настоящую меховую шапку и носил волосы на голове. Расстояние, отделявшее Лыкова от простого работника, было не меньше, чем расстояние от капитана Сивого до Лыкова, не меньше, чем расстояние от какого-нибудь третьего секретаря райкома до рабочего, и приближалось к расстоянию от Земли до Луны. Он мог запросто, хоть и вполголоса, послать подальше надзирателя, мог оставаться на складе после съема, мог, соблюдая необходимую осторожность, прошвырнуться в Кукуй, где у него был кое-кто.

Подобно многим тысячам и, может быть, миллионам людей Лыков усвоил непреложную истину: она состояла в том, что жизнь устроена наподобие театра. Существует сцена, существуют зрители. На сцене происходит действие: там играют постановку. На сцене все ненастоящее. Все притворяются, одеты не в свою одежду, говорят не то, что думают, вещи, кулисы — все поддельное. Настоящая жизнь, грязная и жестокая, происходит за сценой.

В театре надо притворяться, что принимаешь все всерьез; надо делать вид, будто во все это веришь, а главное, делать вид, что ничего не знаешь. Будто это и есть настоящая жизнь и никакой другой нет. Но на самом деле это не жизнь, а сплошная игра, ложь и притворство. Настоящая жизнь — это лагерь. И никуда от него не денешься.

От лагеря никуда не денешься. Они тут все думают, что лагерь где-то там, очень далеко, а на самом деле он здесь, рядом. Не успеешь оглянуться, и ты уже в лагере. Все равно что проснулся. Все равно как будто актеры перестали молоть чепуху, вынули из карманов настоящее оружие, спрыгнули со сцены и приказали зрителям строиться в колонну. Все, братцы. Пьеса окончена. Кто там не был, будет. Кто туда еще не попал, попадет. А кто уже побывал, попадет снова.

Дальнейшие известия о потусторонней карьере Аркадия Лукича Лыкова смутны, как вся его жизнь; с уверенностью можно сказать, что он не подпал под секретную амнистию изменникам Родины в пятьдесят шестом году, но не потому, что не был изменником — был или не был, это, как мы уже сказали, вопрос сложный, — а потому, что отдал концы. Приходится сделать этот неожиданный вывод, так как Лыков принадлежал к категории людей — кстати сказать, не такой уж редкой, — которые отдают концы несколько раз на протяжении своей жизни. Одни — бумажной смертью, другие — физической, но анализ этого феномена увел бы нас в теологические дебри. Как бы то ни было, дело обстояло именно так — умер: врезал дуба, откинул копыта, двинул ботами, накрылся, загнулся, надел деревянный бушлат... Удивительно богат наш язык, когда дело доходит до метафизических вопросов жизни и смерти. Можно ли существовать, не существуя? Можно ли купить новую жизнь ценою небытия? Тот, кто был, был уже не тот, кто стал. Собственно, после этого он и стал Аркадием Лыковым.

Обнаружилась колоссальная недостача. Заведующему она могла грозить вышкой, но это еще было не так важно. Главное — то, что всему руководству вплоть до начальника лагпункта фатальным образом ломался срок. Во всяком случае, такая опасность оставалась реальной до тех пор, пока Лыков был жив и мог дать показания. Такова в общих чертах имеющаяся версия.

И уже начало зловеще-неторопливо вариться дело, уже в воздухе потянуло паленым, пошел клубиться слушок, и оперуполномоченный, давно копавший против начальника лагпункта, вел подозрительные переговоры по телефону с оперчекотделом управления лагеря, о чем капитану Сивому доносил

дневальный. О том, как реагировал на эти новости Сивый, дневальный докладывал уполномоченному. Начиная с этого пункта сведения размываются и отчасти противоречат друг другу. Одно из двух: или сам Лыков придумал и предложил выход, или, что менее вероятно, идея принадлежала начальству. Либо Лыков пошел, что называется, ва-банк и предъявил Сивому ультиматум: дескать, мне терять нечего, я иду ко дну и вас всех потащу с собой; либо, если поведет, вся вина останется на мне, а вы сухими вылезете из воды. Отсюда следует, что начальство некоторым образом не оставалось в неведении относительно того, что готовится побег.

Либо, наконец (что уже совсем невероятно), Лыков, пользуясь все еще остававшейся у него властью и влиянием, действовал по собственному почину.

Был составлен акт о скоропостижной смерти и захоронении. Был ли этот акт заготовлен заранее или его сляпали на скорую руку, под влиянием внезапного наития, когда обнаружилось, что виновник исчез, неизвестно. Удалось ли убедить прибывшую из управления комиссию в том, что бывший завскладом был главным или даже единственным виновником, подкрепив эту версию дружеской выпивкой и приличной лапой, мы тоже не знаем. Но не все ли равно? В это время Лыков, с плотно примотанным нательным кошелем, где у него хранилась изрядная сумма денег, подложив под голову мешок с гражданскими шмотками, ехал в тендере под рогожей, присыпанный мелким углем. На рассвете состав с лесом подошел к станции, близ которой находился комендантский лагпункт; здесь кончалась лагерная ветка. Кочегар спрыгнул на землю. Сцепщик отцепил паровоз и пошел следом за патрулем вдоль состава. Кочегар вскочил на буфер и стукнул железным ломиком о борт тендера. Разбросав уголь, Лыков, черный от угольной пыли и обмазанный с ног до головы мазутом, чтобы отбить запах, высунулся и увидел удаляющийся патруль с собакой, а немного спустя уже качался в грохочущем полувагоне, скорчившись на полу тормозной площадки, на свирепом ветру. Состав шел в Заполярье, в северный порт, где лес грузился на океанские пароходы. С законной гордостью начальник управления говорил на отчетном заседании в министерстве, что отечественный крепеж стоит в английских, бельгийских, французских шахтах и еще где-то там. Но на Севере был другой лагерь, и вообще бегство за границу не входило в планы Лыкова.

Тот, кто занялся бы изучением лагерного фольклора, мог бы почувствовать в нем дыхание могучей традиции; центральным мотивом великого русского мифа о воле, нужно считать побег с концами. Бегство из крепостной неволи на Дон, в Сибирь, к великим рекам, побег с каторги по славному морю, бегство глухой, неведомой порой, звериной тайною тропой, бегство из зоны, из оцепления, из таежного, заполярного, степного и пустынного края; бежать, рвать когти, смыться, оборваться! Величие каторжного государства измеряется бескрайностью его просторов и тем, сколь исчезающе мала вероятность уйти с концами; и все же она существует. Но среди бесчисленных слухов, рассказов, дивных повестей о беглецах — кто из нас их не слышал? — есть легенда о том, как снедаемый непонятной тоской беглец возвращается. Спустя сколько-то лет Аркадий Лыков вернулся в края, почти ставшие для него родными, добрался до деревни, где не существовало времени, и женщина, которую он некогда навещал, встретила его так, словно они расстались на прошлой неделе. Как и прежде, она жила с дочкой и ветхой, выжившей из ума свекровью. Он подарил ей шелковое платье, конфеты, два круга копченой колбасы, дал пятьсот рублей деньгами и, не утруждая себя объяснениями, не оставив адреса, увез глухонемую девочку с собой.

XVIII. Возвращение

Итак, он поднялся по лестнице, открыл дверь английским ключом, пробрался между загромоздившими коридор вещами, вошел в комнату. Оттого,

что он устал, оттого, что позади был трудный рабочий день, оттого, что он вернулся домой, оттого, что он постарел, память превратилась во второе существование, жизнь в разных временах давно уже не была для него чем-то неестественным. Отряхнув снег с мокрых валенок, он вступил в темные сени. Нащупал коسو приколоченную, хлябающую ручку двери, подумал: надо бы прибить. И, нагнув голову, перешагнул через высокий порог.

«Это я,— пробормотал он,— опять в темноте сидишь...»

За столом сидела глухонемая. Аркадий Лукич зажег свет, хрустальную люстру с подвесками, с разными финтифлюшками — мог ли кто подумать, что он доживет до такой роскоши? Он поставил на стол сумку с продуктами, взглянул на ту, что ждала его целый день, и в который раз поразился сходству.

На столе стояла керосиновая лампа. Лыков сидел на пороге, словно странник или солдат, протопавший долгий путь, и в самом деле он шел долго, шагал по насыпи, пробирался мимо куртин. Хозяйка стянула с него рыжие, расширяющиеся книзу валенки, он разматывал почернелые портянки. Она развесила их сушиться на лесенке, стоявшей перед лежанкой, уложила на табуретку валенки, прислонив к печи.

Был вечер. Кот спрыгнул с печки и ходил вокруг, подняв хвост. Хозяйка стояла перед котелками, старуха слабо крикнула с лежанки: «Дверь закрывай!» — он сел на скамейку под полками с утварью, на кухонной половине, и начал стаскивать валенки. Все это повторялось с разными вариантами, как будто шарниры времени в мозгу проворачивались вхолостую. «Избу выстудишь!» — крикнула старуха. Встав, он приоткрыл дверь и захлопнул с силой. Хозяйка положила валенки на табуретку подошвами к печи.

Лыков остался в лагерных ватных штанах с завязками, в потной рубаше и босиком прошел по половикам на чистую половину, сел за стол, протиснулся к красному углу. На столе была разостлана чистая скатерть, на дощечке нарезан хлеб, тарелка, ложка, солонка, граненый стакан ожидали его. И сияла пузатая трехлинейная лампа, роскошь этих мест. Лыков, которого звали тогда иначе, сам доставал для них керосин у бесконвойного стрелочника на железнодорожной станции.

Этот стрелочник назывался комендантом, и в его обязанности входило топить три печки — в диспетчерской, в коридоре и в зале ожидания для вольнонаемных, сгребать снег с крыльца, ходить с фонарем по путям, чистить и заправлять керосином стрелки. И Лыков вспомнил, как он слышал, лежа под углом в тендере, перед самой отправкой, его голос и хруст шагов. Паровоз дал гудок, и состав — длинная вереница полувагонов, груженных лесом, — тронулся.

Она внесла дымящиеся щи, вернулась с запотевшей четвертинкой, налила, как всегда, полстакана и уселась, строгая и чинная, напротив. Лыков покосился на икону, взглянул на женщину, обвел взглядом низкие, тускло поблескивающие, заиндевелые окна за белыми занавесками, пробормотал: «Ну-с...» — тяжело вздохнул, медленно выпил, понюхал хлеб, взялся за ложку. Лыков взглянул на женщину, похожую на ребенка (она сидела, придерживая на шее платок, под люстрой в затейливых стекляшках, он поставил продуктовую сумку на стол), и увидел, что она изменилась, странным образом стала моложе и шире. Она поднялась и подошла к часам, чтобы подтянуть гири. От щей и водки ему стало жарко. Старуха кашляла на печи. Он потянулся и слегка хлопнул хозяйку по животу. Она уселась напротив. Лыков ел щи.

«Небось не мое».

«А то чье?»

«Кто тебя знает?»

«Не болтай»,— сказала она строго.

«На подсочку ходишь?»

Она работала в химлесхозе, делала стрелообразные насечки на деревьях, прибывала колышки и прилаживала воронки для сбора живицы. И еще подрабатывала, как все женщины в деревне, продажей водки из-под полы: покупала в сельпо, за десять верст, и носила солдатам и вольнонаемным.

«Какая подсочка зимой»,— сказала она.

«Кто тебя знает...»

Она внесла сковороду с жареной картошкой.

Лыков сказал: «Я знаю, к тебе тут один шастает...»

«Еще чего скажешь. Ну, чего болтать-то?»

«Солдатик один. Я его как-то встретил».

«Батюшки,— сказала она.— И как же?»

«Да никак. Прошли мимо друг друга, словно не заметили. Ему ведь тоже не поздоровится, если узнают».

«Он к Листратихе ходит. К ней все ходят».

«А к тебе?»

«Ладно болтать-то».

«Скажи прямо».

«Ну чего привязался?»

«А вот мы сейчас маманю спросим,— сказал он, усмехаясь. Еда была окончена, он курил самокрутку. Помолчали, потом он спросил: — Сколько еще осталось?»

«К весне рожу. Да брось ты тут дымить! — Она убирала со стола.— Вот взял манеру...»

Он набросил на рубашу ватный бушлат, нахлобучил шапку, сунул босые ноги в валенки, нагнувшись, вышел в сени. Затрещала дверь, Лыков выглянул на волю, была оттепель.

Он стоял на крыльце, и вокруг все было темно и глухо, смутно белел снег на углстых крышах, смутно светлела дорога, и тянуло свежей сыростью и обманчивой волей, и вдали под низким темно-белесым небом стоял, как застывшее войско, лес. Давно уже весь этот край с редкими, оставшимися от незапамятных времен деревушками принадлежал лагерю. Так пятьсот лет назад леса и деревни переходили от одного князя к другому, и люди не ведали, чьи они. Никто не знал, как далеко простирается лагерь. Где-то там всем распоряжалось начальство. Где-то что-то происходило, шли годы, и сменялись времена. А здесь всегда тянулся один-единственный год. И человек, продрогший на крыльце, досасывая сигарку, глядя на темное облачное небо, испытывал двойное чувство — неприютности и укурова, точно это небо, как одеяло, укутало их всех.

Как все старые заключенные, Аркадий Лыков и через много лет испытывал необъяснимую ностальгию по лагерю. Стирались лица, и путались имена, забывались названия полустанков железной дороги, каждое из которых было названием лагункта, но тоска по лагерю, как тоска по прошедшей жизни, не убывала: вот отчего он жил в двух временах. Память об этой ночи, когда он стоял на крыльце в наброшенном на плечи бушлате, внезапно всплыла и потянула его за собой, как утопающий тянет на дно подплывшего к нему. Как человеку, вернувшемуся с войны, мирная жизнь кажется ненастоящей, так вышедшему из лагеря жизнь на воле предстает поддельной и смехотворной («Посмотрел бы я,— думает он,— как бы вы заплясали в лагере»); и ему кажется, что люди играют в игру, смысл которой в том, чтобы притворяться, что лагеря нет; да они и в самом деле как будто забыли об этом. Лагерь, как лес на горизонте, окружал всех, другие не знали этого и не хотели знать, но Лыков знал; он всегда знал и помнил, что он бывший заключенный, и даже не бывший, а вечный — только как бы находящийся в отпуску; все равно что бывший граф, скрывающий свой титул; можно было числиться кем угодно, официантом, завхозом, «инженером банно-прачечного хозяйства», и ни на одну минуту не забывать о том, что ты граф; и он всегда знал, что тюрьма и лагерь дожидаются его, и он всегда чувствовал точку между лопатками, куда целится стрелок. Лагерь, как кол, сидел у него в мозгу, совершенно так же, как вся страна, что бы там ни случилось, так и останется как колом пригвожденная к лагерю. Лыков швырнул в снег окурок и вернулся в избу.

Он вошел в комнату, неся бак с кипятком, вышел и вернулся с тазом и большим синим кувшином с холодной водой. «Давай,— сказал он, заворачивая повыше рукава дорожного японского халата, и попробовал воду в ванне, точно собирался купать ребенка,— давай, Оля,— и взял ее под мышки,— вот когда

родишь мне ребеночка, сама будешь его мыть». Она сидела на корточках, он лил ей воду на голову, тер рыжие блестящие волосы, посадил ее на табуретку, сунул в руки гребень. «Уехать бы куда-нибудь верст за пятьсот, мало ли есть хороших мест, подальше от всего этого блядства, от этих гнид, этих, у-у,— он не находил слов, как их назвать, вынес мыльную воду, вернулся, налил свежую,— деньги есть, дом бы купили, где-нибудь на опушке леса, и жили бы да поживали, цветы бы развели. Никто нам не нужен, Оля, никто бы нас там не знал, и мы никого бы не знали. Становись в ванну, лицом, ну, кому говорят». Он мылил и тер ее мягкой варежкой, а потом сидел у стола и перебирал струны.

Был такой случай: приснилась церковь. Он шел кружным путем, не по главной дороге, где могли увидеть, а стороной, сам запутался, тропинка окончательно затерялась, он выбрался из кустов, зашагал напрямик через заросшее поле, и наконец вдали показалась деревня. Он решил, что побудет первые дни в старом доме родителей, а там видно будет. И тут ему попала на глаза церковь, никто ее не разрушил, крест сиял на колокольне. Было тихо, безлюдно, издали было видно, как качается колокол, но звона не слышно. Каждый сиделец знает: церковь — значит, выйдешь на волю. И наоборот: если на воле приснилась церковь — посадят. На другой день, в воскресенье, в самом центре города, в метро, Лыков столкнулся нос к носу с лагерным оперуполномоченным.

Лыков стоял у дверей и смотрел на желтые отражения лиц, поезд несся среди мелькающих огней, и в темном стекле из толпы других лиц на него в упор смотрел призрак, смотрело лицо человека, которого не могло быть и который — это было совершенно очевидно — был не кто иной, как тот, кто в далекие времена сидел в кабинете за двойной дверью, позади кабинета начальника лагпункта, в конце коридора, и от которого выходили через заднее крыльцо. Кум полысел и был в штатском.

Двери раздвинулись, Лыков бросился вперед, расталкивая людей, он знал, что при довольно высоком росте его легко увидеть в толпе. Он шагал, не оборачиваясь, и ждал, что зади заверещит милицейский свисток. У выхода на эскалатор стояли трое, здоровые лбы в макинтошах, он шел им навстречу и думал, что они поджидают его. Уполномоченный успел вызвать наряд, наверху ждала машина — все это он мгновенно вообразил себе; метнулся вбок, смешался с толпой, высыпавшей на перрон с противоположной стороны, нырнул в поезд. Там он протолкался до конца вагона, перешел на следующей остановке в другой вагон и проехал еще две остановки. Он был совершенно спокоен. На станции «Парк культуры» выходило много народу, два каких-то типа медлили, может быть, рассчитывая оказаться с ним в пустом вагоне; он выскочил, почти уверенный, что ушел окончательно, и оглянулся. Уполномоченный, в габардиновом плаще с развевающимися полами, догонял его, не вынимая руки из кармана пиджака. Оба запыхались и несколько времени молча шли рядом.

«Ну что, такой-то,— сказал человек в штатском, называя Аркадия Лыкова по фамилии, которой больше не было, не могло быть. Теперь она всплыла, как утопленник со дна омута.— Как поживаем, такой-то?»

Лыков молчал и шагал, глядя прямо перед собой.

«Куда ж ты помчался, старых знакомых не признаешь?» — продолжал уполномоченный.

Лестница повезла их наверх, вышли и остановились, пережидая поток машин.

«Не вздумай глупить,— сказал уполномоченный,— пристрелю на месте».

Вдали, на другом берегу, были видны гуляющие люди, купы деревьев и чертово колесо. Под огромными, уходящими вверх стальными плечами моста, слишком большого для реки, которая глубоко внизу неподвижно текла между каменными набережными, их влекла за собой толпа. «Куда же это мы?» — думал Лыков.

Вслух он проговорил:

«Меня нет, я умер, сгнил, ясно?»

«Интересная история,— откликнулся кум.— Выходит, значит, из гроба восстал. Бывает, бывает, все бывает... Гора с горой не встречается, а человек с человеком... А куда это мы, между прочим, топаем? Нам ведь в другую сторону».

Лыков остановился. И уполномоченный остановился.

«Слушать мою команду,— держа руку в кармане, сказал уполномоченный вполголоса.— Шаг влево, шаг вправо считается попыткой к побегу. Второй раз не убежишь».

Некоторое время они стояли молча. Люди обходили их. Уполномоченный вздохнул.

«Ну что... Может, пивка для начала выпьем? Ради встречи».

«Можно выпить»,— сказал Лыков.

«Вот это другой разговор. Когда еще придется пиво в Москве пить!»

Непонятно было, имеет ли он в виду себя или Лыкова.

Перешли мост и спустились с каменной лестницы.

«Только смотри у меня без глупостей,— предупредил оперуполномоченный, извлек удостоверение из внутреннего кармана, показал контролеру; оба прошли в ворота парка и остановились перед главной аллеей.— Ты как тут, ориентируешься?»

Лыков вспомнил, как они ходили в парк с Олей и катались на чертовом колесе.

«Вон у тетки поди спроси».

«Да нечего спрашивать,— сказал Лыков угрюмо,— я сам знаю...»

«Вали,— приказал опер, когда они отыскиали в пивном баре среди шума и гама местечко за столиком в углу.— И чего-нибудь пожрать».

«Еду заказывают»,— возразил Лыков. Он отмахнулся от тридцатки, которую протягивал ему уполномоченный, без очереди протолкался к стойке и вернулся с двумя кружками. Подошла пышнотелая подавальщица в короткой юбке, в кукольном передничке и кружевной наkolке.

«Чем порадуете?» — спросил кум, оглядывая официантку.

«Есть биточки, шницель».

«Отбивной?»

«Рубленый».

«А чего-нибудь получше?»

«Получше есть де-воляй со сложным гарниром».

«Чего?»

«Котлета такая,— сказал Лыков.— Есть можно?» — осведомился он.

«Отчего же нельзя есть? — сказала она.— Шеф-повар готовит. Из настоящего мяса».

«Неси твой дьяволяй»,— сказал уполномоченный.

«Салатик не желаете?»

«Давай салатик. Два салата».

Он взялся за кружку, отдул медленно оседающую пену.

«Ничего себе бабец,— сказал он.— Ты как, подженился?.. Ну-с. Со свиданием, что ли!»

Подошел человек неопределенного возраста и вида.

«Ик... Дык».

Никто ему не ответил.

«Здорово»,— сказал серый человек и протянул руку сначала Лыкову, потом уполномоченному.

«Пошел на х...» — буркнул уполномоченный и утер пену с губ.

«Все в порядке,— поспешно сказал человек,— я чего хочу сказать. Вот я про себя скажу... Дык! Закурить не найдется?»

«Кому сказано!»

«Ну чего, ребята, все нормально. Человек к вам по-хорошему... Вон все люди сидят, выпивают. Жизнь такая пошла, я тебе скажу! Э!..»

Он махнул рукой и уселся на свободный стул.

«Я повторяю,— сказал ледяным голосом уполномоченный,— считаю до трех...»

«Все нормально. Все нормально!»

«Ну чего надо? — сказал Лыков.— Тебе говорят: вали отсюда. Пока по шее не надавали».

«По шее, по шее,— сказал обиженно человек, который сам себя называл человеком.— Ты-то кто такой? Каждая вошь будет командовать. С-суки поганые,— закричал он,— жида, бля, еще угрожают, к ним по-хорошему, бля, а они!..» Он разгудывал между столами, Лыков поглядывал ему вслед, а кум смотрел в кружку, некоторое время спустя человек вступил в разговор с официанткой. Уполномоченный ковырял вилкой котлету де-воляй. Уполномоченный промолвил:

«Вот так. Гора с горой не сходится... Ты чего не ешь?»

«Как там Сивый?» — спросил Лыков.

«Капитан? Нет его. Давно в ящик сыграл. Спился».

Он добавил:

«У нас там большие перемены».

Официантка держала, как щит, перед животом пустой поднос. Компания за ближним столом повернула головы, кто-то встал, подошел к серому человеку и толкнул его в грудь. За него стали заступаться. В зал вошел милиционер.

«Думаешь,— медленно сказал, глядя мимо, уполномоченный,— я не знал?»

«О чем?»

Он взглянул на Лыкова.

«Да ладно дурочку-то играть... Что ты оторвался — думаешь, я не знал? Все знал... Да. Поторопился ты, такой-то... Потерпел бы еще лет пяток и так бы вышел».

«Выйдешь у вас»,— пробормотал Лыков.

«Эй!» — крикнул кум и щелкнул пальцами.

«Сколько с нас?» — спросил он.

Официантка писала карандашиком в блокноте, шевеля губами. Протянула листок.

«Ого! Ловко это у вас получается».

«Два де-воляй, два салата,— отчеканила она,— два...»

«Разговорчики в строю! — сказал уполномоченный.— А как бы это с вами свидание назначить?»

«Чего?» — спросила она.

«Я ушел оттуда»,— сказал уполномоченный.

Лыков спросил:

«Как это?»

«А так. Уволился из органов».

«Совсем?»

«Совсем. Тебе часом отлить не надо? Иди, отлей.— Он усмехнулся.— Когда еще придется...»

Аркадий Лыков встал и направился между столами к буфетной стойке. Он обогнул стойку, вступил в коридор и увидел заднюю дверь и крыльцо. Немного спустя он вышел, оглядываясь, из сарая, где помещался летний сортир, взглянул на небо, медлил, оперуполномоченный не появлялся. Лыков вернулся в зал. Но и там его не было.

XIX. Соображения по делу (1)

Скажут: все это сказки! Не бывает так, чтобы люди, которых случай или судьба столкнули в большом городе, волею другого случая оказались на одном погосте. Эрастович (умерший, кстати сказать, своей смертью примерно через год после описанных событий) рядом с ханом, хан возле Рубина и так далее; не бывает таких кладбищ. Не может быть, чтобы какие-то фантастические журавли загадили город. Если столица в самом деле приняла с годами несколько

запущенный вид, то на это были свои причины. Топография знаменитых бань, как она здесь описана, может вызвать недоумение. Фанерный дворец хоть и существовал на самом деле, но не был так великолепен. Теория Третьего Рима, на которую намекает автор, давно выкинута на свалку и так далее.

Так не бывает, скажут нам, и в этом возражении, несомненно, есть резон, ибо то, что случилось со всеми нами, в самом деле не бывает; то, о чем здесь рассказано, неправдоподобно, как неправдоподобна сама истина. К ее причудам нелегко привыкнуть. Истина не рождается, как Афина из головы Зевса, — скорее так, как рождается ребенок, когда головка ходит взад и вперед и растягивает и разглаживает родовые пути. Пусть простят нам это натуралистическое сравнение.

Как известно, римский наместник не стал дожидаться ответа на свой вопрос (очевидным образом риторический), между тем ответ мог быть двояким. Истина есть то, что не имеет ценности. Истина есть то, что не служит власти. Первое выражается в том, что истина демонстрирует человеку бесплодность его усилий. Вот, говорит она, что ты об этом думал, и вот что было на самом деле, — сравни и постарайся утешиться. Другими словами, с истиной нечего делать. Гони ее прочь, если хочешь чего-нибудь добиться! Подлинным утешением, однако, нам послужит то, что абсолютно свободного языка не существует и самый добросовестный историк не может возвыситься над историей. Его язык служит власти и сам являет собой наглядный пример власти. Язык равно порабощает самонадеянного хрониста и доверчивого читателя, ибо говорит им: так — и никак иначе. И только литература никому ничего не навязывает. Ибо говорит: может быть, так, может быть, иначе. В этом, как ни странно, состоит ее истина, в этом ее утешение. Таков второй ответ.

Заклучая этот короткий экскурс, мы не можем, однако, не упомянуть о роде литературы, для которого вера в единую и единственную истину необходима, — мы говорим о криминальной литературе. Увы, она остается единственным прибежищем этой веры.

Осенью 197... года в поле зрения следственных органов оказалась группа людей, чья принадлежность к единому преступному сообществу была заподозрена с самого начала, но окончательно раскрылась лишь в ходе кропотливого расследования. Необычайно разросшееся, осложненное множеством побочных обстоятельств это расследование, называемое условно «делом о Журнале» (хотя главный пункт, как уже говорилось, так и остался непроясненным, да и что там было прояснять: кучка людей пыталась спрыгнуть с тонущего корабля, захватив с собой глиняные таблички), было последним крупным делом тех лет, последним достижением оперативных инстанций и их последней неудачей. Знаки финала уже стояли в небе подобно светящимся письмам на стене Валтасарова дворца: их видели все, и стереть их было невозможно.

Следует указать на одно деликатное обстоятельство. Дознание, нацелившись было на подпольного предпринимателя, известного в узких кругах как «тот самый», вскоре изменило свой путь; так река огибает запруду. Дело в том, что некоторые из должностных лиц, под началом которых проводилось следствие, в разное время состояли — что тут удивительного — клиентами «того самого». Некоторые влиятельные чины были знакомы с ним лично. Попросту вычеркнуть Олега Эрастовича из материалов дознания было невозможно, он проходил по делу в качестве второстепенной фигуры, под кодовой кличкой «Виконт». Это дало возможность сосредоточиться в направлении главного удара. Выяснилась причастность Ильи Рубина (за которым давно уже велось наблюдение) через его любовницу к убийству в Сандуновских банях. Что же касается предприятия Олега Эрастовича, то позволим себе добавить — чтобы закончить с этой темой, — что тут замешаны были не одни только «чины».

Несколько известных и уважаемых лиц оказались жертвами собственного легкомыслия. (Кое-кто мелькнул и на этих страницах.) Среди них были: ответственные работники, директора, заслуженные артисты, даже, говорят, генеральный секретарь Союза писателей. Иные поплатились, кое-кому втихаря дали, как тогда было принято выражаться, «по шапке». Как всегда, нашлись лю-

ди, которым скандал был на руку. Но совершенно очевидно, что никто не был всерьез заинтересован в том, чтобы раздуть дело, тем паче раззвонить о нем. До нас дошли смутные слухи, сплетни, обрывки известий, полученных из вторых рук. Оставим их золотоискателям мнимых фактов — историкам.

Тут можно коснуться — теперь уже все можно — вопроса о том, в какой мере необходима и целесообразна нравственность с государственной точки зрения. С одной стороны, регламентация интимной жизни ответственных лиц, безусловно, необходима; тут не может быть двух мнений. Больше того, интимные потребности никоим образом не должны были выступать наружу, никаких таких потребностей не было. С другой стороны, то обстоятельство, что секретари, директора, государственные писатели, заслуженные артисты и *tutti quanti* были по большей части мужчины в соку, что под мундирами и пиджаками из негнущейся ткани, под колоннообразными, шуршащими дорогим материалом брюками, под трикотажными нижними панталонами у них скрывалось то же, что у простых смертных, — хоть и держалось в тайне, но не могло быть сброшено со счетов. Начальственный образ жизни, обильный стол, сидение в президиумах и в хорошо отапливаемых кабинетах способствовали приливу крови к детородным частям и вынуждали искать разнообразия. Наконец, о чем говорит опыт столетий, известная свобода правителей от прописной морали способствует моральному усовершенствованию подданных. В конечном счете она укрепляет государственный строй. И хотя государство рухнуло, оплакиваемое, как престарелый монарх, придворными, челядью и народом на площадях, но еще вопрос, протянуло бы оно так долго, если бы им руководили евнухи и аскеты.

Вернемся к делу. То, что оно должно из криминально-бытового перерасти в политическое, задумывалось с самого начала. Большое, разветвленное, обещающее богатый улов дело — наверху приободрились. Потирали руки: потянуло, что называется, свежатинкой. Оперативность органов, не зря называемых оперативными, проявилась в том, что они немедленно взяли быка за рога, другими словами, изъяли дело из ведения милиции. Исходным пунктом, как уже сказано, было убийство председателя Верховного Совета автономной республики, совершенное в субботу в восьмом часу вечера в номерах орденосных бань.

Республика хоть и чепуховая, однако титул председателя особенно подчеркивать не рекомендовалось, в следственных материалах убитый чаще значился под кодовым псевдонимом Хан. В том, что он был убит, а не умер своей смертью, следствие не сомневалось. В любом случае номенклатурная должность сама по себе определяла характер дела как крайне серьезный, сугубо секретный и, значит, подлежащий компетенции секретных учреждений.

Находившийся в субботу в тех же номерах с целью помывки и привлеченный в качестве свидетеля народный художник, вице-президент Академии искусств Т. М. Погорельский в беседе с начальником Седьмого следственного отдела подтвердил предположение о том, что нож находился не в руках хана-председателя, а в руках у банщика Лыкова. Таким образом, выстроилась рабочая версия: убийство совершено с целью ограбления, банщик угрожал хану ножом (о чем свидетельствовали отпечатки пальцев на рукоятке), а затем, отбросив нож, задушил его (следы пальцев на шее убитого). Главный подозреваемый исчез, что подтверждало его виновность. Ускользнули и лица, охранявшие председателя во время его визита в столицу и, по всей вероятности, подкупленные Лыковым. В воскресенье был произведен обыск на квартире любовницы председателя, которая оказалась сообщницей убийцы. Найденные при обыске улики говорили о том, что она замышляла вместе с ним совершить побег за границу.

Жильцы двенадцатизэтажного блочного дома, называемого «башней», потому ли, что архитекторы полагали, что башня — это любое сооружение, вертикальные размеры которого больше горизонтальных, или оттого, что хотели

хоть как-нибудь скрасить безрадостное градостроительство,— жильцы дома, похожего на гигантскую картотеку, на спичечный коробок и на все соседние дома, могли бы служить представительной группой для той обширной категории окраинных жителей, которую, за неимением подходящего термина, приходится называть чужестранным словом «феллахи».

Тут возникают экзотические ассоциации, перед глазами встают пески и верблюды. Феллахи не могли войти в город и расположились лагерем под его стенами. Между шатрами сновали босоногие женщины, дети копошились в грязи. Вдали в тучах пыли шагали все новые караваны, их подгоняли нужда, тоска пустынь, магнетизм города. Приблизительно так можно представить себе мифическую предысторию окраин.

Это было давно: десять или двадцать лет тому назад, срок, превосходящий историческую память феллахов. И они уже не помнили, откуда они вышли. Они говорили на диалекте, который представлял собой смесь родных наречий с жаргоном города. Они покорили город и пали жертвой его коварства. Их наивность обогатилась новыми свойствами: хитростью, жадностью, подозрительностью. От того, что они не были больше номадами, они не стали оседлыми жителями, ибо оседлость предполагает желание и необходимость благоустроить мир вокруг себя. Феллахи жили в своих квартирах, как в палатках. Мир, окружавший их, был таким, словно они собирались завтра его покинуть. Они взбирались к себе по грязным лестницам, ехали в шатких, гремучих коробках лифта; хмурые и нелюбимые, они выходили по утрам на свет Божий из разрушенных, пахнущих мочой подъездов. Нужда и беспамятство не оставили их и в новых, похожих на соты обиталищах.

Оттого что жильё этих жителей, собственно говоря, заканчивалось за порогом квартиры, никто, за исключением очень старых людей, не знал и не хотел ничего знать о соседях. Но старых людей было мало, потому что феллахи редко доживали до преклонных лет. Их враги, когда-то зримые и досягаемые, растворились в неразличимом космосе большого города; вот почему им не оставалось ничего другого, как подозревать друг друга. Можно было годами встречаться с соседом на лестнице и никогда с ним не здороваться. Ничто происходящее в доме никого из жильцов не интересовало. Никто не обратил внимания на служебный автомобиль, стоявший невдалеке от подъезда.

Выйдя гурьбой из лифта на последнем этаже, прибывшие увидели сложенную вдвое записку подруги, торчавшую между дверью и косяком. Значит, никого дома нет и не было. Участковый милиционер взломал дверь, как положено, в присутствии управдома, работника уголовного розыска и двух понятых. Квартира состояла из тесной прихожей, кухни, совмещенного санузла и жилой комнаты. Прозрачная штора колыхалась перед открытой дверью на балкон. После чего управдом, исполнив свой долг, удалился, а понятые уселись на диван-кровать, чтобы более не подниматься в продолжение всей операции.

Опытный глаз уловил следы бегства. В кухне на столе среди крошек хлеба стояла открытая банка с сельдью в винном соусе, очевидно, селедку брали пальцами прямо из банки. Посреди жилой комнаты на полу — пустой раскрытый чемодан. Всеобщий интерес возбудили вещи в шкафу. Находившаяся тут же подруга (вместе работали в терапевтическом отделении Краснопролетарской больницы) заявила, что хотя Невзорова всегда следила за собой, но таких платьев, переливающихся блестками кофточек, модных штанишек, сногшибательных итальянских туфель на шпильках у нее никогда не могло быть, не говоря уже об украшениях. По словам подруги, на одно такое кольцо не хватит никакой зарплаты. Есть ли у Невзоровой какой-нибудь муж, ухажер? Есть, вернее, был. Кто такой? Подруга махнула рукой: пьяница, куда-то сгинул. Насчет поклонников подруга высказалась в том смысле, что где уж там ожидать от теперешних мужчин, чтобы они дарили такие сокровища, сами норовят сесть на шею. Отвечая на вопросы, подруга поглядывала в трюмо и видела там себя, раздетую, как Шурочка, в пух и прах. Подруга подчеркнула, что она не подруга, а всего лишь знакомая. Она повторила, что Невзорова пропустила подряд три

дежурства, на звонки не отвечала, почему и пришлось идти к ней домой и оставлять записку.

Прервав этот предварительный допрос, следователь позвонил начальству, через четверть часа явился майор, увидел шкаф, увидел заграничные тряпки и ювелирные изделия и позвонил в особую инстанцию. Явились двое в штатском, отличавшиеся друг от друга только ростом. В воздухе почувствовалось что-то напоминающее близость высоковольтных проводов. Молча, отодвинув в сторону следователя и оробевшую подругу, приступили к поискам. Спустя полтора часа все, что можно было перерыть, оторвать, развинтить, было разворочено и развинчено. Были найдены дешевый картонный образок Тихвинской богородицы с неразборчивой надписью на обороте, два письма от мужчины без обратного адреса, со штемпелем города Тулы, школьный альбом со стихами неизвестных поэтов и растрепанная записная книжка с адресами и телефонами. Были найдены две фотографии молодой женщины во весь рост, на одной Шурочка была представлена совершенно голой, как бы застигнутая врасплох, с блестящим испуганным взглядом темных татарских глаз. И были найдены два чека на приобретение товаров за сертификаты.

Читатели криминальных романов знают, что ничтожная мелочь, окурок или пометка на газетном листе есть на самом деле ниточка, помогающая распутать клубок, и крючок, на который можно насадить, как большую рыбу на губу, все дело. Перелистывая записную книжку, представитель особого учреждения наткнулся на имя, которое он уже слышал. Знакомая исчезнувшей Невзоровой заявила, что она видела этого человека, он приходил в отделение.

Так история, казавшаяся не столь значительной, на глазах у присутствующих приняла таинственный, зловещий и знаменательный оборот. Тут же у подруги и ничего не понимающих понятых была взята подписка о неразглашении. Все документы и бумажки, включая нарезанную квадратиками бумагу в кармашке сортира, были собраны и уложены в портфель. Старый детский велосипед, стоявший на балконе и тоже по каким-то причинам привлечший внимание, был замотан в тряпье, перевязан и опечатан мастичной печатью. Драгоценности, а также кружевное белье, туфли и прочее упрятаны в черный мешок. Добычу с помощью понятых вынесли и сложили в автомобиль, квартиру на двенадцатом этаже опечатали.

В тот же день, чтобы не дать опомниться заговорщикам, с приготовленным ордером на арест, с соблюдением всех мер предосторожности, с противогазами и наручниками нанесен был визит пространщику Аркадию Лыкову. Вооруженный отряд высадился в Капустном переулке возле Преображенской площади. Но тут прибывших постигла неудача. Управдома на месте не оказалось. Ни номера дома, ни списка квартир; сунулись в подъезд, оказалось не то; наугад вошли в подворотню, какая-то старушонка ползла по двору. «А здесь такие не проживают!» Как это не проживают? Всезнающее ведомство в лице приехавших было откровенно посрамлено. Хуже всего было то, что дома такого, как выяснилось, не существует. Преступник все предусмотрел! Поиски затянулись, и к тому времени, когда было установлено подлинное местожительство Лыкова, он успел скрыться.

Дальнейшая судьба Лыкова неизвестна. Удалось ли ему и на этот раз уйти с концами? Говорили, что он вернулся, успев куда-то съездить, с кем-то повидаться. И даже не просто вернулся, а, по некоторым сведениям, явился добровольно несколько недель спустя, обеспокоенный судьбой девочки. Быть может, он даже не предпринимал особых мер к тому, чтобы уйти под воду, зная по опыту, что разыскивают лишь того, кто прячется. Прятался же другой, умерший и похороненный.

Он мог уехать куда-нибудь далеко. Необъятность страны, представляя особые преимущества в смысле того, что самое печальное положение дел можно было скрыть и как бы сделать несуществующим, имела свои выгоды и для подданных — владея известным опытом, в этой стране всегда можно было спрятаться. Тем не менее по другой, еще менее правдоподобной версии, Аркадий Лукич не скрывался и не являлся, но, если можно так выразиться, доволь-

становался сознанием, что он может обвести вокруг пальца любую псарню. Все в конце концов может надоесть, все покажется суетой и призраком; как сказал один философ, для тех, кто сумел погасить в себе волю, весь наш мир со всеми его солнцами и млечными путями — ничто. Лыков пробыл недолгое время в деревне, вероятно, той самой, которая ему однажды приснилась. Ночевал в заколоченном, полусгнившем родительском доме, потом гостил в Рязани у первой жены. Сидел и ждал, когда за ним явятся. Необъяснимая апатия сковала волю, точно он в самом деле умер при жизни. Так бывает.

Между тем, как уже было сказано, следствию удалось напасть на след, и отряд в том же составе взшел по лестнице хоть и старого, и невзрачного, но по крайней мере существующего дома. Звонили, стучали, приготовились вскрыть квартиру, наконец, услышали шаги.

Отворил облезлый человек в сатиновых штанах на резинке, не то пижамных, не то спортивных: сосед, жилец, никогда не бывающий дома. Коридор загроможден рухлядью. Молча показали ордер и бросились вперед, задев за коробки, сверху с грохотом что-то свалилось, санки или что там еще. Из-под двери бил дневной свет. Среди жуткого разора, в испарениях пота, на высокой кровати сидела рыхлая тетка, свесив ноги и прижимая съехавшее одеяло к груди, побелев от ужаса. Сосед лепетал что-то вроде того, что он здесь по большей части не проживает, нервно подтягивал штаны. Документы. Это кто? В гости приехала... родственница. Ньюша, где твой паспорт? Ньюша молчит, словно проглотила язык. Курская область, деревня Барсуки, тэк-с. Как же это так, здесь не живете, а гостей принимаете? Кто еще есть в квартире? Сосед оживился: сюда, пожалуйста. Давно говорил, надо их выселить.

На короточках сосед изучает замочную скважину, после чего откуда-то добывается ключ. Вваливаются: она сидит за столом, обняв деревянную куклу.

С этой куклой, которая на самом деле не кукла, а бог, который все слышит и запоем, и умеет насыпать порчу, и бережет от злых людей, струпа и беременности, девочка выходит на лестницу, облезлый сосед в штанах и майке, в тапочках на босу ногу, стоя в дверях, провожает их взглядом. Менее чем через полчаса машина, проделав сложный и вместе с тем на удивление короткий путь, подъезжает к подъезду, который никто никогда не видел, о котором можно спорить, существует ли он; и сейчас невозможно сказать, в каком именно здании, в главном ли доме, оваянном легендами, в его продолжении, уходящем в глубь клинообразного квартала, в старинном красивом особняке на западной стороне клина или еще где-нибудь, происходил допрос глухонемой общины.

Дом, если вам угодно будет взглянуть на старую карту, помещался там, где сходились две радиальных улицы, но до сих пор в литературе и в памяти очевидцев присутствуют разные представления о его размерах. Подобно тому, как Эверест долгое время принимали за две разных вершины, так как видели его с разных сторон, сооружение, о котором идет речь, можно было принять за совершенно разные дома, разной высоты, архитектуры и даже разного назначения, между тем как в действительности это был один и тот же дом.

Приходилось слышать такие объяснения: вот это «тот самый» дом, а вот это — министерство такой-то промышленности, а вот там — общество международной дружбы, клуб ветеранов, секретный научно-исследовательский институт или вообще хрен знает что. Между тем как это «хрен знает что» был все тот же дом.

Совершенно так же, как не было и нет единого мнения относительно географии этого здания, соединившего стили и жанры различных эпох — тут тебе и барокко, тут и модерн, и конструктивизм, и зрелый почерк империи, ее могучая неподвижная поступь, и дворец, и крепость, и коралловый остров, — точно так же расходились и сведения о его третьем измерении: вопрос, сколько в нем было этажей, остается по сей день открытым. Отчасти это связано с тем, что самый термин «этаж» не вполне отвечал конструктивному принципу этого дома; принцип, говоря общенно, состоял в том, что там все было так и не так, казалось одно, на самом деле было другое, а задумано было и вовсе что-то тре-

тье. Этажи состояли из полуэтажей, полуэтажи переходили в этажи, лестницы вели наверх, но также и вглубь, отчего дом напоминал свое отражение, только отражался он не в воде, а в земле, так что самые далекие подвалы и переходы уже соседствовали с теллурическими залежами, с кладбищами богатейшей, с археологией исчезнувших городищ, с ракушечником древних морей. Что касается крыши, то она была тоже своего рода этажом, но открытым сверху, с вышками, скрытыми за стеной, и прогулочными дворами для узников. Не в этих ли дворах, в бесконечном кружении парами, руки назад, в четырехугольнике стен, вызрела, так сказать, поэтическая концепция дома, возник совокупный образ, не доступный ничьей посторонней фантазии? Дом был, говоря языком специалистов, полифункциональным. Дом представлял собой гигантскую контору, тюрьму, лабораторию розыска, мозговой центр, делопроизводственный комбинат, там было все: помещения для научной и творческой деятельности, места работы и отдыха, рестораны, бары, быть может, даже танцевальные залы, быть может, комнаты для утех, а также палаты начальств, кабинеты для развлечений, кабинеты для совещаний, залы для митингов и собраний; дом, короче говоря, представлял собой город внутри города, а вернее сказать, государство в сердце государства; дом был не что иное, как гранитный и глиняный миф, но мифом из подсобных материалов оказалась, не правда ли, и сама действительность.

«Следствию известно,— сказал следователь, глядя в протокол: метод его состоял в том, что сначала он записывал, а затем зачитывал свой вопрос,— что вы хранили у себя на квартире бриллиантовое кольцо стоимостью ориентировочно в пять тысяч рублей, ювелирные изделия согласно приложенного списка, а также чеки на приобретение товаров за сертификаты на сумму восемьсот шестнадцать рублей сорок копеек... Подтверждаете ли вы факт хранения у себя вышеуказанных ценностей?»

«Как стало известно следствию...» — читал он.

Диктатура языка нигде не проявляет себя столь наглядно, как в диалоге допрашивающего и допрашиваемого, и не так просто решить, кто больше поработан языком: тот, кто обороняется, отступает, уходит от открытого боя, но в конце концов чувствует себя сломленным, понимает, что он все равно виноват, в любом случае виноват, независимо от того, будет ли доказана его вина, виноват уже тем, что находится под следствием, виноват, потому что его сделал виновным всевластный язык,— или тот, кого язык, так сказать, облакает в доспехи, чтобы сделать его крестоносцем истины. Язык, непререкаемость его формул, зловеющая двусмысленность словосочетаний правили действующими лицами совершенно так же, как драматург и режиссер правят актерами, будь ты герой или злодей. Спустя две или три недели после происшествия в Сандунах Александра Невзорова предстала перед следователем предварительно в качестве свидетельницы, или, если воспользоваться научной формулировкой, свидетельницы, подозреваемой в том, что она была свидетельницей, а отсюда, как известно, недалеко и от подозрения в соучастии.

Беседа происходила в помещении районного отделения, куда Шура была доставлена нарядом милиции, в кабинете, убогое убранство которого: зарешеченное окно, портрет над плешью следователя,— как бы должны были подготовить попавшегося к его участи. Не подлежит сомнению, что с точки зрения методологии, как и со всяких других точек зрения, выковыривание истины из подследственного требует соответствующей обстановки. В детективных романах и фильмах комиссар задает подозреваемому коронный вопрос: «Где вы были в пятницу с десяти до двенадцати?» — остановив его на улице, прогуливаясь с преступником перед теннисным кортом или сидя вдвоем за столиком кафе; позволим себе усомниться в правдоподобии таких сцен.

«Согласно полученных данных...» — прочел сотрудник милиции, который никаким сотрудником милиции не был, точнее, был просто «сотрудником», ибо принадлежал к более обширному и многоэтажному учреждению. Он снова употребил родительный падеж вместо дательного, что сообщало его стилю осо-

бую суггестивность. Ego sum Imperator Romanus et supra grammaticam,— заметил некогда один властитель,— я римский император и стою выше грамматики. То же самое могли бы сказать о себе чины этого учреждения.

«Кстати,— спросил он, несколько отвлекаясь от допроса,— где вы были?»

«В Туле у матери».

«Да, подтверждаю»,— записал следователь в графе «Ответ». После этого он составил и прочел вслух второй вопрос:

«Следствию стало известно, что сразу вслед за посещением бань вы покинули город и скрывались у родственников, проживающих в Туле, подтверждаете ли вы это?»

«Я не скрывалась».

«Это не имеет значения,— мягко возразил следователь,— важен факт, что следственные органы не были поставлены в известность о вашем местонахождении. Вы укрывались от дознания».

«Как же я укрывалась, когда...»

«Не будем спорить».

Он записал: «Подтверждаю. Следствием установлено,— читал он,— что такого-то числа сего года, от 17 до 20 часов вы находились в семейных номерах государственных, орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Сандуновских бань совместно с гражданином...» Тут он остановился, так как не знал, следовало ли ему называть председателя Верховного Совета его полным титулом или как-нибудь иначе и вообще стоило ли его называть. «С гражданином...» — повторил он и, собравшись с силами, произнес длинное красивое имя председателя.

«Подтверждаю»,— начертало его перо.

«Подтверждаете ли вы, что, вступив в преступный сговор с Лыковым Аркадием Лукичом, он же Передреев Матвей Михайлович, он же Куянов, разыскиваемый по всеоюзному розыску по подозрению как находящийся в бегах...»

Он остановился, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели эти страшные слова.

«Вступив в преступный сговор, вы совершили совместно с вышеупомянутым Лыковым...»

«Да я его знать не знаю»,— сказала Шурочка.

«Как же так: не знаете, а вместе выпивали...»

«Видела его, а знать не знаю. И как звать его, не знала».

«В том, что вступив...» — терпеливо сказал следователь.

«Не вступала».

«...в преступный сговор, совершили убийство находившегося совместно с вами...»

«Да что вы такое говорите! — воскликнула Шурочка в сильном волнении.— Никого я не убивала! Да и никто его не убивал, он сам...»

«Ну, хорошо,— сказал следователь миролюбиво,— напишем, что вы вступили в сговор с целью совершить убийство».

«Да говорю вам, никто его не убивал!»

«Заявляю,— написал сотрудник,— что, вступив в преступный сговор с целью убийства и ограбления...»

Он постучал папиросой о крышку портсигара, вдумчиво поглядел на сидящую перед ним женщину, перевел взгляд в окно, снова покосился на Шурочку.

«Курите? — спросил он, протягивая через стол портсигар.— Ну, хорошо,— проговорил он,— это все формалистика. Как говорится, бумага все терпит... Сегодня написали, завтра выкинули... Можешь подписывать, можешь не подписывать, твое дело. Я знаю, что никого ты не убивала,— сказал следователь, переходя на «ты».— Хотя, сама понимаешь, дело есть дело. Можно повернуть и так и сяк... Все, как говорится, зависит! Давай поговорим без протокола».

Он отодвинул в сторону папку с бумагами, вышел из-за стола, накинул на плечи шинель, висевшую на вешалке, подошел к окну. Лил дождь.

«Ты мне вот что скажи... Ты с Рубиным давно знакома?»

Первая мысль Шуры была действительно уехать к матери, но, когда она вышла с толпой из московского поезда — люди, навьюченные продуктовыми сумками, с сумками и кошелками в обеих руках, поспешно вылезали из вагонов, люди, занимавшиеся тем, что из года в год производили все необходимое для столицы и везли оттуда к себе домой все необходимое, запрудили перрон и подземный переход, — когда она вышла из поезда, она присела на скамейку в зале ожидания и просидела в углу в сомнениях целый час. Наконец, по-видимому, — мы говорим: по-видимому, потому что она делала одно, а думала другое, — наконец она решила, что разумней будет вернуться. Она изучала расписание поездов, посматривала на часы, прошло еще сколько-то времени. Начинало темнеть, когда она вылезла из трамвая на конечной остановке, в новом районе, где тот, кому она решила нанести визит, получил недавно квартиру. Дом был пятиэтажный, блочный, с узкими короткими лестницами, ей открыл усатый подросток лет пятнадцати, из кухни вышла жена преподавателя. Играло радио, пахло едой. Шура извинилась. Ее усадили в комнатке, где стоял письменный стол и еще что-то и висели полки с беспорядочно напиханными книжками. Преподаватель фельдшерско-акушерского училища был на работе.

Он отворил дверь, на лице его были ужас и растерянность. Шурочка что-то пролепетала. Жена позвала к столу. Шура отказывалась, ссылаясь на то, что она уже обедала. «Но вы же с дороги, — говорила жена преподавателя, — ну хотя бы ложку супа скушайте. Так вы, значит, ученица Михаила Ильича? Миша теперь замдиректора по учебной части. Работы все прибавляется. Света белого не видит... Теперь еще это новое постановление... Вы, наверное, слышали?»

«Какое постановление?» — спросила Шура. Жена преподавателя что-то говорила, ее слова доносились до Шурочки как сквозь вату.

«А это наш младший... Ну, как там у вас в Москве?»

«Куда же вы, рабочий день уже кончился», — сказала жена. Шуре требовалась какая-то справка. Шура сказала, что ей нужно сегодня же возвращаться в Москву. Преподаватель бормотал: секретарша... подпишу сам... может, еще успею. Наконец, вышли из дома. Шура озиралась. Ей казалось, что она находится в чужом, незнакомом городе. Он спросил: «Что случилось? Шура, что случилось?» «Да, — сказала она, — случилось». «Что? Что?» «Случилось, — повторила она тупо. — А куда мы едем?»

Приехали в училище. Она увидела знакомый фасад, вывеску, плелась по знакомому коридору, мимо досок с расписанием занятий, мимо канцелярии и деканата, навстречу им шла, переваливаясь, как утка, пожилая уборщица с ведром и шваброй, почтительно поздоровалась с Михаилом Ильичом. Когда они дошли до конца коридора, Шурочка обернулась, уборщица стояла с толстой сторожихой, обе смотрели на них.

В кабинете замдиректора по учебной части она все рассказала, то есть, разумеется, не все.

«Какой Юсуф?» — спросил он.

Она попыталась объяснить.

«Да, но ты-то тут при чем?»

«Это все произошло при мне».

«Где произошло?»

«В бане...»

«В какой бане? Ты была в бане, с ними вместе?»

Она пожала плечами.

«Я ничего не понимаю, — волнуясь, сказал Михаил Ильич, он ходил по тесному кабинету, а Шура сидела, съежившись, перед столом, как провинившаяся студентка. — Какая баня, какой Юсуф?.. Кто он тебе? Объясни по-человечески».

«Долго объяснять, — сказала Шура. — Надо что-то делать, а что, сама не знаю».

«Тебя разыскивают?»

«Откуда я знаю?»

«Так... Если я правильно понял, ты с ним... — Он вдруг раскашлялся. Стоял у окна и кашлял. Ты с ним,— прохрипел он,— была в близких отношениях?»
Шура снова пожала плечами.

«Так. То есть, собственно, что тут такого...»

«Он очень важная шишка,— сказала Шура.— В общем, долго объяснять...»

Михаил Ильич сидел за столом, давась от кашля, что-то искал в ящичке, вынул металлическую коробочку с пастилками.

«Я думаю, что тебе не надо прятаться,— сказал он, все еще тяжело дыша.— Ты же не виновата».

«Не виновата...»

«Так что...»

«Так что надо ехать!»

«Ехать? — спросил он.— Куда?»

«Домой, куда же?»

«А, ну да. Конечно».

«Есть поезд двадцать два ноль пять».

«Верно,— сказал Михаил Ильич,— есть такой поезд. Конечно, тебе надо ехать!»

«А что же еще остается?»

«Правильно... Что же еще остается? Я тебя провожу. Послушай, Шура, а что ты скажешь, если я...»

«У тебя снова астма?»

«Погода такая... Послушай.— Он все еще тяжело дышал, глаза блестящие.— Что ты скажешь, если?.. Короче говоря...»

Преподаватель взглянул на Шуру и сказал быстро:

«Давай на все плюнем».

«На что?»

«На все... Вот так: возьмем и плюнем на все».

«Да? — сказала она иронически.— И что же дальше?»

«Дальше? Дальше вот что!»

Михаил Ильич вытащил портмоне, перебрал содержимое, сунул портмоне в карман, встал, остановился перед Шурой.

«А ты совсем не изменилась».

«Нет, милый, изменилась...»

«Это верно,— бормотал он,— поезд такой есть... Только, кажется, не двадцать два ноль пять, а двадцать два ровно... Ровно в десять... А сколько у нас сейчас? Угу... Время еще есть. Послушай, Шура... Мы сейчас с тобой срочно едем на вокзал, там сберкасса работает до одиннадцати. Возьмем деньги. И пока-тим».

«Куда?»

«Куда-нибудь, не важно. Там решим... Послушай. Я сейчас кое-что понял, ты послушай... Я спокоен, Шура, я совершенно спокоен. Ты тоже спокойно меня выслушай. Ты меня не любишь, я знаю... Но преданней человека, это я тебе точно могу сказать, ты никогда не найдешь. Я... я ничего не требую. Не захочешь со мной жить, не надо... Я на все согласен... Я о тебе часто думал, Шура... Поедем. Поедем, Шура! — сказал он, как в бреду.— Ведь это счастье, Шура, это бывает один раз в жизни. Одним ударом: раз, и все. И никто нас никогда не найдет. Хоть к черту на рога, хоть... Главное — принять решение».

Он что-то искал, вытягивал ящички стола, вынимал бумаги, схватил со стола статуэтку, сунул в портфель.

Он бормотал:

«Сейчас поедем. Я позвоню с дороги... а может, и не будут звонить. Ничего никому не скажем... Плюнем на всю эту проклятую жизнь... Ты едешь со мной, Шура, да? Ты едешь?»

Она сидела и думала: опять то же самое. И он о том же.

Следователь выразил недоумение, увидев в руках у вошедшей посторонний предмет. «Не дает», — объяснила сопровождающая баба-сержант. «Как это не дает?» «Не дает, хоть руки отрубай».

Старший лейтенант пожал плечами.

«Паспорт есть? Сколько ей лет?»

Баба-сержант покачала головой и пожалала плечами.

«Где протокол обыска?»

Следователь сделал несколько добросовестных попыток завязать разговор, встал, прошелся по кабинету. Это была уже не та облезлая комната в тухлом милицейском отделении. Следователь подошел к сидящей, поднял пальцем за подбородок ее лицо и поглядел в моргающие, острые мышинные глаза. Вслед за тем надолго воцарились тишина и молчание. Слышался скрип пера.

«Как стало известно следствию... — писал старший лейтенант. — Подтверждаете ли вы...»

«Да, — начертала его рука, — подтверждаю».

Маленькая женщина, в целях предосторожности помещенная в противоположном углу кабинета, тупо смотрела в пространство, стрелка электрических часов на стене не спеша перепрыгивала с одного деления на другое, кто-то гремел сапогами в коридоре, следственный сотрудник скрипел пером. Так скрипят колеса, тащится телега, мотаясь в глубоких колеях, работает лоснящимся от дождя крупом усталая лошадь. Серый день лил за окном, за узорной решеткой, сыпал снегом, кто-то взошел на крыльцо, топтался в сенях, со скрипом, с пением отворилась разбухшая дверь, вошел худой и высокий, она услышала: «Есть кто дома?» — голос звучал у нее в мозгу, ибо снаружи она уже ничего не слышала.

«Следствию известно...» — писал старший лейтенант. Рыжая девочка взглянула на него, тихая, как притаившаяся мышь, губы ее шевельнулись, она медленно покачала головой. Хотела ли она сказать, что ничего неизвестно, или это надо было понимать так, что никакого лейтенанта не существует, и город-монстр, город-морок есть не более чем морок и наваждение, и за окном с чугунной решеткой нет ни домов, ни улиц, ни памятника посреди площади? Вместо города — ели, снега, сумрачно-белесое небо, угластые избы. Человек за столом писал, макал ручку в чернильницу. В этом учреждении пользовались особыми чернилами, никогда не бледнеющими. Стрелка прыгала над дверью. Со стены смотрел портрет. Теперь в окно летели крупные мокрые хлопья. Буран, подумала девочка.

Она не понимала, где она очутилась, зачем ее сюда привезли, и чувствовала, что происходит что-то плохое. Что-то грозившее Лыкову. Она так и не знала, как к нему относиться, как к отцу или к мужу, лучше сказать, он был не тем, не другим, но более значительным, таинственным и всемогущим. Сейчас положение изменилось, страх, в котором она жила, прошел, за себя она не боялась, чувствуя себя неуязвимой за глухой стеной своего слабоумия. Ведь это только казалось, что она сидит здесь в углу, в комнате с решетчатым окном.

Это сознание, погруженное в тишину, обладало способностью расширять пространство и суверенно распоряжаться временем; и покуда следователь ерзал на стуле и ничего не видел и ничего не знал, кроме своих бумаг, которые он медленно и с великим старанием исписывал скрипучим пером, девочка знала кое-что другое; она догадалась, что от нее хотели узнать, куда делся Лыков, и догадалась, куда он исчез. Он был там, под снежным одеялом, под шерстью лесов, миновал черные огни смерти, он был дома, вошел в избу, высокий, верный, немногословный, наклонив голову, переступил порог, и мать ворочала ухватом в черной, как пещера, печи, и бабка кашляла на лежанке. Она не понимала, что они тут затевают, кто это такие, ясно было, что они что-то затевают.

Как миллионы других и чуть ли не с молоком матери она впитала некое важное знание. Это было знание о том, где прячется враг, где скрывается опасность. Это было писание бумаг, особый злокачественный процесс, который состоял в том, что человек в мундире молча, сосредоточенно выводил закорючки, плел чернильные кружева, строчку за строчкой, перелистывал и снова

строчку за строчкой, и казалось, ничего больше не делал, а только макал перо и царапал им по бумаге, но это макание и царапание приводило к порче и гибели. Тот, кто писал, был страшнее разбойника на большой дороге, от разбойника можно было уйти или откупиться. Человек в мундире писал, а там где-то рушилась чья-нибудь жизнь, и огонь плясал в окнах, и занималась крыша, он писал, и у бегущего отнимались ноги, и его рвали собаки. Руки девочки баюкали куклу, губы шевелились, сама того не замечая, она раскачивалась, словно кормящая мать, маленькая таежная богородица, и время от времени бросала острый взгляд на лысого, испитого следователя в болотном мундире, низко склонившегося над папкой с делом... Бог с головой куклы напрягал свой деревянный слух, стараясь понять, чего она хочет.

Так прошло некоторое время, рука пишущего двигалась все медленней. Вздохнув, он снял трубку и велел принести себе чаю. Вошел человек, на лице у него было все то же выражение скуки и утомления. Старший лейтенант помещивал ложечкой в стакане, тусклым взором поглядывал в протокол, в окошко; на ту, что сидела в углу, он больше не смотрел, что возьмешь с полоумной? Вот только оформить бы протокол. Не помог и чай. Снег валил хлопьями за окном. Надо бы зажечь свет. Девочка укачивала свою куклу, грубого деревянного идола с раскрашенным лицом, и старшему лейтенанту казалось, что он сейчас уронит голову на стол и уснет вместе с куклой. «Следствию, — в мозгу у него ворочалась одна и та же фраза, — стало известно...» Он широко, сладко зевнул. Что стало известно? Снег стекал по стеклам, превратился в дождь. Надо бы, думал он, увести ее, жуткая какая-то погода...

Вступление в ночную квартиру происходит, как известно, по раз и навсегда установленным правилам, напоминающим шахматный дебют. Черные начинают и выигрывают. Первый ход: «Проверка паспортов». Второй ход: «Сдать оружие».

Если первое требование представляет собой ложный пароль, то второе имеет психологическое значение: разумеется, вошедшие не рассчитывают всерьез на вооруженный отпор; зато владелец несуществующего оружия догадывается, что в нем видят опасного врага. Следовательно, они что-то знают. Следовательно, он виновен, потому что зря они не приходят.

И все же оружие существовало — наган образца 1896/30 года — и даже существует по сей день. Наган с кобурой находился в письменном столе, в левом нижнем ящике, о чем Илья Рубин, конечно, не помнил, как не помнил и ночью-то визита; все, что он знал, было почерпнуто из рассказов матери, но рассказы-валось все это неохотно и сбивчиво, рассказывалось через много лет, когда кое-что успело выветриться. Когда она получила, наконец, внятный ответ, что отца нет, и окончательно убедила себя, что он жив. Почему при аресте не нашли револьвер? На это Берта Владимировна не могла толком ответить, очевидно, отец ждал, что за ним придут. Многие ждали. Эти времена превратились в какой-то обрывочный черный эпос. Квартиру перевернули вверх дном, распороли матрас, но не нашли. Она обнаружила его в таком месте, которое даже тайником не назовешь, но они его не заметили; так никогда не бывает, или, вернее, так бывает. Почему она его не выкинула, не отвезла куда-нибудь за город, не закопала в лесу, не утопила в колодце?

Потому что судьба вещей, подобно человеческой судьбе, темна и неисповедима, и «мало ли что»; потому что «вдруг пригодится» и потому что вещи мстят, вещи ждут своего часа, и вот он сидит в тесной комнатке, на дальней окраине, одной из тех окраин, которые, как опухоль, окружили умирающую сердцевину города. Из окна видны квадратные окна, балконы, веревки с бельем, другой такой же дом.

Илья Рубин выбирается из наследственного кресла, подходит к разверстой пасти рояля и стучит пальцем по клавишам. Без женщин жить нельзя на свете, нет. Союз нерушимый республик свободных!.. Вещи обладают колоссальным терпением, и упомянутый предмет лежит как ни в чем не бывало на черной полированной крышке.

Он подталкивает пальцем вороненый ствол. Пистолет вертится, как волчок, на гладком рояле.

Илья Рубин принимает решение навести наконец хоть раз в жизни порядок в своей берлоге. Сгребает остатки еды и выкидывает их в окно. Вдохнув, собирает ноты — старинные фолианты в тисненых твердых переплетах, напоминающих надгробья, все, что осталось от матери. Его собственные школьные тетрадки. Удостоверения, фотографии. Он поднимает крышку роскошного старого «Бехштейна» и складывает все в его чрево. И туда же, на молоточки и струны роаяля, летят «материалы». Плоды беззаветных трудов, пресловутый Журнал: вороха папиросной бумаги, магнитофонные кассеты, стихи, романы, трактаты. Он листает странную рукопись, толстую линованную тетрадь, где нотные знаки перемешаны с никому не известными закорючками, пушечные аккорды, чудовищный бред композитора, который собирался переплюнуть Малера. Музыка гнусной эпохи. Туда же!

Крышка не закрывается, но в этом и нет нужды. Без женщин жить нельзя на све-е-те, нет! В них солнце мая, в них весны расцвет. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Он обзрывает свое жилище. Под гробницей роаяля, на полу, помещается техника, говорящий аппарат; хорошо бы и его за окошко.

Илья Рубин полулежит в кресле, все собрано, или, если угодно, приведено в порядок; по его лицу видно, что он взвешивает разные возможности; он все еще здесь, все еще герой нашего повествования. Палец накручивает диск.

«Привет», — говорит Илья Рубин.

О, ничто не доставляло такого наслаждения гражданам того времени, ничему не предавались они с таким упоением, как беседам по телефону.

«Привет...»

«Ну, как ты?»

«Да ничего. Ты откуда звонишь?»

«Из дому. Слушай, — сказал Рубин, — хотел с тобой попрощаться. Я уезжаю».

«Куда?» — спросил переводчик.

«Ну, куда люди уезжают. Далеко».

«А, ну да. То есть?»

«Именно».

«Понятно... Когда?»

«Да вот сейчас. Уже барахло собрал».

«Ты что, разрешение получил?»

«А я без разрешения», — сказал Рубин.

«Ну, я так и знал».

«А ты поверил?»

«Нет, конечно. Что там делать?»

«А что здесь делать?»

«Здесь наша родина», — сказал переводчик, уверенный, что разговор подслушивают.

Илья сказал:

«Поехали вместе. Бери жену и любовницу».

Переводчик национальных литератур помолчал и ответил:

«Им там тоже нечего делать. Алё?»

Короткие гудки.

Среди стука, звона, кукования и тиканья задребезжал звонок; часовых дел мастер прошлепал из лаборатории на кухню, приложил трубку к волосатому уху.

«Как же, как же, — сказал он, — сколько зим».

«Августин Иванович, у вас мало времени», — сказала трубка.

«У всех у нас мало времени, уважаемый... Чем могу служить?»

«Я подумал, э... Собственно, надо бы поговорить, но, к сожалению...»

«Детка моя, ближе к делу».

«Я затрудняюсь точно сформулировать свою мысль, надеюсь, вы поймете: у меня имеется свободное время. То есть не в таком смысле, а в смысле жизни. В общем... у меня есть еще, наверное, лет двадцать».

«Я слушаю»,— насторожился часовщик.

«Так вот, я и подумал... Не хотите ли воспользоваться?»

«То есть как? А вы?»

«А мне больше не нужно».

«Позвольте: вы хотите...»

«Ну да. На хера мне. С меня достаточно».

«Вы уверены? Хм. Те-те-те, постоит-ка, постоит-ка... Очень интересно! Оч-чень даже инте-ре-сно. Полодотворная мысль! Как это вы додумались!

«Вот так. Решил вам позвонить».

«Дорогой мой, только не спешите. Мы должны это обсудить. Приезжайте.

«К сожалению, невозможно, Августин Иванович, дело в том, что...»

«Никаких возражений, приезжайте немедленно! Алё?»

«Да»,— сказал Рубин.

«Практически это будет довольно сложно... мне надо сообразить... да. Можно, конечно, подключить аккумулятор непосредственно к биологическому депо времени, у каждого из нас есть такое депо, так сказать, кладовая будущего. Но это, знаете... Для этого, я думаю, придется лечь в клинику. А вы же знаете, как ко мне все относятся... Одним словом, надо обмозговать. Но послушайте, как вы додумались?»

«Августин Иванович... может быть, заочно?»

«Что значит заочно, алё! Что вы хотите этим сказать?»

«Я говорю: может быть, это можно сделать без меня. Я вам оставлю доверенность, напишем, что я оставляю эти двадцать лет в пользу государства».

«Не понял».

«Чего ж тут не понимать: вы же сами говорили, что хотите продлить ему жизнь. Пусть поживет еще двадцать лет».

«Вы что, смеетесь? Доверенность. Милый мой, это вам не бюрократия. Это наука! Наука, знаете ли... алё? Алё!»

Покопавшись в карманах, человек в застиранном джинсовом костюме добыл карточку, на которой значились только имя, отчество и фамилия.

Голос из мистических недр отозвался:

«У аппарата».

«Товарищ майор?» — спросил Рубин.

«Кто это? Вам кого надо? А-а! — закричал майор.— Илья Такоевич! Рад вас слышать. Как дела, как жизнь?»

«Дела идут. Вот хотел с вами попрощаться. Пожелать успехов...»

«Позвольте,— сказал майор,— что это значит?»

«То, что слышите».

«Да, но... Вам известно, что вы не имеете права покидать город без разрешения?»

«Я не собираюсь покидать город»,— отвечал Илья Рубин.

«Так в чем же дело?»

Рубин молчал, оглядывал свою каморку.

«Алё? — осторожно спросил майор. И вдруг гаркнул: — Не смей! Не смей ничего делать! Ничего не предпринимать! Ждать моего прибытия! Выезжаю немедленно! Ты меня понял? — кричал он.— Ты — меня?.. Понял?»

«Так точно, товарищ майор!» — отчеканил Рубин. Насвистывая, он встал, взял с подоконника спичечный коробок и поджег содержимое рояля. Это удалось не сразу, он ворошил листки, раздирал на части нотные книги. Вспыхнула магнитофонная пленка. Столб огня поднялся из рояля. Кашляя от вонючего дыма, Илья Рубин, великий Рубин, легендарный Рубин, сидит, сгорбившись, в дедовском кресле, расставив ноги в джинсах, расстегнув куртку, изо всех сил давливая холодное дуло между ребрами, над левым соском, и странным образом, нажав на спуск, не ощущает боли, не слышит выстрела.

XX. Соображения по делу (2). Философия прогулочных дворов

Шел дождь, и весь огромный город заволокло паутиной, смутно поблескивали крыши, исчезли башни и высотные дома, дождь стучал все настойчивей, тротуары опустели, счастлив, кто успел добежать до подъезда! Дождь лил без разбора, пузырился в потоках воды, и это было хорошо, это было полезно, вода уносила вчерашний день, смывала грязь веков.

Никто так плохо не осведомлен о своем времени, как тот, кто в нем живет. Не скроем — мы бы хотели узнать о нем больше, нам до смерти любопытно узнать, что скажут о всех нас когда-нибудь через сто, двести или триста лет. Скажут ли вообще что-нибудь? Что будет? Что останется на месте нашего государства? Окажись мы там, мы узнали бы многое, о чем теперь даже не подозреваем. Глядя оттуда, мы не узнали бы нашу эпоху.

Это было бы все равно, как если бы протерли мутное стекло, о котором говорит апостол. Это было бы то же самое, как если бы мы сейчас смотрели на происходящее глазами рыбы, а оттуда, из будущего, взглянули человеческим взглядом.

Большая часть того, что мы считали главным и самым важным, провалилась бы в огромный стульчак истории, в воронку веков. Знаменитости исчезли бы в урчании вод. Лица слились бы в одно бесформенное пятно. Как два далеко отстоящих друг от друга предмета на расстоянии кажутся стоящими рядом, так две мировых войны оказались бы одной тридцатилетней войной.

Потомки наши пожмут плечами, узнав о том, что нас так занимало, но, может статься, с уважением отнесутся к тому, что мы презирали, чем пренебрегли, чего попросту не заметили. Ибо никто так мало не знает о своем времени, как тот, кто в нем живет.

Наш город будет называться иначе — мы не сумели бы даже выговорить его название, наш век будет назван эрой Дракона, Скорпиона или, может быть, Нырьющей Утки, или Журавлей в небе. Его знаки отыщутся в отдаленных созвездиях, между второстепенными персонажами греческой мифологии. Мало что дает основание рассчитывать на вечную память. Ничто не обещает бессмертия. И все же рискнем предположить, нет, выскажем уверенность, что хотя бы одна разновидность бессмертия выпадет на нашу долю, одно достижение нашего времени переживет и всех нас, и наше государство. Одно останется, когда ничего не останется, и будет качаться, как плот Медузы, на поверхности вод, когда все уйдет на дно. Наш век будет назван веком тайной полиции.

Пришлось-таки прогуляться на ее крышах. Могло ли быть иначе? Оказаться в ее объятиях, «в поле зрения», было так же просто, как поскользнуться в грязной каше тающего снега на тротуарах. Так же легко, как встретиться в подворотне с бандитом или заболеть раком. Поистине ни великий Диоклетиан, ни подлейшие из последних властителей Рима не сумели создать столь совершенную систему сыска.

Скажут: да ведь мы это знали! И, значит, постигли все-таки свое время, его тайную сердцевину, его нерв. Знали и не знали. Догадывались и не хотели верить. И если думали, что тайная служба бессмертна, то потому, что считали бессмертной державу, и, согласитесь, не подозревали, что тайная служба переживет все — и державу, и общество, которое она создала и выпестовала примерно так, как должны были это делать географические условия, климат, производительные силы, борьба классов, религия, мораль и что там еще надлежало считать движущей силой истории.

Летопись тайной полиции не написана. И не будет написана, ибо мы не полагаем сверхъязыком, который позволил бы нам, находясь внутри полицейской цивилизации, взглянуть на нее извне. Мы все ее воспитанники и говорим ее языком. И все же мы догадались о главном свойстве тайной службы, о том, что она всегда больше самой себя. Пусть она возникает как учреждение с ограниченной компетенцией, как «служба» — ее натура состоит в том, что она перерастает себя. Тогда она начинает бояться самой себя. Она смотрит на себя снизу вверх, говорит о себе в третьем лице.

Подобно церкви, всегда проводившей границу между своей исторической оболочкой и сакральной сущностью, между слабостями и ошибками иерархов и верховной волей, которая их осеняет, тайная полиция не потерпела ущерба от того, что ее служилый контингент составляли подонки общества. Ее всеилие не убавилось, когда она стала рекрутироваться из бездарных, невежественных и, как можно догадываться, ни на что другое не годных людей. Напротив, это укрепило ее могущество, ибо отвечало ее миссии. Ведь она должна была стать эталоном для общества и пересоздать общество по своему образу и подобию. Низвести всех до своего уровня — вот в чем было ее предназначение. Растлить всех, от младенцев до старцев, упразднить личность как нечто — кто усомнится в этом? — архаичное, устарелое, путающееся под сапогами; покончить с достоинством человека, внушить ему презрение к самому себе, довести до сознания любого и каждого, что он ничего не может, ничего не стоит, что он — мразь, плевков, который будет растерт. Убедить всех и каждого, что зло — это добро, а добро — не что иное, как зло, и что преступником можно сделать любого; стоит только мигнуть — предателем станет каждый.

Низвести всех до своего собственного уровня. В этом состояла сверхзадача, это и значило создать общество будущего и выковать нового человека. И если, как утверждают, отцы-основатели этого не сознавали, то тем хуже для отцов; пущенная однажды в ход машина работала по собственным законам; и если ни одно из «дел» не отвечало действительности, то тем хуже для тех, кто был сварен живьем в котлах этой кухни, тем хуже для «действительности», — да и что в самом деле значило это слово? Ее критерии учредила все та же тайная служба. Институты такого рода эволюционируют подобно живым организмам, и сверхбюрократия сама превращается в колоссальный убудочный мозг.

И мы, и мы удостоились быть ее современниками!

Мы сравнили ее с церковью; не правильной ли, однако, будет сказать, что тайная полиция — это и есть церковь? Церковь, которая пасет железным посохом свое стадо, церковь со своим писанием и преданием, со своей мифологией и демонологией, с легендами о святых и мучениках, с рассказами об оборотнях, диверсантах, вредителях, злодеях-врачах. Церковь со своими таинствами, со своей иерархией, церковь шизофреничного божества, отменившая все другие религии, веру в Христа, в Будду, в Бога без образа, вкуса и запаха и бога в облике деревянной куклы.

Тот, кто шагал с напарником по прогулочному двору, на крыше, не видел города, и если бы даже чудесный храм-дворец, затмив Египет и Вавилон, воздвигся на самом деле, а не на фанерном щите, тот, кто шагал по прогулочному двору, не увидел бы и храма: так были устроены эти дворы. Он видел лишь стены и сторожевые вышки внутри стен; и не всегда догадывался, что внизу за стенами — площадь, памятник, пешеходы, автомобили, все то, что он считал жизнью и что теперь оказалось призраком жизни; он видел над собою небо и нечто подобное темному облаку — приближение истины.

Не зная истины, он уже дышит ею.

Но время идти, как сказал Сократ; вам, чтобы жить, мне, чтобы умирать; избежать смерти нетрудно (продолжал он), а вот что гораздо труднее, так это избежать душевной порчи. Время разбрасывать камни — собирать их будут другие. Шумит дождь над городом, пузырятся ручьи. Вода смывает прошлое, а что будет после нас, о том ведают только боги.



Интервью автора самому себе

– *Après nous, le déluge. Эти слова приписываются маркизе де Помпадур. Почему ты назвал роман «После нас потоп»?*

– Потому что «после нас» в самом деле произошло нечто вроде наводнения, история вышла из берегов и затопила прежнюю жизнь, которая сегодня кажется допотопной.

– *Что заставило тебя снова ворошить эту древность, что тебя еще мучает в этих ушедших семидесяти годах?*

– Я не собирался писать исторический роман, и для меня эти годы совсем не ушли, не говоря уже о том, что в книге немало анахронизмов, допущенных отнюдь не по небрежности. Разумеется, живя вне страны, я не могу писать о том, что происходит сегодня. Но и будь в Москве, я не смог бы описывать то, что видел бы за окошком. Я не умею и не хочу быть злободневным писателем; к тому же, как мне кажется, быть своевременным в литературе – совсем не то же, что быть современным. Литература всегда опаздывает; она живет памятью, а не увиденным только что. Для актуальных эмоций существует газета.

– *Может быть, будет проще, если ты объяснишь в двух словах: о чем эта книга?*

– В двух словах невозможно. Когда Гете (отважился на такое сравнение) спрашивали, что он хотел сказать своим «Фаустом», он пожимал плечами. Я надеюсь, что мое сочинение можно толковать по-разному, потому что роман, смысл которого вполне однозначен, – плохой роман...

– *Тем не менее эпиграф – а у тебя их даже два – должен навести читателя на определенную мысль, но так ли? Предложи свое собственное толкование.*

– Латинские стихи принадлежат Намациану, христианскому поэту V века, давно уже не читаемому, известному, пожалуй, только специалистам. Свою поэму, от которой целиком сохранилась только первая книга, он написал, уезжая из Рима в Южную Галлию, откуда был родом.

– *«Я целую твои ворота, обливаясь слезами...» Возникает подозрение, что автор прощается с Россией. Это правда?*

– В каком-то смысле да.

– *Значит, Рим – это...*

– Это не Россия.

– *Но ты же явно хочешь внушить читателю мысль о сходстве между далекой Римской империей и Советским Союзом, этой новой империей XX века. Что это: дань моде, желание указать на историческую закономерность развития тиранического государства или все же причины распада современного третьего Рима были иными?*

– Я вне моды. Вдобавок каждый, кто знаком с классической древностью, понимает разницу времени, географии и судьбы. Если, однако, мы договоримся, что будем называть империю обширное территориально-государственное образование, объединившее и подчинившее себе множество народов, культур, религий, громадный массив суши, управляемый из единого центра на военно-дисциплинарных и авторитарных началах, если мы вспомним, что Рим и Византия были государствами (или сверхгосударствами) такого типа, то придется признать, что к этому архаическому типу принадлежала и наша страна, не важно, идет ли речь об императорской России или о Советском Союзе. То, что СССР наследовал в этом смысле старому режиму, то, что большевикам удалось продлить существование обреченной империи еще на семьдесят лет, я полагаю, не может быть оспорено... Возможно, мы не вполне отдаем себе отчет в том, что обвал Российской империи – происшествие такого же масштаба, как и крушение Римской империи в IV–V веках. Но и римляне не осознавали смысла того, что совершалось на их глазах.

– *Ты скорее «западный» писатель, а между тем твоя точка зрения на развитие национальных окраин Советского Союза за счет центра, в том числе в вопросах культуры, напоминает рассуждения почвенников и славянофилов. Как объяснить такое совпадение?*

– Я могу представить себе, что если бы я жил, к примеру, в одной из бывших азиатских республик, мне было бы неприятно слышать утверждение, что центральная власть принесла с собой не только угнетение, но и железные дороги, университеты и пр., или что одно неотделимо от другого. Но мы говорим о романе, и я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы сказать о моей литературной манере, о том, что ты назвал «точкой зрения», чья, собственно, точка зрения может быть предметом критики? В этом романе, как и в других моих вещах, много рассуждений, дело весьма обычное в литературе нашего века. Только в отличие от того, что в России именуется эссеистическим романом (Брох когда-то говорил о «полигисторическом романе»), философствования в моих беллетристических сочинениях принадлежат, собственно, не автору, сидящему за компьютером, не тому человеку, с которым ты сейчас имеешь удовольствие или неудовольствие беседовать, а некоторому условному повествователю, который встроен в художественную систему романа. Ведь не зря повествователь становится в одном ме-

сте (в XI главе) действующим лицом. К его рассуждениям вовсе не обязательно относиться как к авторским декларациям. Напротив, ирония, которая, я надеюсь, в них чувствуется, несмотря на их доктринерский тон, – если угодно, определенная доза идиотизма – релятивирует все заявления и утверждения и дает автору возможность дистанцироваться от них. У автора, если уж на то пошло, вообще нет точки зрения.

– *И все-таки: о чем этот роман?*

– В книге, как я ее понимаю, есть два сквозных мотива: Окраина и Подполье. На окраинах огромного города живут герои. Окраины растут. Ядро сжимается. Варварские окраины, населенные феллахами, – это будущее города, исторический центр – его усыхающее прошлое. Растут и проникаются сознанием своей самодостаточности окраины гигантской державы. Половецкий хан, прибывающий в Москву, – отнюдь не карикатурный персонаж. Вообще я не собирався создавать сатиру на кого-либо или что-либо. В моей книге много печали.

Что касается подполья, то с ним связан другой клубок тем. Жизнь римлян перед нашествием варваров, жизнь византийцев (тоже называвших себя, как известно, готами, римлянами) накануне вторжения турок представляется выхолощенной. История – та история, которая, как рок, стоит на пороге, становится врагом, которого не хотят замечать. Его не хотели видеть и в последние времена Советского Союза, когда общество вело фантомное существование, между тем как подлинная жизнь ушла в подполье. В романе это подпольный публичный дом Олега Эрастовича. Но также и подпольный нелегальный журнал.

Наш разговор затянулся, но я хочу добавить, что темой моего романа среди прочих является судьба культуры накануне распада страны. Журнал, который, как можно догадываться, есть обобщенный образ самиздата (я сам в нем участвовал), – в то же время и нечто большее: это символ духовной культуры, которая уходит в катакомбы, чтобы обрести свободу, культуры; которая порывает с протитуированной лжекультурой и обособляется от пораженного маразмом общества. Но, замкнувшись сама в себе, она становится вещью в себе. За свою независимость она дорого платит. Больше, чем от преследований, она задыхается от того, что ей не хватает воздуха, и совершает в лице главного героя – самоубийство.



В. С. МАЛАХОВ

«Война культур», или Интеллектуалы на границах

В течение пяти лет, истекших после крушения Югославии и Советского Союза, на книжный и особенно на журнальный рынок было выброшено огромное количество сочинений, авторы которых осмысливают произошедшее в терминах «культурного» (или «этнокультурного») конфликта. И профессиональные представители философского цеха, и журналисты, упражняющиеся в жанре культурологии, исходят при этом из молчаливого допущения, будто общество состоит из неких сущностей, которые, хотя и могут вступать в контакт друг с другом, в принципе самодостаточны и с крайним трудом поддаются изменению. Нам усиленно пытаются привить мысль, будто распри, то тут, то там возникающие на территории двух рухнувших империй, представляют собой не что иное, как *внешнее* выражение *внутреннего* конфликта. Нам хотят показать, что современные межэтнические и межнациональные конфликты порождены некоей *глубинной* взаимной *несовместимостью* тех, кто в эти конфликты вовлечен. А один модный политолог пошел еще дальше, возвестив, что наступающий XXI век будет веком «столкновения цивилизаций», или, говоря проще, «войны культур».

Очевидно, что перед нами не вереница случайных мнений, а хорошо продуманная позиция, по-своему стройная система убеждений. Эта система строится на основе специфического *способа мышления*. Кажется весьма полезным исследовать, из каких элементов это мышление складывается и как функционирует.

Начнем наше исследование с истории.

Поток литературы, очень напоминающей ту, что заполняет книжные прилавки, начиная с 1992-го, однажды уже имел место. Между 1914-м и 1926 годами вышло немало книг и статей, в которых развертывался тезис о состоявшейся войне как войне культур. Первая мировая истолковывалась европейскими интеллектуалами не иначе, как выход наружу давно назревавшего и неизбежного «духовного» конфликта, как столкновение взаимно враждебных способов мыслить и жить, несовместимых «цивилизаций».

Впрочем, много истолкования произошедшего тогдашняя ученая публика и не могла дать. Дело в том, что господствовавший в ту пору *дискурс* (т. е. отложившийся и закрепившийся в языке способ упорядочивания действительности) *неявным образом предполагал* именно такой способ восприятия войны. Это был дискурс «психологии народов», или «этнической психологии», пышным цветом расцветший в конце XIX и давший обильные плоды в начале XX века. Маститые историки и философы — от Вильгельма Дильтея и Эрнста Трёльча до Макса Шелера и Отмара Шпанна — оперировали такими восходящими к классическому немецкому идеализму и романтизму понятиями, как «дух народа» и «народная душа». Когда архаичность этих категорий стала явной (а это случилось не в последнюю очередь под воздействием мировой войны), их заменили более соответствовавшим требованиям времени термином — «национальным характером». О «национальных характерах» и их различиях — и, разумеется, об их несовместимостях — охотно рассуждали в 20-е и 30-е, отчасти в 40-е, но опыт второй половины XX столетия, прежде всего текто-

нические социальные сдвиги, сопровождавшие модернизацию западных обществ (массовые миграции, экспорт капитала и возникновение транснациональных корпораций, антиколониализм), довольно скоро потребовал от обществоведов пересмотреть свой категориальный аппарат. Под массивованным огнем критики концепт «национального характера» уходит из сферы социологии. Рецидивы, правда, случаются и по сей день, но не в сфере серьезного обществознания.

Существенным фактором вымывания понятийности «этнической психологии» из обществознания была «структурная антропология» Леви-Стросса. Будучи профессиональным этнологом, т. е. специалистом по «этносам», Леви-Стросс не только обходился без умозрительных конструктов романтической эпохи (вроде пресловутой «души народа»), но и демонстрировал своими исследованиями, что такие конструкты вредят знанию об обществе и человеке, если это знание стремится стать наукой. Кроме того, исследования Леви-Стросса обратили внимание на *этноцентристские предрассудки* европейского обществоведения, а именно на молчаливое допущение, будто европейское человечество принципиально отлично от его неевропейской, «отсталой» части. Леви-Стросс и его последователи, опираясь на методы сравнительной лингвистики, продемонстрировали, что структуры «менталитета» западных европейцев, по существу, не отличаются от соответствующих структур так называемых «примитивных народов».

Начиная с 60-х этноцентризм энергично изгоняется из культурной и социальной антропологии, социальной психологии и других обществоведческих дисциплин. То, что в свое время было позволено столпам «метафизики» (а именно: обращаться с «народами» как с персонами, приписывая им характер и биографию), не позволено современным ученым, желающим оставаться на почве доказательного, поддающегося эмпирической проверке знания.

Но отказаться от старомодной терминологии далеко не значит расстаться с соответствующими ей интеллектуальными навыками. Кто не хочет выглядеть сегодня ретроградом, больше не говорит о «национальных характерах» и даже о «национальных ментальностях». Он говорит о «национальной идентичности». Термин «идентичность», снабженный предикатами «культурная» и «национальная», «коллективная» и «индивидуальная», производит на публику впечатление некоей теоретической весомости, научной добротности. Недаром его стали употреблять с такой охотой, к месту и не к месту вставляя в устную и письменную речь. Он, между прочим, приглянулся и современному политическому истеблишменту. В начале 90-х в употреблении термина «национальная идентичность» был замечен, например, Гельмут Коль.

Разумеется, было бы непростительным упрощением сводить это терминологическое новшество к риторической добавке к старому интеллектуальному багажу. И тем не менее во многих, очень многих случаях «идентичность» есть не более чем эфемизм, термин-заместитель. Тем, кто за него с такой охотой ухватился, он позволяет преспокойно практиковать привычный способ мышления, не рискуя навлечь на себя критику. Это мышление мы с известной долей условности будем именовать «*культурцентризмом*». В отличие от этноцентризма прошлого данный способ мышления имеет своим исходным пунктом и базисным понятием не «народ», «дух народа» или «этнос», а «культуру».

Процедура, постоянно совершаемая культурцентристским мышлением, известна со времен Маркса как реификация, или *овеществление*. Вспомним марксов анализ товарно-денежного фетишизма. Свойства, приобретаемые предметом в процессе товарного обмена, начинают восприниматься как его собственные качества. Некоторой вещи (например, денежной купюре или золотой монете) приписывают таинственную силу, причем верят, что сила эта дана ей «от природы», забывая о том, что все свои особые свойства данная вещь получила исключительно в контексте социальных отношений. Общественные отношения, стоящие за отношениями предметов, перестают замечаться. Качества, которые вещь получает в ходе *человеческого взаимодействия*, предстают как свойства, *изначально ей присущие*. Явления человеческого мира оказываются как бы явлениями природными, «овеществляются».

Эти абстрактные выкладки применительно к нашим сюжетам имеют весьма конкретное приложение. Овеществляющее мышление не может не перетолковывать *социальные различия в натуральные*, естественные. Различия в социокультурной реальности предстают для него как нечто само собой разумеющееся и в этом смысле квазиприродное. То, что возникает, исчезает и меняет форму в зависимости

от контекста, воспринимается как раз навсегда данное и изменению не подлежащее. Результаты человеческой деятельности выступают в качестве самодостаточных субстанций. Динамические и ситуативные образования оказываются изначально существующими «фактами». При этом на декларативном уровне утверждается нечто совсем иное. В наши дни, пожалуй, не осталось приверженцев спекулятивно-метафизической традиции, способных на эксплицитное развитие мышления, характер которого мы несколько карикатурно обрисовали выше. Вряд ли кто-нибудь из философствующих авторов (по крайней мере из той их части, что пишет для широкой публики) решится заявить, что социальные факты суть продукты природы или результат божественного промысла. И дело здесь не в том, что авторы что-то скрывают, думая одно и доверяя печати другое. Современные мастера историсософского и культурфилософского жанра вполне искренни в своем отмежевании от телеологии и натурализма. Тезис о биологической детерминированности социальной жизни отвергается ими столь же решительно, как и вера во вмешательство providения. Вывают не к природе и не к божеству, но к истории.

История, правда, понимается здесь настолько своеобразно, что вновь заставляет вспомнить о курьезах овеществляющего мышления. Нам предлагают не конкретную историю конкретных людей, не результат разнонаправленной активности различных индивидов, а некую Историю как таковую. Она не может ни по-разному восприниматься разными субъектами, ни состоять из множества (разных) историй. Она — одна. Как Церковь по Хомякову.

Культурцентристскому мышлению уже давно приходится реагировать на активность субверсивных, «подрывных» теорий. Сначала это были работы представитель *Франкфуртской школы*, прежде всего ее классиков Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера. В 1947 году эти авторы опубликовали свою знаменитую «Диалектику Просвещения», где подвергли критике европейскую рациональность как чреватую «тоталитаризмом»: заложенное в западном разуме притязание на единственность, а значит, на господство, не может не влечь за собой практического — в том числе политического — стремления к господству. Поэтому катастрофу второй мировой войны и Холокоста не следует считать чем-то случайным, с европейской рациональностью не связанным. Развивая эти мысли, Адорно создает «негативную диалектику» — так называются и его главная книга, и та система мышления, которую он стремится построить в пику Гегелю. В противовес гегелевской диалектике с ее принципом «отрицания отрицания», т. е. позитивного преодоления, «снятия» возникающих в ходе познания противоречий, Адорно учит мыслить «негативно». Это значит не подчинять бытие «понятию», не превращать существующее в нечто, от понятия зависимое, а давать сущему быть. Правда, в той мере, в какой мы мыслим в понятиях, мы не можем не заниматься той самой подгонкой, которую адорновский идеал мышления отвергает, и Адорно прекрасно это понимает. Поэтому программа его «негативной диалектики» нацелена на саморефлексию — критическую обращенность мышления на себя самоё. Мысля в понятиях, мы должны постоянно помнить о заложенной в понятиях тенденции к господству. В полемике с классической философией, которая была, по сути, «философией тождества», Адорно ведет речь о праве «нетождественного» («неидентичного») на существование. «Неотождественное» — это непосредственность существования. Именно этой непосредственности — а не «опосредствующему» действительности понятию, как полагал Гегель, — принадлежит приоритет. Вместо того чтобы пытаться «привести» ее к тождеству, надо научиться мириться с раздражающим фактом ее самостоятельного бытия.

Сходным образом строится аргументация против классического идеала рациональности и в постструктурализме (Жиль Делёз, Жак Деррида, Жан-Франсуа Лиотар). Здесь тоже речь идет о противостоянии «мышлению идентичности» — с этой целью упомянутые авторы разрабатывают понятие «различие» (*différence*), а Деррида придумывает неологизм *différance* — слово, указывающее на различие весьма элегантно образом (*a* вместо *e* неуловимо для слуха, но видно на письме). Именно различию принадлежит приоритет перед тождеством, говорят французские философы.

Однако культурцентризм выдержал натиск. Мало того: ему удалось ассимилировать подходы, нацеленные на подрыв «мышления идентичности». И адорновское отстаивание прав «нетождественного», и делёзовская реабилитация «различия», и дерридианская апелляция к *différance* — все пошло в копилку культурцентризма. Адепты идентичности сумели инкорпорировать аргументы своих противников, выработав новый, внешне отличный от прежнего тип дискурса. Главным понятием по-

следнего стало как раз различие, или «дифференция»*. То обстоятельство, что дифференция помещается *не внутри* той или иной культуры, а *между* культурами — мелочь, на которую нам предлагают закрыть глаза. Дифференция из конститутивного принципа социокультурной реальности превращается в разделитель культурных миров. Следующий шаг этой логики — фиксация дифференции, ее закрепление в качестве *маркера культурной несоизмеримости*. Единства, обозначаемые как «культуры» («цивилизации»), предстают в виде закрытых друг для друга сущностей.

Культурцентризм прошлого отличался прямоотой и наивностью. Он покоился на просвещенческой вере в единство Разума. Носителем этого Разума считался европеец; именно ему надлежало донести универсальную разумность и связанные с нею ценности до остального человечества. В рамках данной парадигмы возникает и положение Макса Вебера о «рационализации» как главным содержанием истории Нового времени, и знаменитый троп о «бремени белого человека». Ученые мужи начала века с воодушевлением писали о «властвующих над миром великих нациях белой расы, на долю которых выпало руководство человеческим родом»**. Сегодняшний культурцентризм несравненно более рафинирован. Он уже не исповедует аксиологического и морального универсализма, а ратует за разнообразие. Каждая культура должна играть по своим, ей присущим правилам игры. Не следует навязывать другим культурам своих норм и ценностей. Другой имеет право существовать в своей «другости». Стало быть, пытаться снять культурные границы не только нежелательно, но и непозволительно. Ведь от этого пострадает «инаковость» другого. Чужой должен оставаться чужим. Усилия по преодолению чуждости и взаимному сближению «своего» и «чужого» лишены всякого смысла. Такой жест не просто нереалистичен, говорят нам, но и неявным образом *тоталитаристичен*. Ведь что такое тоталитаризм, как не нарушение права на дифференцию? Как не преступление против различия?

Таков ход рассуждений, типичный для современного *консерватизма*. Если традиционные консерваторы исповедовали культурный монизм, апеллируя к универсальной рациональности, нашедшей воплощение в западноевропейской цивилизации, то неоконсерватизм последних пяти — семи лет выступает не иначе как под лозунгами плюрализма и «мультикультурализма». Мы не хотим сближаться с вами не потому, что в глубине души вас презираем, а потому, что слишком вас уважаем. Мы не хотим, чтобы вы пришли к нам, не потому, что боимся вас, а потому, что от этого, чего доброго, вы утратите вашу «другость». Мы не скрываем ностальгии по «железному занавесу», ибо чем прочнее и выше забор, тем надежнее защищена культурная инаковость. Словом, тождество умерло, да здравствует дифференция!

Парадоксальным — если не сказать скандальным — образом идеи, которые связывались с либеральным и однозначно гуманистическим течением современной мысли («диалогизм» Мартина Бубера и Михаила Бахтина, апология «инаковости» у Эммануэля Левинаса, не говоря уже об упомянутой выше «негативной диалектике»), оказались достоянием тех, против кого они были по своей интенции направлены. Не означает ли это, что от подобного рода инфляции не застрахована никакая идея?

Политический «мессидж» неоконсервативной идеологии достаточно очевиден. Но связь этой идеологии с ревизией европейского рационализма, происходившей в (опять-таки европейской) философии после 1968 года, далеко не очевидна. Хотя сегодняшние адепты «теоретического антигуманизма» и «постмодернистского» релятивизма и выставляют себя в качестве прямых наследников критики «Просвещения», как она велась от Адорно и Хоркхаймера до Фуко и Делёза, мысль современного неоконсерватизма питается из совсем других источников и движима совсем другим пафосом. Критика идеологии и постструктурализм демонстрировали недопустимость редукции «другого» к «собственному». Право нетождественного удерживать свою нетождественность было именно *правом, а не стигмой*. Это означает, что сохранение культурного своеобразия не являлось императивом. Иному не предписывалось целомудренное соблюдение собственной инаковости. Другими словами, ему не атрибутировалось какой-либо жесткой, раз навсегда данной идентичности. Но как раз таким атрибутированием и занимается неоконсерватизм. Неоконсерва-

* Кстати, немецкоязычные авторы, хотя в их распоряжении есть и нелатинские обозначения различия, пользуются именно этим, пришедшим из латыни термином, дабы подчеркнуть его родство с модной французской мыслью, а также для того, чтобы подчеркнуть радикальность тематизируемого различия: *Differenz* в отличие от *Verschiedenheit* и *Unterschied* означает максимально глубокое различие.

** Слова принадлежат Зигмунду Фрейду.

тивное мышление — как и культурцентристское мышление вообще — *овеществляет* идентичность. Понимая культуры в качестве самотождественных сущностей, оно отрицает, во-первых, их реальную неоднородность, а во-вторых, их динамику, изменчивость как таковую.

Понятие дифференции, поднятое на щит сегодняшним неоконсерватизмом, ничего не изменило в его интеллектуальных навыках. Сколь бы часто он ни прибегал к словечку «différence», он останется тем же, чем был, — мышлением (или, вернее, риторикой) идентичности.

Гротескный, хотя и в высшей степени симптоматичный пример риторики идентичности, систематически продуцируемой культурцентризмом, представляет собой статья Сэмюэла Хантингтона о столкновении цивилизаций, снискавшая огромную популярность и среди западных, и среди российских читателей*.

Из текста Хантингтона, правда, неясно, в каком смысле он употребляет слово *civilization*. С одной стороны, термин «цивилизация» означает у него приблизительно то же, что и «культура» (как в словоупотреблении, где «материальная» и «духовная» сферы не разделяются; и то, и другое — части «культуры», или «цивилизации»). Таково французское понятие *civilization*. С другой стороны, «цивилизация» описывается им как совокупность устойчивых, воспроизводящихся интеллектуально-психологических характеристик, т. е. в смысле, родственном немецкому понятию культуры (когда к культуре относят лишь духовные явления, материальную же сторону жизни общества называют «цивилизацией»). У Хантингтона нет критериев таких различий. По-видимому, он вообще на сей счет не думал. Он применяет понятия так, как ему удобно. В принципе тяготея к французской модели (цивилизация есть форма, в которую отливается жизнь того или иного общества), он время от времени соскальзывает в другое словоупотребление. Отсюда несообразности вроде «японской» цивилизации рядом с «буддистской», свидетельствующие об отсутствии у автора единого основания сопоставления.

Надо изучать историю цивилизации по каким-то крайне усеченным пособиям, чтобы составить себе такое о ней представление, каким оперирует уважаемый автор.

«Цивилизации» в хантингтоновском обращении с ними похожи на кукол. Они принципиально лишены способности не только к взаимопроникновению, но и к какому-либо продуктивному взаимодействию. Из контакта между ними никогда не может получиться ничего хорошего. Как будто не было ни арабской математики, обогатившей европейцев, ни греческого аристотелизма, обогатившего арабов. (Кстати, без посредничества Аверроэса — Ибн-Рушда — в средневековой Европе не произошло бы возрождения перипатетической** традиции.) Как будто западная культура не испытала мощного влияния русской классической литературы и музыки, а русская («православная») культура не находилась под постоянным воздействием западной. Но воздержимся от обсуждения хантингтоновской концепции в «культурологических» ее аспектах. Ведь Хантингтон — политолог и в вопросы теории культуры входить в общем-то не обязан. Критиковать его корректно можно лишь в тех моментах, где он касается более широких вопросов социально-политического плана.

Первое, что бросается в глаза при чтении эссе Хантингтона, — полный отрыв «культуры» («цивилизации») от *общества*. Социальные изменения рассматриваются как чисто экономико-технические, тогда как они представляют собой в строгом смысле изменения *общества*; они затрагивают социальную сферу в целом, культурную в том числе. Американский политолог рассуждает о «японской культуре» так, как если бы она осталась той же, какой была до модернизации Японии. Как если бы трансформация японского общества не затронула ни эстетики, ни морали, ни «менталитета» японцев. Как если бы современные японцы по своим поведенческим и мыслительным навыкам были бы теми же людьми, какие жили на данной территории к концу XIX столетия.

Модернизация для Хантингтона — не более чем поверхностная индустриализация. Она как бы не влечет за собой глобальных социальных изменений, преобразования всех *форм жизни*. Вульгарное представление о модернизации сказывается,

* См. S. Huntington, *Clash of Civilizations?* // *Foreign Affairs*, Summer 1993. (По-русски в журнале «Полис», 1994, № 1.) В аннотации «Московских новостей» (номер от 6—13 марта 1994) С. Хантингтон рекомендовался как «тихий пророк бурного будущего». Не без симпатий — хотя и не без критики — преподнесен модный политолог и другими отечественными изданиями. См., например, «Общественные науки и современность» (1994, № 6).

** Перипатетическая школа в средневековой философии — школа последователей Аристотеля.

между прочим, не только в том, что автор эссе сводит модернизацию к чисто технологической сфере, но и в том, что он географически фиксирует феномен модернизации, пытаясь закрепить «прогресс» (разумеется, прежде всего технический) за Западом, оставив Востоку традиционализм и фундаментализм. Ему тут же приходится оговориться о таком исключении из обнаруженного им закона, как Япония, но остается совершенно непонятным, что делать, например, с Южной Кореей. К какому «цивилизационному типу» ее отнести? И в каком отношении к нему окажется Северная Корея?

Другое обстоятельство, на которое трудно не обратить внимание, знакомясь с хантингтоновским опусом, — это систематическое перетолкование политических трений в *культуралистских* терминах.

Антиамериканская настроенность населения арабских стран вызвана, если верить Хантингтону, глубокими культурными различиями между Западом и странами Третьего мира. Нам исподволь навязывается мнение, будто *главной причиной* антиамериканских настроений в арабском мире (и в мусульманском мире в целом) является радикальная несовместимость цивилизаций — христианской и исламской. Между тем антиамериканизм в этом регионе, как и в большинстве стран Третьего мира вообще (в Африке, например), вызывается прежде всего обстоятельством далеко не культурно-цивилизационного свойства. А именно: чудовищными различиями в благосостоянии и откровенной империалистичностью американской политики по отношению к развивающимся странам. Ненависть бедного Юга к богатому Северу — это скорее чувство классовое. Различия в «культуре» (в религии, в частности) лишь подкрепляют это чувство, сообщают ему дополнительную интенсивность, но отнюдь не служат его источником. В противном случае нам придется считать, что, скажем, антибританское восстание в Индии в 1857—1859 годах было выступлением сторонников вишнанизма и шиваизма против представителей христианства англиканского толка, а не протестом колонизированных против колонизаторов.

Кроме того, Хантингтон карикатурно упрощает реальную политическую ситуацию, недопустимо выпрямляя проходящие через современный мир линии напряжения. Предлагаемая им картина мира так же разделена на две части, как то было в пору противостояния доброй «демократии» и злого «тоталитаризма», воплощенных в США и Западной Европе, с одной стороны, и в СССР и его сателлитах — с другой. Только теперь первая половина этой картины, отвечающая за добро, именуется западной (христианской, либеральной, свободной и т. д.) цивилизацией, а вторая, ответственная за зло — это все не-западные (читай: антизападные) цивилизации, «исламская» прежде всего.

Провозвестник столкновения цивилизаций не любит вдаваться в детали. Зачем наводить туман и портить столь ясный образ? Зачем замечать различия, пролегающие *внутри* культуры? Зачем, например, вспоминать, что либерально-демократическая — по определению! — западная цивилизация не так уж редко порождает монстров вроде Франко, Муссолини, Гитлера, греческих «черных полковников» и хунты в Португалии (просуществовавшей до 1974 года)? Что на сегодняшний день в либеральной Европе пользуются немалым успехом такие сомнительные либералы, как Йорг Хайдер и Жан-Мари Ле Пен? Что «восточные» цивилизации дали миру, кроме Пол Пота и Ким Ир Сена, Свами Вивекананду и Махатму Ганди? К стати, уже одно то обстоятельство, что в XX веке на Западе можно было заметить и последователей Мао, и последователей далай-ламы, свидетельствует о том, что Запад совсем не закрыт для Востока.

Американский политолог, сам того не желая, напомнил нам, среди прочего, о том, что *идеи нельзя присвоить*. Идея человеческого достоинства, как и идея свободы, не есть собственность Запада.

Нельзя не удивиться упрощенности, с какой Хантингтон видит современный мир. Если последний определяется противостоянием не военных и экономических, а прежде всего цивилизационных блоков, если происходит смещение противоборства из сферы военно-политической в сферу «культурную», то ведущиеся сегодня «холодные» войны (иногда выходящие в «горячие», как то было семь лет назад в Персидском заливе) суть лишь выражение латентно ведущейся «войны культур». Но проявлением столкновения каких культур была недавняя ирано-иракская война? В схему Хантингтона подобные факты не укладываются. В нее вообще не укладывается *реальность*; она многомерна и противоречива, а хантингтоновская схема одномерна и противоречий не знает. Как объяснить, например, антитурецкую и *ориентированную на союз с Западом* политику арабских стран первых десятилетий нынешнего века, если «мусульманская цивилизация», которой и арабы, и турки принадлежат, должна обнаруживать единство? И откуда проистекают такие противостояния, как, например, между Египтом и Сирией? Почему Садама Хусейна и Мо-

аммара Каддафи не поддерживают культурно близкие им политики Саудовской Аравии и, напротив, поддерживают культурно далекие от них Фидель Кастро Рус и Владимир Вольфович Жириновский?

Однако ни откровенная слабость, ни вторичность концепции Хантингтона (ясная всякому, кто слышал если не о Данилевском, то о Шпенглере) не помешали бурному успеху его эссе, более того — превращению последнего в парадигму современной политической мысли. Фигура *clash of civilizations* сделалась в последние три (вот уже почти четыре) года столь же популярной, как в 1989—1992 годах формула Фукуямы о «конце истории». Чем это объяснить? Похоже, Хантингтон ответил какой-то существенной общественно-психологической потребности, некоему важному социальному запросу. Резонно предположить, что запрос этот состоял в *конструировании новых границ*. С падением Берлинской стены с Востока неприятно задуло, и о стене пожалели. Хантингтон же возводит стену заново. Привлекательность его подхода в том, что железный занавес экономических и военных блоков он заменяет, по удачному выражению одного аналитика, «бархатным занавесом культуры». Можно привести еще одно, дополнительное объяснение триумфального шествия идей Хантингтона по Западной Европе и Северной Америке. Роль наименований, «номинаций», в формировании культурно-идеологических оппозиций огромна. Достаточно дать имя некоторому фантому, чтобы он в самом деле начал существовать. Его реальность — и его понятность — задана самим фактом его названия. Произносятся заклинания типа «Oh, those Russians!», или «Ah, diese Serben!», или «Ох, уж эти азиаты!»*, мы не только верим, что такие феномены имеют место в действительности, но и делаем их *понятными*. Имя уже несет в себе интерпретацию. Означив феномен, мы можем вчитывать, вмысливать в него любое содержание.

Тайна успеха Хантингтона в том, что он *называет* врага. Он перечисляет врагов по именам. Они враждебны потому, что чужды. Фукуяма, утверждая победу Запада над не-Западом, лишил Запад его Другого. Тем самым он лишил Запад «идентичности». Хантингтон, указывая на угрозу Западу со стороны не-Запада, возвращает ему Другого (Чужого), а значит, возвращает Западу идентичность. Отныне ее можно предельно четко очертить. И закрепить на политической карте.

Столь подробно на взглядах Хантингтона я остановился потому, что на примере его эссе особенно отчетливо заметна связь между культурфилософскими спекуляциями интеллектуалов и тем политическим контекстом, в который они включены. Мы наблюдаем сплошь и рядом, с какой быстротой под те или иные политические и экономические размежевания подверстывается идеологическая база, как *противостояние интересов* перетолковывается в *противостояние идентичностей*. Интеллектуальные конструкции по поводу политической действительности, как то ни обидно самим интеллектуалам, не определяют эту действительность, а определены ею.

Мне меньше всего хотелось бы показаться сторонником инструментализма, утверждающего принципиальную вторичность идеологических построений по отношению к политическим и экономическим интересам. Спору нет, человеческие представления о мире никогда не бывают простым результатом чьих-то сознательных манипуляций. У них есть и своя логика, и своя инерция. Кроме того, идеологические (а значит, и культурные, религиозные и т. д.) предпочтения — один из факторов, определяющих политические решения. Речь, стало быть, не идет о производности идей от политики как «надстройки» от «базиса». Речь идет об *изначальной включенности* культурно-идеологического производства в политическое производство. *Культура сама представляет собой Politicum*. Она входит неотъемлемой частью в пространство политического. Она вовлечена в структурирование этого пространства, со-определяет его.

Вот почему правомерно вести речь как о роли культурно-исторических и культурно-теоретических факторов в *конструировании* политических границ, так и, наоборот, о восприятии *политических* границ в качестве границ *культурных*. Обильный материал в этой связи предоставляет бывшая Югославия.

* Формула «Ох, эти сербы!» родилась в немецких и австрийских СМИ в первый год войны в Югославии. Гражданская, в сущности, война интерпретировалась консервативной прессой преимущественно в терминах сербской агрессии. «Франкфуртер Альгемайнер» писала, например, о склонности к «неевропейскому стилю в политике», якобы традиционно свойственному сербам. Слово «азиаты» как совокупное обозначение «варварства» настолько хорошо знакомо русскому уху, что не нуждается в комментариях. От одного, впрочем, удержаться трудно. Известный немецкий историк Эрнст Нольте, оценивая поведение соотечественников в период Третьего рейха, охарактеризовал его как «asiatische Tat».

Согласно самопониманию сегодняшних словенцев, территория Словении всегда была не чем иным, как форпостом западной культуры на границе с восточнославянским миром. Если следовать официально распространяемой в Хорватии версии истории, то хорваты с незапамятных времен являли самим своим существованием последний бастион католической цивилизации — дальше начинался домен православной ортодоксии. Сербы, в свою очередь, представляются себе и представляют себя другим как хранители христианских ценностей на самой границе с мусульманским миром.

Не менее поучительны мифологии идентичностей, разворачиваемых на территории бывшего СССР. Здесь и популярные пособия по истории тысячелетней «украинской цивилизации», отличной от русской приблизительно в той же мере, в какой «германская» культура отлична от «романской», и — опять-таки тысячелетние — континуумы, отражающие саморазвертывание «этнокультурных» субстанций, числом столько, сколько было на территории советского государства административно-национальных единиц.

Те, кто в эпоху империй не очень пекся о чистоте своей «национально-культурной идентичности» (а часто и не мог ответить на вопрос, в чем таковая заключается), в эпоху демократии отождествляются с маской представителя той или иной «коренной нации». Один нашел себя «украинцем», другой — «чувашем», третий — «русским». Такие открытия, как правило, сопряжены с немалыми усилиями. Новоиспеченному украинцу, например, приходится забыть о том, что среди его ближайших родственников множество русских (если русским и вовсе не окажется один из родителей), чувашу — начать серьезно учить язык, на котором он едва (если вообще) умел объясняться, русскому — отвлечься от трех поколений, считавших себя «советскими». Всем надо нащупать в себе этнический субстрат — «русскости», «чувашкости», «украинскости», а для этого необходимо отделить себя от Другого, увидев его в качестве изначально и неисправимо Чужого. Эту роль в русском случае довольно успешно играет воображаемый еврей, в украинском — столь же воображаемый русский («москаль» и «кацап»), в чувашском — все пришлые («некоренные») вместе взятые.

Фигура Чужого — всегда конструкт. Нет Чужого самого по себе — без того, для кого он чужой. Нельзя *быть* чужим, им можно лишь *представляться* — причем в обоих значениях этого слова, т. е. и в качестве объекта представлений других, и в качестве субъекта самопредставления. Представление здесь — и восприятие, и спектакль. Чужое не только лицезреют, его показывают, демонстрируют. Оно создается не только усилиями тех, кто усматривает в Другом Чужого, но и теми, кто выступает объектом такого смотра. Феномен Чужого возникает как эффект взаимных отражений. Так, «поверхностный» и «легкомысленный» француз, будучи не чем иным, как проекцией англичан и немцев (именно таким образом *представлявшихся* себе «француза»), в определенный момент начинает активно *представляться* таковым. «Педантичный» и «пунктуальный» немец, являясь поначалу результатом чужих проекций, возвращает другим этот образ уже в качестве самопроекции (в которой, правда, «педантизм» перетолкован в «основательность»). Так же, как немцы в свое время приняли данное им извне описание в качестве самоописания, русские согласились принять на свой счет характеристику «варвар». «Да, скифы мы...». «Русский медведь», пусть и превращенный из неуклюжего зверя в простоватого силача — или добродушного медвежонка, ставшего символом Олимпийских игр 1980 года, — начинает функционировать как заместитель «русского».

«Чужим» часто становятся незаметным для себя образом. Люди, еще вчера умевшие прекрасно ладить друг с другом, сегодня открывают, что по причине роковой «этнокультурной несовместимости» с соседом должны от него как можно решительнее отрезаться. Здесь и приходят на помощь услужливые историки и культурологи, придающие наспех скроенным образам Чужого видимость научности и обоснованности.

Мы являемся свидетелями интенсивного творчества такого рода образов — от обновления и радикальной реставрации старых до суетливого поиска новых. Вместе с образами «дружбы» и «чуждости» конструируются и границы, отделяющие друг от друга различных «других». Кажется, все больше людей начинает верить, что чем выше заборы между «культурами», тем надежнее гарантированы их носители от взаимного истребления. Запущенные в ход новыми суверенами идеологические машины исправно штампуют новые культурцентристские мифологии. Прискорбно наблюдать, с какой охотой включились в это производство интеллектуалы.

Василий МАЛИНОВСКИЙ

Штрихи к портрету Василия Шукшина

Я не был другом Шукшина, мы не были даже приятелями. Просто судьба случайно свела нас под одной крышей на целый больничный месяц. А в больнице, как и в поезде, люди сходятся быстро. Правда, такие знакомства, как правило, продолжения не имеют или поддерживаются лишь телефонными звонками и поздравительными письмами. Но почему-то люди в подобных ситуациях даже перед случайным человеком нередко раскрываются так откровенно, как не всегда делают это и перед самыми близкими. Об этом пишет и Шукшин в своих рассказах. В них часто незнакомые люди, встречаясь где-нибудь «на ходу», в купе вагона или за ресторанным столиком, вступают в такие вот откровенные разговоры. Мне кажется, что нечто подобное произошло и у нас с Василием Макаровичем.

Я долго думал: писать ли мне о Шукшине? Достаточно ли месячного знакомства, чтобы оставить воспоминания? Теперь я знаю, что написать надо, и очень жалею, что не сделал это по свежим следам, ибо память человеческая все-таки несовершенна и кое-что с годами уходит безвозвратно. Утешаюсь только тем, что мне много раз приходилось рассказывать о своих встречах с Шукшиным, и это постоянное обращение к теме позволило сохранить главное.

Василий Шукшин был настолько ярок и самобытен, что он, безусловно, достоин того, чтобы остаться в памяти народа. И эта память будет складываться не только из его фильмов, ролей и книг, но и из подробных и кратких воспоминаний о нем людей, так или иначе знавших его. Мне хочется добавить к уже созданному его портрету штрихи, увиденные мною.

Мы лежали вместе с Шукшиным в клинике 1-го медицинского института (теперь Медицинской Академии) в Москве дважды: весной и осенью 1972 года. Но знакомство состоялось только осенью. Весной же я находился в палате напротив его бокса, и старожилы, когда он выходил в коридор, показывали мне «самого» Шукшина. Я тогда уже знал, кто он такой, читал его рассказы, видел в кино. Поэтому интересно было посмотреть на знаменитость поближе. Знаменитость же вела за творнический образ жизни. Шукшин лежал в отдельной палате, из которой выходил лишь по крайней необходимости: в столовую, на уколы да покурить. Я не видел, чтобы он с кем-нибудь разговаривал, никто из больных к нему не заходил. Да и как заговоришь, как зайдешь, когда на лице его постоянно было угрюмое, озабоченное выражение! Впрочем, двое больных у него побывали. Один, разбитной высокий дядька, сосед по курилке, перед выпиской пошел проститься, посидел минут пять и вышел. Побывал у него и студент ВГИКа Толик, сын оператора, с которым когда-то работал Шукшин. Но и эта беседа продолжалась не намного дольше. Шукшин был явно не в духе, это понимали все и не докучали ему. Вскоре он вообще выпи-сался из больницы.

Осенью я поступил в клинику раньше него. Меня положили в блок из двух од-номестных палат, которые имели небольшую общую прихожую. Двери в палатах были стеклянными, и через них было видно все, что делалось внутри, а перегородки — такими тонкими, что я слышал малейшие шорохи у соседа. В эту палату рядом со мной через несколько дней и положили Шукшина.

Первые дни он так и пролежал на койке, практически не вставая, отвернувшись к стене. Он не ходил даже в столовую, и еду ему приносили в палату, но он, по моему, едва к ней прикасался. Даже курил потихоньку, лежа на кровати. Вставать он начал через несколько дней, сначала пошел в курилку, а потом и в столовую.

Василий Васильевич Малиновский, участник Отечественной войны, пережил блокаду Ленинграда. Кандидат исторических наук, автор научных статей, рецензий и очерков в центральной и зарубежной печати. Живет в Москве.

Еще через несколько дней я увидел, как Шукшин по вечерам стал присаживаться к столу и что-то писал в большой «амбарной», как я ее окрестил, книге.

Мы лежали в хорошей клинике, в новом, недавно построенном здании. В палатах были огромные без переплетов окна и современное калориферное отопление. К сожалению, эта новейшая система давала тепла недостаточно, да и оно быстро уходило в щели окон. И в этой в общем-то приличной клинике уже тогда ощущался недостаток младшего обслуживающего персонала — санитарок, а посему заклеить окна, чтобы сохранить в палате тепло, было некому. Пришлось это делать самим. Жена принесла мне из дома клейкую бумагу, и вскоре в палате стало значительно теплее. Смотрю, а Шукшин лежит на постели, укутавшись всеми одеялами, да сверху еще и халатом.

Я вошел к нему в палату и сказал:

— Вот у меня клейкая бумага, заделайте ваши окна.

Он в ответ:

— Спасибо, но сейчас не могу.— И продолжал лежать, повернувшись к стене.

Я знал, что он крестьянский сын, что в детстве и ранней молодости ему пришлось поработать в колхозе, за его плечами была и армия. И если он не заклеивает себе окна, а лежит и мерзнет, то это не оттого, что не умеет или не хочет. Видимо, по какой-то причине не может заставить себя встать и сделать это несложное дело. Тогда мы с женой потихоньку, чтобы ему не мешать, заклеили его окна и вышли. Он так и не обернулся нам вслед. Я даже не знаю, заметил ли он наше посещение.

В последующие дни мы с ним, встречаясь в коридоре, только здоровались. Ни об окнах, ни о чем другом разговоров не было. Но вот однажды, уже после отбоя, когда я, пользуясь либеральным режимом отдельной палаты, читал на сон грядущий, в дверь тихонько постучали и вошел Шукшин.

— Я слышу, вы не спите,— сказал он.— Мне тоже не спится. Вот сегодня закончил киноповесть и, думается, не усну до утра.

Я, естественно, спросил, о чем повесть и почему она «киноповесть». И в ответ услышал печальную, а вернее, трагическую историю Егора Прокудина и Любы. Рассказ Шукшина меня захватил. Взволновала не только судьба самого Егора, но и то, как ее передавал автор. Я временами видел перед собой не писателя, повествовавшего о своем герое, передо мной был сам Егор Прокудин, сначала полный радости освобождения, потянувшийся к новой жизни, к земле, которая неудержимо звала его. Когда рассказ дошел до свидания с матерью, мне показалось, что у самого Василия Макаровича задрожали губы. Но я смотрел почему-то не столько на его лицо, сколько на руки. Они все время двигались, спорили, утверждали. Это были рабочие руки, вернее, крестьянские. С сожалением я обратил внимание на то, что пальцы его были, как «барабанные палочки», с утолщением на последних фалангах, а от медиков я слышал, что это признак недостаточности легочного кровообращения.

Рассказывая, он непрерывно курил, прикуривая папиросу от папиросы, а перед финалом сделал глубокую затяжку, как бы собираясь с духом, чтобы убить Егора. Повесть закончена, Шукшин замолчал, молчал и я, только смотрел, как продолжали вздрагивать его руки. И мне под впечатлением от скорбной повести и от всего облика автора вдруг стало страшно за самого писателя, мне показалось, что его ожидает судьба Егора.

Потом мы несколько раз разговаривали о «Калине красной», но в ту ночь я лишь спросил его: почему убивают Егора? Ведь так хочется, чтобы он испытал радость обновления, труда, любви. Шукшин ответил твердо, почти жестко, что есть такая вина, такие преступления, которые искупить можно только ценой жизни. Преступление Егора не только в том, что он вор, что во имя себялюбия, во имя вольной и разгульной жизни отказался от труда и обижал людей,— страшней всего этого то, что он забыл мать, а следовательно, и предал ее. Жизнь не прощает этого. Человек, совершивший такое предательство, обречен. Егор чувствовал это подспудно, а когда увидел Губошлепа и компанию, то в тот же миг осознал, что пришел час не только расплаты, но и искупления. Поэтому он так бесстрашно и пошел навстречу судьбе. Я знаю, говорил Шукшин, что меня будут уговаривать сделать благополучный конец, в нашем лакировочном искусстве не любят трагедий, но я не уступлю. Жизнь Егора Прокудина может закончиться только так. И, может быть, это послужит кому-нибудь уроком.

В другой раз я спросил его о том, как это он так быстро, за какие-то десять дней, мог написать целую повесть. На это Шукшин сказал, что за столом он только записывал фактически уже готовый текст. Вернее, даже не текст, просто он видел перед глазами каждый эпизод повести почти таким, каким его нужно будет снимать в кино, слышал каждую реплику. Первые дни в клинике, пока он лежал на койке, он день и ночь «высматривал» свою «Калину». Впрочем, высматривать ее он начал еще там, «на воле». В больнице же, в «палате-одиночке», создалось какое-то особое настроение, связанное с тюрьмой и смертью. Здесь никто ему не мешал, не было телефонных звонков, неожиданных гостей, не было даже жены и дочек. А дома только

начнет он «видеть» какой-либо эпизод, как раздается стук в дверь и жена сообщает, что где-то что-то можно купить, или девочки требуют папу для разрешения очередного спора. Он взрывался, гнал их гулять, но эпизод уходил, и восстановить его было уже невозможно.

Видеть «по-киношному», в «картинках», текст литературных произведений, рассказывал Шукшин, учил их во ВГИКе Михаил Ильич Ромм. На своих лекциях и практических занятиях он брал, например, «Пиковую даму» или «Анну Каренину» и показывал, как можно пушкинский или толстовский текст «видеть» предметно, словно на экране. Когда я позднее стал перечитывать рассказы и повести Шукшина, то ясно почувствовал эту особенность его творчества: читаешь его прозу и видишь каждый эпизод зримо, «как в кино», даже кажется, что слышишь голоса героев. Видимо, уроки Ромма слились с природным талантом Василия Макаровича.

Еще я спросил, почему его герой — вор, где он видел таких людей, а в том, что он их видел, я не сомневался. Шукшин рассказал, что в ранней юности, перед армией, он был знаком с этим миром и сам мог бы стать Егором Прокудиным. А потом, когда снимался в картине С. А. Герасимова «У озера», то некоторое время пришлось жить «в зоне», в лагере для заключенных. Там он насмотрелся и наслушался всякого. Почему-то некоторые зеки его принимали за своего. Шукшин вспоминал такой эпизод. Был день рождения Герасимова. Шукшин с оператором шли по зоне и сокрушались, что сухой закон, существовавший там, помешает им «как следует» отметить юбилей Сергея Аполлинарьевича. Вдруг один из зеков отозвал Шукшина в сторону и сказал, что готов помочь их горю, что может достать коньяк в необходимом количестве, но по тройной цене. В общем, Герасимова поздравили по всем правилам, но секрета появления вдохновляющей жидкости не раскрыли. Здесь же, в зоне, он видел и показанную в «Калине» самодеятельность заключенных. Кстати, одна наша хорошая знакомая, проведшая много лет в колымских лагерях по известной 58-й статье, когда смотрела этот эпизод в «Калине красной», была до такой степени потрясена его достоверностью, что написала Василию Макаровичу об этом письмо. Она спрашивала о том, где он видел такие сцены, ибо, не увидев их, нельзя передать ту затаенную скорбь в глазах выступавших артистов-зеков, которая всегда присутствовала у них, несмотря на веселые сюжеты, представляемые на сцене.

Это необыкновенное отношение Шукшина к окружающему, особое умение впитывать впечатления я наблюдал даже в больнице. Информацию о жизни здесь он получал главным образом в курилке. Сидел там молча и на первый взгляд безучастно, но на самом деле внимательно слушал рассказы курильщиков, и тут же его цепкая память фиксировала заинтересовавшие его эпизоды.

Однажды после очередного курительного бдения он пришел ко мне возбужденный и стал делиться впечатлениями об услышанном. Он рассказал, что один бывший сельский кузнец высказал очень простую, на его взгляд, но мудрую мысль о войне. Кузнец говорил о ней, как о тяжком, но необходимом труде, который иногда кажется выше сил человеческих. Но другого выхода нет: хочешь жить — трудись, рой окопы, делай многокилометровые марши, не спи в дозоре, учись ползать по-пластунски, чисти винтовку, таскай на себе запасы патронов, гранат и еды. Этот рассказ, было видно, произвел впечатление на Шукшина. Я не знаю, использовал ли он его в литературной работе, он, кажется, не писал непосредственно о войне. Но когда я смотрел фильм «Они сражались за родину» и увидел всю неистовую и в то же время будничную работу Шукшина — Лопатина на войне, то подумал, что здесь не обошлось без рассказов того больничного кузнеца. И еще подумал, что эта неистовая работа на съемках, наверное, нанесла последний удар и самому Шукшину. Ведь умер он прямо на съемочной площадке.

Обсуждали мы и его кинороман «Я пришел дать вам волю». Василий Макарович рассказывал, что начинал писать его как киносценарий, но материал вышел за рамки предполагаемого фильма и оформился в две части романа. Работая над книгой, он перечитал горы литературы, особенно его интересовали подлинные документы эпохи. К счастью, говорил он, совсем недавно вышли три тома документов, посвященных восстанию Разина. Они-то и дали возможность по-настоящему почувствовать запах истории. Поэтому ему было значительно легче, чем, скажем, его предшественнику по теме Алексею Чапыгину. Большую помощь в работе над источниками Шукшину оказал один из лучших знатоков русского средневековья, доктор исторических наук А. А. Зимин.

Восстание Разина потрясло Шукшина могучим порывом простых людей к свободе. Эту мысль, как мне теперь кажется, он как-то экстраполировал и на современность. Захватила его и фигура самого Разина, взвалившего себе на плечи задачу непомерной тяжести — дать людям волю. Но еще эта эпоха поразила его и своей жестокостью.

— Жестокий век, жестокие нравы, — говорил Шукшин. — Я показал его без прикрас, таким, как об этом рассказывают документы. А мне уже досталось за это от критиков, достанется и еще, но писать по-другому не хочу да и просто не могу.

Заветной мечтой его была постановка «Разина» в кино. К этому времени он уже прозондировал почву. Но результаты были неутешительные. Вопрос прежде

всего упирался в деньги. На фильм тогда обычно отпускали что-то около двух миллионов, а для «Разина», по самым скромным подсчетам, нужно было не меньше шести-семи. Шукшин специально ездил на Астраханский судостроительный завод, единственный, который мог построить для фильма деревянные разинские струги. Но завод потребовал за них, если мне память не изменяет, двести пятьдесят тысяч рублей в тогдашних ценах. А ведь нужен был еще персидский и царский флот. В общем, студия имени Горького, на которой работал Шукшин, не могла, а возможно, и не очень хотела поднимать такой грандиозный фильм-эпопею. Наверное, это обстоятельство явилось одной из причин перехода Шукшина на Мосфильм, в творческое объединение Бондарчука, тяготевшего к масштабным полотнам. Может быть, он поощрял Шукшину посодействовать в постановке «Разина».

Разговаривая с Шукшиным о Степане Разине, я пытался прояснить вопрос о том, как, каким способом Разин продвигал свою идею «Я пришел дать вам волю» в массы, каков механизм его воздействия на людей. Как он управлял этой стихийной вольницей, часто выходявшей из берегов? Тогда у Шукшина еще не было ответов на все эти вопросы, но он о них думал и хотел попытаться ответить на них в фильме.

Композитором картины о Разине я посоветовал ему пригласить профессора Московской консерватории Николая Сидельникова, которого знал с детства. Он как раз в это время работал над балетом «Степан Разин» для Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Василий Макарович заинтересовался его музыкой, которая так органично сочетала русские национальные традиции с современным мелодическим строем. Жаль, что творческая встреча этих двух самобытных художников не состоялась: их Степаны так близки были друг другу. Вообще-то Шукшин сожалел, что еще не до конца освоил проблему цвета и музыки в кино как важных компонентов выразительности.

В течение месяца, который мы провели вместе, Шукшин много рассказывал об учебе во ВГИКе и прежде всего о своем учителе Михаиле Ильиче Ромме. Шукшин приехал в Москву поступать во ВГИК из алтайской глубинки, в кирзовых сапогах и хлопчатобумажной гимнастерке, которые остались у него после службы в армии. Возможно, такая экипировка была своего рода вызовом московской элитарной молодежи, составившей основной контингент ВГИКа. Впрочем, из рассказов Шукшина я этого не почувствовал. Думается, что он в такой серьезный момент жизни решил остаться самим собой: «Оцените меня таким, каков я есть, а подстраиваться под вас я не буду». Самим собой он оставался всегда, не только в жизни, но и в книгах, и на экране.

Трудным было его становление. С боем, великим трудом пришлось завоевывать себе место в кино и литературе. На всю жизнь он был узвелем разговором одной институтской «фифочки» с молодым человеком в «зеленых штанах». «Зеленые штаны» для него в те времена, видимо, стали символом стилистичности и пустозвонства. Шукшин был знаком с этой девушкой, может быть, даже немного за ней ухаживал, и она проявляла некоторый интерес к такому вот деревенскому незаурядному парню, хотя и из далекой глухомани. Но для нее это было просто флирт, развлечение. Однажды он случайно услышал, как «фифа», рассказывая «зеленым штанам» о нем, издевалась над его кирзовыми сапогами и мужицкими грубоватыми руками. Она явно предпочитала «зеленые штаны», которые, впрочем, в искусстве ни тогда, ни после ничего заметного не сделали. Шукшин возненавидел таких «фиф» на всю жизнь, он презирал их и осмеивал в своих рассказах и фильмах.

Да, не только «фифы» его не оценили — на вступительных экзаменах многие экзаменаторы колебались: принимать его в институт или нет? Тем более что будущий, а может быть, уже начинающий писатель не совсем успешно справился с сочинением. На его счастье, в приемной комиссии оказался руководитель одной из режиссерских мастерских института — Михаил Ромм. Он-то и сумел разглядеть талант Шукшина, а разглядев, поддержал, настоял на том, чтобы его приняли в институт. Шукшин уверен, что Михаил Ильич даже ходил в приемную комиссию исправлять его ошибки в сочинении. Ромм взял его в свою мастерскую, и таким образом осуществилась заветная мечта Василия Макаровича стать учеником Ромма. Шукшин слышал, конечно, широко бытовавшую тогда в киношных кругах поговорку: «Если хочешь идти в кино, то иди к Ромму». Но эту истину знал не только Шукшин. В мастерской Михаила Ильича он встретился с такими талантами, как Тарковский, Митта, Михалков-Кончаловский. И эти четыре совершенно разных по своему творческому почерку режиссера учились рядом, в одной мастерской. А все дело было в художественно-педагогических принципах Ромма — он никогда не подгонял учеников «под себя». Терпеливо развивал самобытность в каждом из них. Ромм вообще был жажден на талантливых людей, радовался встречам с ними, они становились как бы частью его самого. И известнейший режиссер терпеливо возился с деревенским парнем, стараясь при том, чтобы тот не потерял своей самобытности — одной из самых ярких граней таланта.

Началось с того, что Ромм стал приглашать Шукшина к себе домой, знакомил с разными интересными людьми. Как-то у книжной полки он устроил ему экзамен

по литературе. Экзамена Шукшин, конечно, не выдержал. Но Ромм отнесся к этому спокойно. Он сказал, что нельзя стать серьезным режиссером, не зная мирового искусства и прежде всего литературы. Поэтому Василий должен познакомиться с основными произведениями литературной классики. Эта задача, по мнению Ромма, имела еще и прикладное значение: необходимо добиться, чтобы «фифы» и мальчишки «в зеленых штанах» с ним считались (а Ромм, несомненно, знал об отношении к Шукшину части студентов), а для этого нужно на первых порах хотя бы сдать экзамены по русской и всемирной литературе лучше их всех. Ведь знание мировой литературы для многих является мерилом интеллигентности. Чтобы выполнить эту задачу, нужен суший пустяк, и Ромм продиктовал Шукшину список чуть ли не в сто книг, которые в первую очередь надо прочитать. Шукшин сжал зубы и осилил этот список. Он сдал экзамены если не лучше всех, то, во всяком случае, лучше многих. Но Ромм и на этом не успокоился. У себя дома при гостях и в мастерской при студентах он как бы невзначай обращался к Шукшину с вопросами, связанными с прочитанной литературой, тем самым демонстрируя эрудицию «мужичка».

В Ромме Шукшину импонировало все и в том числе своеобразные его педагогические приемы, с помощью которых он обучал своих студентов. Вот, например, идет просмотр учебного фильма, сделанного студентом. Разбирая его, сокурсники громили товарища со всей страстью молодых максималистов. А, делая заключение, Ромм начинал говорить, кажется, совсем о другом. «Вы помните,— обращался он к слушателям,— такой-то эпизод из такого-то фильма? Нет, не помните. Тогда давайте его посмотрим». Оказывается, он уже припас две-три ленты шедевров мирового кино. И разговор уже идет об этих фильмах. Ромм стремился показать все их плюсы и минусы, обратить внимание на тончайшие нюансы мастерства, на полное разнообразие стилей и техники. И главная мысль его: учитесь у классиков мирового кино, но бойтесь шаблонов, ищите свой путь. И вроде бы не было оценки учебного фильма, но на самом деле оценка была и экзаменовали его лучшие мастера мирового кинематографа. В заботливых руках Ромма Шукшин вырос в настоящего режиссера, не потеряв при этом своей самобытности, главной чертой которой была органическая, неразрывная связь со своим народом.

Уже в дипломной работе Шукшин выступил и как сценарист, и как режиссер, и как актер. Кстати, Ромм всегда придавал большое значение качеству сценария — основы фильма и нередко сам участвовал в его создании. Свой выпускной фильм Шукшин сделал по одной из повестей Сергея Антонова. Правда, в нем он сыграл не главную роль, но зато, можно сказать, во многом способствовал открытию таланта молодого артиста Куравлева. И еще Шукшин часто вспоминал слова Ромма о том, что не надо бояться творческих неудач, главное — стремиться сказать людям, что волнует тебя больше всего на свете, сказать, что ты любишь людей и стремишься своей работой помочь им.

Ромм был не только академическим учителем, но и старшим другом. Он даже несколько раз по-житейски выручал попавшего в беду Шукшина. У Василия Макаровича в тот период иногда возникали неприятности с милицией, а Михаил Ильич был знаком с одним важным милицмейским генералом и через него вызволял своего не в меру горячего подопечного. Помог он ему и в сложной в то время эпопее с московской пропиской. А с ней связано было получение штатной должности в киностудии и, следовательно, права на режиссерскую работу. Но по служебной лестнице, говорил Шукшин, Ромм никогда своих учеников не «проталкивал», он считал, что каждый сам должен находить свое место в искусстве. Поэтому ученикам Ромма на первых порах было труднее, чем, скажем, выпускникам Герасимова или Александрова. Но Василий Макарович не был в претензии к учителю за подобное отношение. Он считал, что так оно и должно быть в жизни. И еще, говорил Шукшин, Ромм не был таким добрым дядюшкой, он был требовательным учителем, его замечания и реплики часто были полны иронии, и не только по отношению к оппонентам, но и к себе. Шукшин о Ромме рассказывал так образно, так зримо, что мне временами казалось, что я тоже знал Михаила Ильича, видел и слышал его, разговаривал с ним.

В одном ряду с Роммом стоял еще один человек, сыгравший в творческой жизни Шукшина очень важную роль. Еще, кажется, студентом Шукшин принес в журнал «Октябрь» свои первые рассказы. В «Октябрь» потому, что в то время ему казалось, что этот журнал был ближе других ему по духу. Принес и отдал без рекомендаций, наугад. Ожидая, очень нервничал. Но вот его пригласили в редакцию, и там состоялся долгий, доброжелательный и очень полезный разговор с заведующей отделом прозы, которая и стала его крестной матерью в большой литературе. Рассказы пошли, хотя над ними пришлось еще поработать. Его новая знакомая — Ольга Михайловна Румянцева — оказалась человеком трудной, но интересной судьбы, она прошла через страшное чистилище второй половины тридцатых годов. Ее огромный жизненный опыт, прекрасное знание русской и советской литературы, тонкий художественный вкус и большая душевная щедрость расположили к ней Шукшина. Я не помню, пожалуй, другого человека, за исключением Ромма, о ком бы он говорил с такой теплотой. Он стал своим, близким человеком в ее доме, дружил с

дочерью, работавшей в детской редакции на радио. Именно на «жилплощадь» Ольги Михайловны помог Ромм прописаться Шукшину в Москве. И эти добрые отношения, насколько мне известно, сохранились на всю жизнь.

Естественно, чаще всего мы разговаривали с Шукшиным о кино. С большой охотой он отвечал на мои дилетантские вопросы, и не было случая, чтобы он отмахнулся даже от какого-нибудь пустяка. Он рассказывал о нашумевших фильмах, о режиссерах и актерах, даже о технике съемок и монтажа. Своих товарищей по кино он судил строго, но, кажется, справедливо. Помню, что на вопрос о Тарковском он сказал, что, по его мнению, это очень талантливый, очень самобытный, может быть, даже гениальный режиссер.

— Но его творческое кредо совсем иное, чем мое, — добавил Шукшин. — Некоторые черты его стиля — какой-то надрыв и туманную аллегоричность — я не очень приемлю, но это вовсе не значит, что они не имеют права на существование.

Надо заметить, что эта оценка Тарковского была дана более двадцати лет назад, до выхода его главных фильмов.

Более сдержанно он отзывался об Андроне Кончаловском. Говорил, что это тоже талантливый режиссер и очень образованный человек. Но создается впечатление, что он делает свои фильмы под кого-то, а вернее, следует канонам западного кино. Шукшин добавил, что Кончаловский станет по-настоящему заметен только после того, как найдет свой особый стиль. Он видел лежавшую тогда на полке ленту Кончаловского «Ася-хромоножка», но она не произвела на него большого впечатления. Интересно, что бы он сказал о недавно вышедшем фильме Кончаловского «Курочка Ряба»?

О литературе и политике мы говорили меньше. Шукшин жаловался, что некогда читать, что мало читает еще и потому, что голова полна своих сюжетов, а чужой стиль, чужие сюжеты лишь отвлекают от дела. Читает лишь в перерывах в своей работе, а когда пишет или снимает, то ни о чем другом больше думать не может.

— И все-таки хочется узнать побольше, — признавался он.

Рассказал, как несколько месяцев охотился за собранием сочинений Владимира Соловьева. Наконец нашел, и хотя «маклаки», перекупщики, запросили за книги очень дорого, поколебался, но все-таки решил купить. Хотелось самому разобраться в творчестве этого русского мыслителя, решить, кто он: путаник-идеалист и мистик, как тогда официально считали, или великий пророк? Философами русского «серебряного века» Шукшин увлекся еще в начале 70-х годов, тогда как шумная мода на них у нас пришла в середине 80-х.

Надо сказать, что Шукшин обогнал свое время не только в этом. Я подарил ему свою книжку об Александре Гусеве, революционере, социал-демократе, интеллигенте-идеалисте, горячо верившем, что только осуществление социалистических идеалов принесет народу освобождение и благоденствие. А Шукшин сказал, что ему жаль этих чистых, невинных, но явно заблуждавшихся «революционериков», ничего хорошего они не смогли дать России. Иногда в его суждениях проскальзывали и совсем радикальные нотки. Он, например, осуждал тех, кто, взяв власть в октябре 1917 года, не сумел предугадать направление развития страны, не смог предотвратить появление культа личности и разорение деревни.

— Не лучше ли было не трогать Временное правительство и оставить власть либералам? — спрашивал он. Напоминаю, что эти разговоры велись еще в 1972 году.

Мы почти не обсуждали проблем, связанных с культом личности, хотя его отец и пострадал от сталинского произвола. Но мне запомнился один его рассказ, имеющий отношение к этой теме. Случай произошел во время съемок последнего фильма-эпопеи «Освобождение». Вообще-то Шукшин в нем не участвовал, но его попросили сыграть роль маршала Конева — предыдущим исполнителем маршал был недоволен, и по его просьбе срочно подыскивали замену. Шукшин решил выручить товарищей и «с ходу» включился в фильм. В тот день, о котором шел рассказ, снимался эпизод совещания в Ставке Верховного Главнокомандующего с командующими фронтами. Во время съемок был небольшой перерыв, и актеры не снимали грима. Остался в гриме Сталина и артист Закариадзе. Вдруг с шумом распахнулась дверь, и в павильон вошел окруженный большой свитой главный консультант фильма, начальник Генерального штаба Советской Армии маршал Штеменко. Все невольно обернулись. Маршал, увидев Закариадзе в гриме Сталина, сразу как-то подтянулся и четким строевым шагом направился к нему. Подойдя, приложил руку к козырьку и громким командирским голосом доложил «генералиссимусу», что маршал такой-то прибыл на съемки фильма.

— Нам стало жутко, — рассказывал Шукшин, — мы со страхом посматривали уже не на маршала, а на Закариадзе — Сталина. Вдруг он прищурит глаза и скажет: «Вот этого убрать!»

В советской литературе была тема, которую Шукшин хорошо знал и о которой мы много говорили, — это судьба нашей деревни. Семидесятые годы — время расцвета «деревенской прозы». Да и сам Шукшин был «деревенщиком», им же был и его ближайший приятель по литературе — Василий Белов. Шукшин воспринимал

историю советской деревни конца 20-х — начала 30-х годов, коллективизацию как трагедию. Может быть, не последнюю роль в этом сыграла гибель его отца, павшего жертвой в жестоком водовороте тогдашних событий. Сын так и не узнал, ни в чем обвиняли отца, ни по чьему приказу он был расстрелян.

Разговор о коллективизации зашел еще и потому, что в это время Василий Белов начал публикацию своего романа «Кануны» — как раз об этих событиях в жизни северной деревни. Для романа Белов собирал материалы не только в местных, но и в центральных архивах и получил доступ к некоторым еще не известным широко документам, в том числе из архива Политбюро. Между собой Белов и Шукшин горячо обсуждали эту проблему. После одного из посещений Беловым клиники Шукшин в разговоре со мной выдал «новую» версию коллективизации. Оказывается, русскую деревню разорили и уничтожили евреи, потому что комиссия ЦК ВКП(б), созданная осенью 1929 года для разработки плана коллективизации, сплошь состояла из евреев во главе с Яковлевым-Эпштейном — людей некомпетентных, знавших сельское хозяйство лишь понаслышке. Сталин дал команду, и эта еврейская комиссия разработала безжалостный план уничтожения русской деревни в противовес правым — сторонникам Бухарина, защищавшим интересы крестьянства.

Я не знаю, как отнесся к этой трактовке коллективизации Шукшин, — тогда он излагал не свою, а только что услышанную концепцию, которая потом стала довольно распространенной. Но сам Шукшин, по моему представлению, не был ни шовинистом, ни антисемитом.

Шукшин, постоянно обращаясь к деревенской теме, глубоко и искренне сожалел об уходе в прошлое многих деревенских традиций и особенно — разумной морали трудового крестьянина. И в разговоре, и в рассказах, и в кино он все время сопоставлял мораль горожанина и деревенского жителя, и это сопоставление было не в пользу города. Правда, в его рассказах действовали часто не лучшие представители горожан. В это время Шукшин сотрудничал в прогрессивном тогда журнале «Сельская молодежь» и на его страницах хотел провести такую мысль: население в большинстве наших городов за последнее время резко увеличилось, в них выросли огромные районы-новостройки, заселенные, как он считал, в основном выходцами из деревни. Но здесь эти выходцы из села попадали в совершенно иные, незнакомые им условия жизни. В деревне все живут на виду друг у друга. Каждый сосед хорошо знает, что делается в доме рядом. Любой поступок, и хороший, и плохой, сразу же выносился на суд общества, и суд этот, как правило, был строг и справедлив. Общество активно воспитывало своих членов. А в городе, в новостройках люди собрались случайные, из разных мест, живут разобщенно, оторваны и от производства, где работают. Поэтому по месту жительства между ними не возникает связей. Не давит на них моральный суд соседей, а суд юридический, как правило, запаздывает и становится скорее карой, чем воспитывающей и предупреждающей мерой. Шукшин сожалел, что процесс коллективизации и индустриальное развитие нашего общества так безжалостно поломали жизнь крестьянина, который вынужден был покидать свою деревню и переселяться в город, но и в городе приживался с большим трудом.

Насколько я успел узнать Шукшина за месяц, я понял, что едва ли не главным содержанием его натуры была страстная жажда справедливости. Она проявлялась не только в его творчестве, но и в повседневной жизни. Он страдал, видя жестокость, черствость, унижение человеческой личности. Я не раз был свидетелем этих страданий. Сколько раз он метался по моей палате, курая папиросу за папиросой, под впечатлением известия о том, что где-то совершилось зло. У него не было защиты от тревожных волнений жизни, все его касалось, и все он переживал как свое собственное. Он принадлежал к тому типу людей, о которых сказал Высоцкий в одной из своих песен-новелл: «Поэты ходят пятками по лезвию ножа и ранят в кровь свои босые души». Душа Шукшина постоянно кровоточила. Он умирал вместе с Егором Прокудиным и Степаном Разиным, он страдал от хамства людей в магазинах, от наглости вахтера в клинике. А когда он страдал, то боль нередко застилала ему глаза. К тому же он, выражаясь опять-таки словами Высоцкого, не любил «ходить в узде и под седлом». Поэтному и действовал подчас импульсивно, не взвешивая возможных последствий. Однажды в троллейбусе он, не помня себя, вступился за какого-то обиженного и очутился в отделении милиции, из которого его пришлось выручать Ромму. В другой раз толстая продавщица продовольственного магазина обидела ребенка, и он, конечно, не утерпел: он увидел в этом не просто частный случай, а чуть ли не проявление хамства в глобальном масштабе. Он страдал от этих своих срывов, но далеко не всегда ему удавалось предотвращать их.

Мне было очень больно за него и за клинику, когда, кажется, в «Литературной газете» появилась его статья о том, как он, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии, безуспешно сражался с хамством вахтерши и был побежден. Борясь против хамов и вымогателей, он, не желая этого, задел и врачей, которые так старались создать ему условия для лечения и отдыха. В связи с этой публикацией в клинике устроили разнос.

Еще одна черта его характера удивила меня. Он был предельно открытым человеком, незащищенным ни хитростью, ни дипломатией. Он всегда говорил то, что думал, начистоту. Его можно было спросить о чем угодно и быть уверенным, что получишь честный и откровенный ответ. Пользуясь этим, я как-то собрался с духом и спросил: действительно ли он сильно пьет? Я слышал об этом разговоры, но в клинике не замечал ни разу даже намеков на спиртное. И мне очень не хотелось, чтобы эти слухи подтвердились. Он ответил с удивительной простотой и откровенностью на этот действительно нелегкий для него вопрос. Да, он пил и довольно сильно. Тяжелые были времена. На работу режиссером не брали, так как не было постоянной московской прописки, а не прописывали, потому что не было постоянной работы в Москве — это обычная для того времени бюрократическая ситуация. Все эти годы он зарабатывал себе на жизнь тем, что снимался в кино как актер. Для этого не надо было быть москвичом, каждый режиссер мог выбрать актера откуда угодно. Деньги у него были, рассказывал Василий Макарович, но не было ни дома, ни семьи, ни даже просто крыши над головой. Ночевал где придется. А раз были деньги, то появились какие-то дружки из околкиношной публики. Пили они за его счет, куда-то водили, с кем-то знакомили. И он, можно сказать, покатылся вниз. Постепенно внутренне он начинал понимать, что так больше нельзя, но не было сил бросить накатанную жизнь.

Помог случай. Однажды состоялась очередная попойка на какой-то даче. Шукшин рассказывал:

— Я пить вообще-то не умею, с первого же или в крайнем случае со второго стакана водки, как говорится, отправляюсь под стол. Иногда в буквальном смысле слова. Так было и на этот раз. Очнувшись я действительно под столом, все уже разошлись, уходили два последних моих дружка. Один сказал, что надо бы разбудить Васюку и взять с собой, а то дача уже не топится, не простудился бы. Другой ответил, что Шукшин больше его не интересуется, что это уже конченный человек, так что пусть себе валяется: это падаль, его скоро и снять перестанут. И те, кто пил и ел за мой счет, действительно бросили меня, как падаль, и ушли. Тогда я сказал себе: «Нет, рано вы меня хороните. Я ведь еще не все сделал, что хотел». Я понимал, что мне самому с этим трудно справиться, и лег в нервную клинику. Мне там помогли, правда, не с первого раза, но теперь вот уже пять лет, как я практически не пью. Когда становится трудно и я начинаю бояться, что снова сорвусь, то ложусь в больницу, и это помогает. Так что с этим теперь, кажется, все в порядке.

Он говорил, что очень устал, что начал сдавать. Тяжелое сиротское детство, напряженная, через край, работа, с огромной затратой не только физических, но и духовных сил. Ведь каждый фильм, особенно свой, — это целый бой, часто выигранный с большим трудом и большими потерями. Да и деньги он зарабатывал очень трудно, не так, как другие. За пятнадцать лет работы в кино поставил всего пять фильмов. Его и печатали мало и почти не переиздавали, а каждый новый рассказ — это боль сердца, такое впечатление, что вместе с ним отрываешь от себя и кусок души. А ведь не всегда и публикуют. В этом, может быть, он и сам отчасти виноват. Не пристал ни к какой литературной компании — ходит сам по себе. Как-то приглашали к себе сибирские писатели, но он отказался. Эти землячества часто превращаются в простую групповщину и занимаются не литературными делами, а тем, что проталкивают друг друга на командные позиции в Союзе писателей, завоевывают издательство, получают заграничные командировки. Некогда ему заниматься этой возней да и не хочется. Жизнь так коротка, и так много надо еще сделать. Успеть бы.

— Я уже подумываю о том, чтобы бросить кино, — говорил Шукшин, — и заняться одной только литературой. Киносценарии писать, конечно, буду, хотя и тяжело, когда по ним ставят другие: все кажется, что сделано не так. Вот сниму еще пару фильмов, заработаю денег на дачу и тогда брошу кино. Дача для меня не роскошь, без дачи в городе трудно работать, все что-то мешает. А будет дача — тогда раздолье: зимой, когда все в городе, живи на даче и пиши себе сколько хочешь, а летом, наоборот, все уедут на дачу, а ты запишись в городской квартире и блаженствуй. Помните, как в записных книжках у Ильфа: «Жена уехала на дачу. Ура! Ура!» А то вот Василий Белов живет в двухкомнатной квартире, а как писать ему, если за стеной плачет ребенок? А еще мечтаю на этой самой даче о паре глубоких кресел, вот таких, как у Крестовского. — И он показал на фотографию кабинета писателя в книге, которую читал. — А больше в жизни мне, пожалуй, ничего и не надо.

На этот раз Шукшин лег в клинику после съемок фильма «Печки-лавочки». Был он в полном изнеможении. А фильм-то еще не приняла комиссия Госкино. Василий Макарович жаловался, что разные комиссии все режут и режут картину, режут целыми кусками, прямо по живому, укорачивают замысел, уничтожают сделанную работу, и чаще всего непонятно почему. Вот только что в фильме сняли песню о России, ее поют студенты в поезде под гитару. Приемщицам она показалась слишком pessimistичной. А для него эта песня — лейтмотив всего фильма: это песня о Родине, о земле, по которой герои едут, она связывает воедино все эпизоды картины, задает настроение. Ничего доказать он так и не смог. Устал, лег в клинику с на-

деждой, что пройдет немного времени и страсти улягутся, фильм-то принимать все равно надо — он в плане, а за невыполнение плана ругают.

В конце месяца фильм действительно приняли. Конечно, что-то урезали, а из «крамольной» песни убрали несколько строк. Просмотр фильма проходил в Доме кино. Василию Макаровичу нужно было присутствовать на нем, выступать. А больничное начальство заупрямилось и отлучку не разрешило. И тут я впервые увидел озорного, улыбающегося Шукшина. Он задумал побег. Договорился с палатным врачом, дежурной сестрой и решил во время ужина потихоньку уйти, а вернуться уже поздно вечером. Он звал меня с собой, но я неважно себя чувствовал, да, признаться, и не отважился бы на такое предприятие. Разработали целый план. Вечером он, накинув на гражданский костюм больничный халат, уйдет через приемное отделение клиники. У входа его будет ждать машина. А ближе к ночи, от одиннадцати до двенадцати, я должен буду стоять «на стреме» у окна и смотреть, когда подойдет машина, чтобы дать сигнал, что все спокойно. Возвратится он через предварительную открытую дверь черного хода.

Все прошло по плану. Костюм ему принесли загодя. Странно было видеть Шукшина в новеньком костюме и кружевной французской рубашке. «Жена купила», — как бы оправдывался он. Но от галстука наотрез отказался, заявил, что хватит и этой рубашки. Вечер, как потом он рассказывал, прошел удачно. Кроме разговоров о фильме, он прочитал и два своих неопубликованных рассказа. Редакторы журналов, в которых он пытался их напечатать, нашли в них какую-то крамолу. Я спросил: не рискует ли он? Но Шукшин ответил, что на этом вечере в основном были свои да и текста-то ни у кого нет, так что конкретно обвинить его будет трудно. Насколько мне известно, вечер действительно прошел хорошо.

Расставаясь, он подарил мне номер журнала «Наш современник», в котором было напечатано несколько его рассказов, снабдив книжку надписью: «Василию Васильевичу Малиновскому. Вспоминайте иногда, что наши палаты были рядом. Очень благодарен Вам за хорошие беседы. Было это — октябрь—ноябрь 1972 г. в Москве в клинике» и подпись. Больше мы с ним не встретились.

О его смерти я узнал случайно по радио прямо на Курском вокзале, за несколько минут до отхода моего поезда. Очень хотелось вернуться и проводить Василия Макаровича в последний путь. Да не пришлось. Ранняя его смерть потрясла, хотя у меня всегда было тяжелое предчувствие, что он не жилец на этом свете. Я видел, как в «Калине красной» ему трудно далась пляска в воровском притоне. Видел, как через силу, прямо с каким-то остервенением, он совершал ратный подвиг в последнем своем фильме «Они сражались за Родину». И еще я видел, как нестерпимо тяжело было жить человеку, душа у которого — сплошная рана, а жизнь без конца бросает на нее щепотки соли.

Так грустно, что он, перефразируя стихи Высоцкого, не доснял, не дописал, не долюбил и не дожил... Кстати, именно Шукшин открыл мне глаза на творчество Высоцкого, которого до этого я считал поэтом московских подворотов и забегаловок. Он сказал, что это настоящий трагический поэт, с болью откликающийся на все события современности. Шукшин не рассказывал о своей дружбе с ним, об этом я узнал из воспоминаний самого Высоцкого, о том, как они тесной компанией собирались в доме на Большом Каретном у Льва Качаряна. Кроме Шукшина и Высоцкого, там бывали Тарковский, Туманов, Макаров, Утевский и другие. На смерть друга Высоцкий откликнулся песней, в которой есть и такие строки:

Смерть самых лучших выбирает
И дергает по одному...

А вообще-то в их судьбе очень много общего:

Вчера лишь пел о Шукшине,
Теперь уж оба в тишине
Лежат в могиле.
Горит калина над одной,
Гитара плачет над другой —
Их не забыли, нет, не забыли...

Да, Шукшин не забыт. Остались память народная о его фильмах и книгах и живые цветы, которые до сих пор кладут на его могилу на Новодевичьем кладбище в Москве. Мне сначала не понравился поставленный ему памятник, он казался каким-то стыдливым намеком на крест. Но потом я решил, что это символ его жизни: укороченная перекладина креста — обрубленные неумолимой смертью руки, такие кресты обычно ставили на русских могилах последнему в роде. Он, наверное, в известном смысле и был таким.



Литературная критика

Панорама

Тетрадь в светящемся кругу...

•
**Ольга Бешенковская. ПОД-
ЗЕМНЫЕ ЦВЕТЫ.** Стихи. СПб., «Terra
Fantastica», 1996.

•
Почти десять лет отделяют первую книгу Ольги Бешенковской от вышедшей в конце прошлого года книги с довольно точным названием — «Подземные цветы», в которой и журфак ЛГУ, и общение с КГБ на фоне желтых домов в буквальном и переносном смысле, и коцегарство в котельной, и еще не случившийся Штутгарт обладают действительной подземностью в большей степени, чем «переменчивым светом» первых публикаций поэта. Многие стихи из этой книги хочется перечитывать, что само по себе явление, по моему, довольно редкое для современной литературной жизни. У Бешенковской есть не только судьба, но и — как это ни странно при тех немилостях и поворотах, которые прочитываются в книге, — сохраненное и даже окрепшее с годами «чувство пути». Можно сказать, что многие ее современники, например, Виктор Кривулин или Елена Шварц, несмотря на всю уникальность поэтического мира их ранних стихов, все-таки подвержены идее отчуждения поэзии до понятия текста, а Бешенковская остается более верна «себряному веку» в том смысле, что в ее стихах почти отсутствует подмена поэтического зрения и слуха дурной бесконечностью ассоциативных реалий современной цивилизации.

Читая «Подземные цветы», я лишний раз убедился, что «школу вкуса», предложенную акмеизмом, не удалось уничтожить ни гигантской совдепии, ни более расплывчатому и потому не менее опасному современному миру «спроса и предложения». Лучшие стихи Бешенковской именно случаются, а не пишутся при помощи центонов, аллюзий и слепых «проекций с оси селекции на ось комбинации».

Не грешила походкой монаршей,
становилась печальней и старше,
постигая российский курьез.
И своя проступала порода.
Да, тюрьма для любого народа,
но — свеченье вечерних берез...

Врачевала мне родина душу,
искалечив судьбу. И не трушу
перед новым порядком вещей.
Но артерии с кровью — границы...
Как бы, Господи, нам не напиток
из кровавых народных борщей...

Наверно, кому-нибудь интонация этих стихотворений покажется слишком мужественной, даже мужской, да что поделать, если уже Ахматова, Цветаева и даже Присманова так иногда наполняют свою поэзию ощущением «выпрямленного позвоночника», что рядом с ними самый «богатый» зрением и слухом из поэтов уходящего века Пастернак более мягок, более далек от чувства единства рождения и смерти. Но не только интонация, а и сами слова у Бешенковской, особенно в ранних стихах, обладают повышенной твердостью. Над ней как бы реет путь Заболоцкого — через двойное безумие: ОБЭРИУ и реальное, но уже в тюрьме — к настолько спокойным внешне стихам («Прощание с друзьями», «Можжевельный куст» и др.), что они парадоксальным образом становятся сильнее (а это, между прочим, невозможно представить!) стихов позднего Мандельштама.

...Не блазни же, Господь,
галереей миров
Муравейник хвалбы и хлопот,—
Чтобы в бледном,
клиническом свете метро
не почудился выход — и вход...

Казалось бы, сколько еще мучительной злости может таить в себе каждый намек? Но вот открываешь последнее стихотворение в книге и понимаешь, что стиль неумовимо «перевернулся» из восьмидесятых в девяностые, а стихи стали и более спокойными, и более беспощадными одновременно.

...Но вот уже вечер,
а солнце являет с усмешкой
В блистательной пене — навыворот —
мутные складки.
Прощайся с Россией,
довольно метаться, —
до мещай,—

Здесь все с подоплекой и каждый —
 в бессмысленной схватке.
 Я знаю, я помню, я вижу, что я погибаю,
 Таскаясь на службу,
 бряцающая на кухне посудой.
 Но снова конверты
 далеким друзьям загибаю
 С ответом «Не знаю...»,
 и знаю, что смертна повсюду.
 И так ли уж важно,
 затопчут в какой заварухе,
 Какой вертухай
 не оделит живительным хлебом,—
 Не все ли равно
 сорокапятилетней старухе,
 Не видевшей стран,
 но якшавшейся с морем и небом...

Поэт знает все-ничего, однако всегда не так, как этого хотел бы он сам. Пусть жизнь обманывает смерть «неизвестным для него способом», пусть между рождением, любовью и смертью ему одному дано поставить абсолютный знак равенства, но есть еще что-то — зеркало или эхо? — что возникает в щелях бытия помимо его воли. И вот когда «чьи-эти-счастливые-лица?» легко проходят мимо столь важных для него вещей, перед ним снова и снова встает один и тот же мгновенный выбор: искусство или жизнь? Парадокс заключается в том, что любой из выборов, осуществленный последовательно, в обычном времени, будет заведомо неверен... Поэт вынужден жить в одновременном мире и писать стихи, в которых все меньше сюжетных признаков и все больше этой мгновенности, столь явственно отличающей двадцатый век от предыдущих.

...В этой жизни фламандской нам,
 слава те, нету местов,
 Как в столовой, где ночью биштексам
 сопутствует скрипка,
 Мать и мачеха, родина, клетки —
 этаж к этажу...
 и подвальный росток
 преклонился в твоём изголовье...
 Но из блещущих строк
 я кольчуги тебе не свяжу,
 Дабы сброд насмеялся
 над нашей расплеванной кровью.

Надо сказать, что стихи Бешенковской глубоко пронизаны ассоциациями именно так, как это и подобает современному поэту: извините, но с вами говорить не хочу, а вот с Арсением Тарковским («Если правду сказать, я по крови домашний сверчок»...) и со многими другими буду «аукаться в надвигающемся мраке». «Россия. Ночь. Атараксия. /Тетрадь в святащемся кругу, /И голубые на снегу /Линейки сосен темновые,— /Не эта ль сумрачная связь...» Казалось бы, прозвучало только пять строк, а уже — и Блок, и Георгий Иванов, а еще через несколько строк промелькнут Пастернак, Мандельштам... Или вот, например, чисто интонационно,

без единого слова — Иван Елагин: «Надо было, гордыню тая, /Сесть не в лужу, а в автомобиль. /Ибо родине участь твоя /И любовь — безразличны, как пыль...» Иногда в стихах Бешенковской проглядывает грех лицедейства, который пожрал так много поэтов в нашем веке. То она не соблюдает чувство меры в мире палочек Коха и гинекологических кресел, то стихи как бы меняют адресата — с вечности на окололитературную тусовку типа «Сайгона» или СМОГа. Но мне кажется, что поэт сам знает об этих неточностях и скорее всего уже преодолел их.

Алексей КУБРИК

Неописуемые караты

Асар Эппель. ШАМПИНЬОН МОЕЙ ЖИЗНИ. Москва — Иерусалим, «Гешарим», 1996.

Как бы ни хотелось некоторым любителям первоисточников уверить нас, что предисловия и комментарии читать не стоит, а нужно брать только текст, книга, в предполагаемом единстве ее замысла и исполнения, начинается с обложки, как начинается с вешалки известное всем учреждение.

Хмурый сельский пейзаж. Сталисто-голубоватое, в бледную светлую полосу небо, коричневатая-охристая земля. Справа — сужающийся к условной точке горизонт забор, слева — бревенчатые столбы электропередач, они же по совместительству и фонарные, уходящие в ту же точку, куда и забор, и колеи грунтовой дороги, местами выложенной досками, которая свободно раскинулась в центре. У столбов на переднем плане зависла над дорогой сутулившаяся темная фигура в свободной, словно с чужого плеча, одежде и странной круглой кепке с большим изогнутым козырьком, похожей на шляпку молодого шампиньона. Фигура поднесла одну руку ко рту. То ли ногти грызет, то ли семечки, а может быть, курит или умешку прячет — разобрать невозможно. На обороте титула разъясняется, что обложка воспроизводит коллаж А. Коноплева «Будущий автор на своей травяной улице» с использованием фрагмента живописи «Вид на

5-й Ново-Останкинский проезд от ворот дома Кузищевых, выполненный Н. Мостовым, обитателем, как и автор, этого самого проезда».

Итак, обложка и подпись к ней настраивают на некоторую документальность, создают атмосферу тех лет, когда никакой вам башни в Останкине, а покосившиеся столбы, грунтовые дороги да глухие заборы.

Книга подтверждает ожидание, внушаемое пейзажем с обложки: действительно, автор использует в качестве основного материала рассказов воспоминания о поре своего детства и юности, вся их событийная сторона отнесена в казавшееся недавно таким близким, но теперь уже далекое прошлое. Ведь одно и то же вспомнить можно по-разному. Для кого-то 40-е — начало 50-х годов «золотой век» и «рай земной». Для кого-то — жуткие годы агонии чудовищного режима перед наступлением относительно «вегетарианских» времен. В авторской позиции тут сомневаться не приходится, однако в изображении тех лет А. Эппель избегает какой-либо односторонности, придерживаясь не того, какой ярлык можно приклеить на это время сейчас, а того, что было увидено тогда. Поэтому, несмотря на гнетущую политическую и социальную атмосферу тех лет, которая растворена в ткани его рассказов, для автора это прежде всего время молодости, весны, «распутицы несусветной, бесстыжей раскисшей земли и голубого надо всем блюдечного неба». «Превосходная» степень впечатлений детства и юности — основной эмоциональный тон книги.

Словом, если литература хоть чему-нибудь учит, то есть если существует хоть один человек, который хочет хоть чему-нибудь учиться, в том числе и у литературы, то в книге Эппеля он найдет иллюстрированное пособие по искусству вспоминать. Как превратить это подчас мучительное состояние «невозможного сна», наполненное кошмарными ночными стуками в окно или мучительно-невозвратимыми мгновениями счастья из чего-то эмоционально узкого и одностороннего в новое жизненное переживание, наполненное не истерикой, но осмыслением, не бесплодными упреками самому себе, а скорбью и покаянием, не повторяющимися конфузками и детскими страхами, а освобождающим и очищающим смехом, не угнетающей тоской по ушедшему счастью, но радостью обновленного чувства. Для этого требуется так немного. Всего лишь творческое усилие.

«Мимо тянет телегу лошадь. Возможно, не телегу, а дровни. Возможно, последние в сезоне, а возможно, последние, какие я видел в жизни. Если это телега, она плохо катится по вязкой жизни, а ло-

шадь выпрастывает копыта <...>, но если представить, что сапоги ломового мужика промокли...» Обрывки воспоминаний на наших глазах соединяются между собой, постепенно образуя целостный образ. А если достаточно воображения, то и себя можно увидеть в прошлом со стороны. Так появляется в рассказах фигурка «будущего автора»: «Ты встаешь к дощатой стене предместья. Возлагаешь на нее руки и утыкаешь в них стриженую голову. <...> Это ты водишь в пряталки. <...> Ты — неотвожа. Давай отваживай. Хотя они здорово попрытались. За столько лет — ни одного. Кто ж их найдет, если не ты?» И фигурка неотвожи-рассказчика с обложки висит над улицей. Автор как бы не знает, куда ее поставить, кого в этот раз найти, о чем рассказать. И вот в рассказе «Неотвожа», откуда цитата, сначала возникает электрический свет («годами не было»), который вдруг зажигается в фонарях (они тоже знакомы нам по обложке), а по разбитой дороге едет первый в этой окраинной глуши автобус. Мы будто присутствуем при процессе воспоминания. Автобус едет, наполняется пассажирами. Среди них два вора-карманника, которые начинают по привычке орудовать («севши в наш автобус, оба, конечно, лопухнулись, но сперва до этого не доперли»), поскольку выйти уже никак невозможно. Народ замечает, что происходит что-то неладное, и по ходу дела, то есть развития сюжета, то есть движения автобуса, рассказывается с пяток любопытных историй из жизнибираемых ворами граждан, плюс — где-то посередине, ввиду непредвиденной остановки рассказа-автобуса, — история о том, как шофер ходил за водой, а мальчик у колонки ему эту воду налил (не «будущий» ли это автор в еще более юном возрасте, впервые осиливший неподатливый колоночный рычаг?). Воспоминание, дававшееся поначалу с таким трудом (я имею в виду предваряющие основной сюжет разговоры рассказчика с самим собой), рассыпается, наконец, из крепко сжатых кулаков памяти драгоценной пригоршней лиц, характеров, биографий, всевозможных деталей, диалогов-перебранок, юмористических и гротескных ситуаций, блистая едва ли не всем экспрессивным диапазоном русской лексики, как рассыпаются из рук фармазонки Доры натуральные сапфиры да алмазы, «неописуемые караты», за которые «можно откупить назад всю Аляску или сделать вычистки всем женщинам бывшего Ростокинского района». Но вот автобус уходит своей дорогой. Воспоминание отсверкивает последними своими сапфировыми искрами и затухает. Один рассказ заканчивается, и начинается новый, а с ним и новая попытка найти место для фигурки неотвожи.

Но, выясняя, а был ли мальчик, я забежал несколько вперед, раскрыл, так сказать, книгу на середине, как некий нетерпеливый читатель. Открывается же она рассказом ей одноименным, значит, пора вернуться к нему и уяснить по мере возможности эту «далековатую» метафору — «Шампиньон моей жизни». Что ж, первый рассказ оказался таковым отнюдь не случайно. Правда, сюжет в нем в отличие от всех последующих почти отсутствует, зато из него можно извлечь нечто вроде авторского предисловия или манифеста, понять контраст унылого тона обложки и яркой метафоры в заголовке. Дело происходит на свалке, полузатопленной по весне, через которую по дороге куда-то прыгают с кочки на кочку «будущий автор» («Шампиньон Моей Жизни»), обозначаемый здесь местоимением «ты», и его знакомец-ровесник («Шампиньон Его Жизни»). Несколько встреч-разговоров, несколько молодых прозрений о жизни, любви, литературе. О них до сих пор помнит и вновь размышляет рассказчик. Параллельно беседам двух молодых людей разворачивается своего рода диалог между автором «будущим» и нынешним. То, что запомнилось первому, последний должен собрать воедино, восполнить лакуны, заново осмыслить и перевести с языка памяти (вот где необходим талант переводчика) на язык художественного текста. «Огромная и вхолмлленная, избыточная такой непролазной грязью, таким множеством небес в лужах, такими отблесками солнца в растекшейся блистающей глине, таким вороньем. <...> ...а свалочные косогоры вдобавок к солнцу в лужах сверкают несметным битым стеклом, так что солнца и его подобий (а это — высочайшая степень восхвалительных уподоблений!) — целые мириады, и каждая стекляшка получается Падишах, и каждая лужица — Людовик Солнце, и водомоина — Рамзес». От кого идут все эти изысканные уподобления и метафоры? Вряд ли они от героя рассказа, воображаемого в далеком прошлом авторского «ты». Тому достаточно было увидеть и запомнить. Нынешний же рассказчик присовокупляет к воспоминанию всех этих шахов и рамзесов, чтобы передать «высочайшую степень» чувств и переживаний молодости. Из сора свалки-памяти прорастает нечто неожиданно-новое. «Шампиньон» в заголовке, имея в виду и молодость, и отправную точку, и свалку, указывает прежде всего на самый стиль повествования: ярко-образный, иронично-парадоксальный и лукаво-неточный, если в свою очередь, вспомнить, что шампиньон в Москве — гриб летний, а не весенний, как можно предположить из текста рассказа.

Ведь мы имеем дело не с воспоминаниями в собственном смысле слова, а в не

меньшей степени с литературным приемом, позволяющим автору, с одной стороны, придать излагаемому аромат факта, а с другой стороны, предоставляющим ему максимальную свободу в подаче материала. Создается особая игровая атмосфера, когда читателю постоянно приходится решать, в какой языковой ситуации он оказался. Ритмично сменяющие друг друга отрезки текста с различной степенью субъективации, достоверности, конкретности, эмоциональной насыщенности и иронической отстраненности удерживают внимание в постоянном напряжении ожидания, знакомом каждому, кто играл в прятки. И это ожидание оправдывается. Воспоминание обрастает все новыми деталями и подробностями, которые неожиданно принимают самые причудливые и гротескные формы. Единственное, что их, по существу, объединяет, — это их сюжетное время и место. А об этом времени и месте автор может говорить бесконечно и очень по-разному, и любой прием тут оказывается хорош, и чуть не каждый предмет годится, и всякое лыко в строку. Смежность предметов разговора, их метонимичность — здесь главный организующий принцип, перекрывающий и оправдывающий все остальное. Образы возникают по их соседству в безусловной точке горизонта памяти. Характерно авторское замечание: «...а в третьей доле жили люди для рассказа непригодные, хотя сама их ненужность сюжет громадный и трагический, и очень возможно, что и про третью семейку я как-нибудь соберусь и сочиню». Если тут для чего-либо не находится места, то лишь потому, что уже нашлось место для много чего другого. А не уместившееся здесь «переезжает» в другие рассказы, которые примыкают друг к другу, как комнаты в коммуналке или песни единого эпического цикла. Так что «шампиньон его жизни» и не метафора вовсе, а метонимия: рос он там по соседству, а весной или летом и на что он в своем подростковом возрасте похож — это не столь уж важно. При таком построении рассказа сюжетная основа отступает на второй план, обрисовывая контуры фабулы-грибницы, то тут, то там выбрасывающей из-под спуда плодоножки шампиньонов-микрорассказчиков, со своими микроперсонажами живой, неживой или даже фантастической природы: «Из оконца всякое лето выплывал толстый фестон то ли смолы, то ли вара. До земли, хотя оконный проем был вровень с метелками сорных дебрей, он не доставал. ... И, надо понимать, был это язычина коренастой теплой стенки — просто она его, упарившись от зноя, вываливала, но не свешивая по-собачьи, а настырно и жутковато». Такой микрогерой может появиться несколько раз (как, например,

этот самый «язычина») и даже существенно повлиять на ход событий.

Среди многочисленных персонажей рассказов А. Эппеля стоит остановиться на одном, который был мною уже неоднократно упомянут, но в этом качестве не оговорен. Это сам Автор. Он многолик, по крайней мере двулик, и трудноуловим. То он прячется за поворотами сюжета, то проглядывает в общем смысловом и эмоциональном тоне рассказа, то притворяется мемуаристом-воспоминателем, то воплощается в себя прошлого (в «будущего автора») и словно ведет речь оттуда, а то передает свои мысли и эмоции какому-нибудь третьему лицу.

В сарае на верстаке девушка любитя по очереди с четырьмя юнцами. Следует несколько страниц немыслимого внутреннего монолога, который она последовательно обращает к каждому из них. Умберто Эко хвастался в автокомментарии к роману «Имя розы», что писал любовную сцену (сплошь составленную из обрывков богословских текстов), воспроизводя на клавишах машинки ритм любовного акта. Так и тут. Готов согласиться, что кому-то эти монологи покажутся вполне правдоподобными, но правдив именно их ритм: «Идешь ты или нет?.. И чести вы нас лишаете, и силой берете, и хуже вас на свете нету, и уходите в синюю даль, а мы плачем и от злости изменяем вам... Изменишь тут, как же! А вы появляетесь, когда вздумаете...» Однако в приведенном отрывке Автор сказывается не только в ритме, но и в особой перечислительной интонации, и в обобщенных «мы» и «вы», и в масштабе мышления. Его стараниями речь девочки превращается в причитания женщины вообще, и повествование переходит на другой, более высокий уровень.

Поток сознания героини обрывается, когда на смену разбежавшимся малолетним любовникам приходит мясник-наильник. Только и дает сказать ей Автор: «Дядечка! Вы чего — по-развратному?..» — короткая прямая речь, хотя и здесь мог быть внутреннний монолог, да еще какой. Но Автор выключает «изображение» и сам подводит черту: «хрустнула всем своим остовом Божье Творение, хрустнула ракушка-кохиноида, и погас навсегда опаловый свет ее, ибо Слава Творения — жизнь — пресеклась». Что ж, контраст любовного речевого избытка и одинокого выкрика жертвы здесь закономерен. Ибо, думается, самый стиль Автора с его лексическим, метафорическим, эмоциональным, ассоциативным и предметно-событийным избытком есть

очевидное следствие и выражение любви к жизни и к прошлому как ее неотъемлемой части. Что еще, как не свое слово, может противопоставить писатель столь изобретательной и масштабной в двадцатом веке смерти?

Тем страннее, что это трагическое событие вынесено в концовку рассказа да и всей книги. Ведь, если судить об Авторе по законам, которые он сам себе создает, то, несмотря на свободу, извлекаемую из позиции «двойного авторства» (к слову, использовал в своем романе такой прием и Эко), все остальные рассказы сборника кончаются хорошо, хотя и в них изображены дикие нравы предместья и самой эпохи, так что не только героине «Aestas sacra» «закричать было нечем — голова ведь пропала в веках, а рот в задворочную эпоху зажала громадная пятерня».

Но воры остаются ни с чем, чудесным образом наказанные не людьми даже, а своим прошлым; летчик, два года пропадавший на секретных заданиях, возвращается домой; юноша и девушка, которых в самом начале их любви разлучила война, а жестокие нравы той поры выставили изменниками, одного — Родине, а другую — любимому, обретают друг друга вновь... Жизнь и любовь, чья ценность для Автора безусловна, торжествуют в сюжетных развязках над ложью, беспамятством, косностью и схематизмом, этими всегдашними масками смерти. Наступающая смерть и сопротивляющаяся, возрождающаяся и продолжающаяся жизнь — вот динамика всего сборника. И — неожиданный, трагический его финал. Предупреждение? Жирная точка, поставленная Автором под завязку, необходимая для композиции книги и столь противоречащая всей ее поэтике?

А может быть, дело в том, что написанный за три года до всех прочих рассказов «Aestas sacra» попал сюда из совсем другого сборника? На общем фоне книги его композиция создает впечатление, будто Автор сам оказался в плену у схемы, схемы собственного рассказа. Любовь и смерть, воплощенные в других рассказах в конкретные образы, здесь персонифицированы в аллегорических фигурах амура и сатанинского хромого мясника. Амур стреляет — происходит любовь — и улетает: его дело сделано. Остановись Автор на этом — получился бы вполне эппелевский (в духе этой книги) рассказ, в котором и так хватило бы и жесткости, и масштабной аллегоричности. Но уже обозначен мясник, которому, раз уж амур улетел, ничего не остается, как прийти ему на смену и «сотворить мясо». Автору же

ничего не остается, как это описать и развести руками: «и было лето, а не весна, и никто никого не убивал, а что сказано, то сказано, и я умолкаю, набравши в рот воды творения...». Ну а раз «никто и никого», то это сделал сам Автор, именно тем, что «сказал».

Судя по проставленным датам, в этом году исполняется пятнадцать лет, как написаны рассказы, вошедшие в новый сборник А. Эппеля. Удаленные на столь долгий для литературы последнего десятилетия срок (вспомним, сколько за это время было издано нового, опубликовано в свое время не изданного, сколько явление из небытия и забвения, а сколько обозначилось литературных групп и стилей), они оказались удивительно своевременными и современными, как по своему содержанию, так и языку. Подобно тому, как эпоха 40-х — 50-х в них проецируется из прошлого, становясь неотъемлемой частью жизни повествователя, они оказались спроецированы в нынешнюю литературную ситуацию, вызвав много разнообразных откликов (любопытно: по опросу «Книжного обозрения» сборник был назван «самой веселой» книгой года). Не чуждые интеллектуальной и формальной игры, так что по ряду признаков их вполне можно отнести к «постструктуралистско-постсоцартовско-неоавангардистскому комплексу» (перефразируя известную словесную конструкцию И. П. Ильина), они как бы на новом витке напоминают о традициях классического повествования с установкой на смысловую, стиливую и композиционную гармонию целого.

Часто говорят, что нынешний кризис в литературе вызван тем, что для многих писателей противостояние советскому режиму было противостоянием запрету, а в условиях свободы писать оказалось не о чем. Но попробуем перечитать эту самую «литературу противостояния». «Жесткая проза» уже не страшит, тотальная ирония даже не забавляет, «метаметафора» не потрясает, поток высокоинтеллектуального сознания вызывает скуку, авангардное кажется глубоко вторичным. А новые сочинения большинства авторов этих текстов даже и перелистать не хочется. И тут оказывается, что запреты не от власти исходят, что они были и есть всегда — как противостояние бытия и небытия, живого и механистичного, творческого и претенциозного. И как приятно, открыв новую книгу, например, А. Эппеля, обнаружить, что речь в ней идет о чем-то простом и в наши дни столь труднодостижимом, почти невозможном, едва ли не запретном: о чуде каждого из мгновений

жизни, помноженных на чудо языка, памяти, творчества.

Дмитрий ПОЛИЩУК

Наши

●
Дина Рубина. «ВОТ ИДЕТ МЕССИЯ!..» М., «Остожье», 1996.

●
 Так и читаешь этот роман Дины Рубиной: наши — там, в стране, которую считают своей прародиной и куда уехали кто от подсознательного ощущения униженности, кто от опасности ползучего фашизма, кто в надежде на нормальную жизнь, если не свою, то детей и внуков, кто с давним заветным желанием вновь обрести родину праотцов и принять участие в возрождении государства, кто с только пробуждающейся любовью к этой земле, среди собравшегося со всего мира после веков рассеяния еврейского народа, которому, согласно древнему библейскому преданию, должен явиться Мессия — Машиах по-ивритски.

Большинство героев Рубиной недавно здесь, в Израиле, они понемногу адаптируются, зарабатывая в поте лица своего на хлеб и на собственное жильё. Перед нами судьбы бывших сограждан — главной героини журналистки Зямы, ее двойника — известной писательницы N., музыканта Виктора, переквалифицировавшегося в журналиста и верстальщика, вместе с которым Зяма издает литературно-публицистический еженедельник «Полдень», скромной библиотекарши Ангел-Раи, ставшей душой местной алии и наделенной огромными организаторскими способностями, которые она использует для помощи окружающим, Мишки Цукеса, в прошлом актера, ныне распространяющего некое мифическое весельное снадобье под названием «Группенкайф»... Их много, героев Дины Рубиной, смешных, странных, заматаных жизнью, веселых и печальных, вспоминающих с ностальгией или смятением о прошлой жизни и по мере сил пытающихся встроиться в жизнь новую.

Странную эту жизнь особенно остро можно почувствовать через ощущения и восприятие Зямы. Она, по замыслу писа-

тельницы N. (alter ego автора), должна погибнуть от террористического акта. В этом есть некоторое писательское своеволие, но есть и своя логика — Зяма постоянно предчувствует опасность. В ее гибели — правда, которую писательница пытается противопоставить своей иллюзии безопасности, иллюзии тем более явной оттого, что реальность свидетельствует о прямо противоположном.

Эта страна, с которой Зяма еще по-настоящему не свыкла и которая только-только начинает приоткрываться ей в своем подлинном своеобразии и очаровании, вне заполошных забот о существовании, вне этой повседневной гонки за заработком, тревожных мыслей о будущем и о детях, особенно о старшем, служащем в армии, эта страна не устает поражать ее своей домашностью — при том, что постоянно происходят теракты, проливается безвинная кровь, а где-то на глубине бродит вековая ненависть, готовая вот-вот прорваться.

И вот Зяма, узнав о том, что ее знакомый Хаим Горк тяжело ранен арабским террористом, восклицает в отчаянии и ярости: «Я хочу, чтоб они все сдохли!.. Все они, со своими женами, детьми и животными!»

Страшные слова, и тем более они страшны, что произносит их добрый по натуре человек. В этом проклятье, в этой внутренней мстительной непримиримости для героини, воспитанной совсем в других традициях, — тупик. И муж горько отвечает: «Вот к чему мы пришли. Стоило жить четыре года в вагончике и каждый день играть со смертью, чтоб в конце концов потерять человеческое лицо. А теперь я, старый врач, хирург, со всеми спущусь в Рамаллу и буду бить окна в арабских виллах и жечь их машины».

И тогда Зяма восклицает: нет, она не пустит его!

Это другая реальность, с которой ей, как и многим, приходится смириться, принять ее законы, потому что от этого зависит их существование на этой земле. Как говорит раввин на диспуте по телевидению: «...Если тебе нечего будет пахать, не на чем строить дом для твоих детей, негде хоронить родителей, зачем тебе мир?» Но также резонно звучит ему в ответ: «Но разве жизнь человеческая не дороже клочка земли?»

Зяма отпустит мужа, потому что иначе нельзя, и оттуда, из арабского селения Рамалла, донесутся выстрелы, звон битых стекол, крики и лай собак, а потом встанет зарево.

Как понять, что же в этой жизни главное? Ради чего люди срывались и ехали

туда, оставляя места, где прожита большая часть жизни, друзей, могилы родных, может быть, и не приносящую благосостояния, но все-таки любимую работу? Конечно, это надо ощутить самому — чувство, что ты в своей стране, где никто не может крикнуть тебе с перекошенным от слепой ненависти лицом: «Убирайся в свой Израиль, жидовская морда!»

Но ведь и здесь, в этой самой стране, которая, казалось, так ждала тебя, героям Рубиной приходится не только бороться за существование, но они вовсе не гарантированы от вспышек все той же ненависти, уже со стороны арабов, не желающих согласиться на право еврейского первородства на этой земле. Правда, теперь они чувствуют себя под защитой в полном смысле своего государства, в этом единственное их утешение.

Да только своего ли?

Ведь русская алия, особенно из ново-прибывших, как показывает Рубина, все равно чужая, еще не успешная пустить корни, не знающая иврита, без которого ни получить настоящей работы, ни почувствовать себя полноценным гражданином...

А ведь так хочется нормальной жизни! Так страстно тянет наконец избавиться от неизвестности, обрести некоторую стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Стать своими в своей стране. Возможно ли?

Эти проблемы ее героев, как и страны, пока не ставшей для них действительно обетованной, болезненно волнуют Рубину. И ведет она свою героиню Зяму, симпатичную, живую, легкомысленную, вдумчивую, циничную, веселую, острую, к гибели — не потому ли, что не только героиня, но и сама писательница драматически переживает эту ситуацию, пока не видя для нее разрешения?

Добро тем, кто, подобно еврею Михаэлю, приехавшему в Израиль из Парижа, где он родился, проникся удивительным, почти мистическим чувством: «А твоя земля... Ты мог болтаться вдали от нее тысячу и две тысячи лет, но когда ты все-таки вернешься сюда из прекрасного города своего детства и своей юности, от любимых друзей и возлюбленных, которых ты ласкал... когда ты все-таки вернешься... она отверзает для тебя свое лоно и рожает тебе, и рожает — дважды в год... Ты не успеваешь снимать плоды с деревьев... А когда ты умираешь, она принимает тебя в последнее объятие и шепчет тебе слова кадиша — единственные слова, которые жаждет услышать твоя душа... Вот что такое эта земля для тебя».

Может, это действительно чистая правда, как просветленно думает похмельный Сашка Рабинович, к которому обращено это замечательное признание, но у Рубиной нет четкого, целенаправленного движения к этой правде. Все не так просто в этой жизни, и путь к ней перемежается у ее героев приступами отчаяния и тоски, сомнениями, иронией и т. п.

Показывая, как в праздник Йом-Кипур, в грозный Судный день, молятся плечом к плечу в синагоге «русских», мало похожей на синагогу, в адской духоте подвала недавние и давние переселенцы, автор испытывает некоторое умиление, потому что в единстве этого молитвенного устремления, в этом «плаче и ропоте, мольбе и ужасе — вопле стыда и покаяния», та же мистическая иррациональная связь и с землей, и с Богом — если не оправдание всем прошлым и нынешним страданиям, неприкаянности, жертвенности и жестокости, то, во всяком случае, обретение самого главного смысла.

Но даже и теперь в романе этот смысл все равно остается проблематичным. Возможно, именно потому вдруг понимаешь, что суть не в особенностях здешней жизни, а в глубинном свойстве человека вообще. Во-первых, еще у Грибоедова сказано: там хорошо, где нас нет. А во-вторых, как бы ни цеплялся человек за землю или за вещи, за благополучие или комфорт, успех или признание, в душе его все равно остается та метафизическая неприкаянность, в которой, наверно, и находит свое выражение его трагическая сущность.

Рубина это чувствует. Чувствуем это и мы — сквозь смех и слезы ее нервной, веселой, горькой и прямой прозы.

Евг. ШКЛОВСКИЙ

Между Рубенсом и Рембрандтом

●
**Лев Лосев. НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О
КАРЛЕ И КЛАРЕ.** СПб., Пушкинский
фонд. Журнал «Звезда». 1996.

●
Как описать прогулку? Шабли во льду,
зажаренную булку или первомайский

транспарант, трепещущий на весеннем ветру? Любая мелочь может оказаться значимой, любой жест — жестом палача, героя или актера, то есть весьма символичным. Проза жизни в которой и которая. Здесь Родос, здесь и прыгай. Ну да, именно. Пыль сонных и пустых предместий. Души ночная scarlatina. Случай Вермеера Делфтского, когда крохоборческое, ничего не пропускающее зрение переходит из количества (all that jass, "cop") в музыку небесных сфер. Небеса начинаются здесь.

Не то что держат взаперти,
а просто некуда идти:
в кино ремонт, а в бане были.
На перекресток — обонять
бензин, болтаться, обгонять
толпу, себя, автомобили.

Как объяснить это странное сочетание обыденности (точно полуденное радио говорит, и сил нет выключить), язвительности с отрешенностью и вызревающей в недрах какого-нибудь телевизора философичностью. Еще со времен Фауста знают, как не просто остановить мгновение, что для этого нужно. Виски пить как цыкуту, а хлеб и вино как? Анкор, еще анкор... О, бедный Йорик, и ты бы мог как шут.

*душа крест человек чело
век вещь пространство ничего
сад воздух время море рыба
чернила пыль пол потолок
бумага мышшь мысль мотылек
снег мрамор дерево спасибо*

(Курсив Л. Лосева.)

Маленькие, как на кафельной плитке, но композиционно окольцованные, замкнутые миниатюры, точно для 16-й полосы «ЛГ», если бы не глубина обратной перспективы, делающей близкое далеким, далекое близким. Жанровые почти сценки или же заметки на полях. То, что у елизаветинцев называлось wit ("священная легкость" при сопряжении трагического и комического), которую Элиот характеризовал "на высшем уровне — проявлением божественной мудрости". Сквозь мелкую паутинку трещинок на фаянсе проступает по-прежнему четкий (острый) рисунок сюжета.

Вы человек? Нет, я осколок,
голландской печки черепок —
запруда, мельница, проселок...
а что там дальше, знает Бог.

Важно, что в книжке, в-куче-в-массе,
разнобойно, несколько теряются и туск-

неют. Важен контакт. Или контекст. По-мню, в “Арионе” подборка выглядела, как связка воздушных шаров над ярманкой или как Голиаф среди Среды. Или другие, более журнальные публикации, когда зажатые между скалистыми и массивами прозы цвели эдельвейсы и пьянили... То ли запах, то ли разреженный воздух, не знаю. Важна разница уровня моря, оптики, темпераментов в конце концов. Значит, судьба. Судьба как стиль.

Такая случайная фраза
в такие печальные дни
бросает на кухню, где газа
довольно — лишь кран крутани.

Рифмоплетство, виршеписание как поедание макарон, вермишели, лапши: тесто, масло... Если архаика, так самая дремучая — *за соломянем*, если новации, то самые технологичные (как это... безотходные, передовые, да?), не выглядят ультрасовременно, но как обувь приобретает форму хозяйской ступни, приобретают. Странное межмучное положение. Очень по-русски, но в Америке; достаточно сильно, но без отклика-окрика — (не раскручен!), хотя поболее других *учителей* достоин. Отсутствующее присутствие. Зияющая пустота; сквозняк, обозначивший форму дома. Лосев как с Марса какого. Куда его? С кем рядом поставить? На какую полочку записать?

Восемнадцатый век проплывает, проплыл, лишь свои декорации где-то забыл, что разлезлись под натиском прущей русской зелени дикорастущей.
Видны волглые избы, часовни, паром.
Все сработано грубо, простым топором.
Накарябан в тетради гусиным пером
стих занозистый, душу скребуший.

В Эрмитаже есть особенно просторный Шатровый зал, где висят Малые голландцы (XVII век). Как раз после избыточно-одышливого Рубенса перед точно слепнувшим Рембрандтом, между. Небольшие, ни на что не претендующие картины в духе wit. Камерные Терборх и де Гох, разгульно-карикатурные Стен и ван Остаде, буйные Гальс и Геда (темпераментные портреты и роскошные натюрморты, т. е. природа, живая и неживая), масса подмастерьев и зрелых мастеров. На все вкусы: твари — по паре, сестрам — по серьгам. Говорливая, знаете ли, толпа, но в массе — как китайцы: на один манер. Если пробегаешь. Обычно пробегаешь, но иногда, если *твой дискурс сегодняя таков*, приходишь подышать. Как

морским воздухом. Как развалом рыбного базара.

Вижу: волна на волну набежала.
Смерть это, что ли? Но где ее жало?
Жала не вижу. В воду плюю.
Вижу я синие дали Тосканы
и по-воронежски водку в стаканы
лью, выпиваю, сызнаво лью.

Малые голландцы. Легкие, летучие...
Летучий Голландец.

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ

Две русско-финские книжки

Количество финнов, изучающих русский, в последние годы растет: все больше гостей из России и соответственно связанной с ними работы. Наши богатые соотечественники покупают дачи. Коммерсанты везут гладильные доски: вообще-то страна дорогая, но гладильные доски почему-то традиционно в два раза дешевле, чем в Москве. Иногда можно встретить на улицах наших качков, которые с уважением посматривают на владельцев сотых телефонов (они в Финляндии у всех, кому не лень, ибо производятся Nokia непосредственно здесь и стоят сущие копейки). В трамвае сплошь и рядом читают русские боевики, в метро разговаривают на русском языке. «Сторожевая башня» — название журнала общества любителей Иеговы, подаренного нам на улице русскоязычным агитатором. Кама Гинкас поставил здесь «Макбета», в опере дают «Бориса Годунова» (с видеопроекцией портретов Ленина, Сталина, Ельцина), на кафедральной площади спокойно высится Александр Второй.

При «Ренвалл-институте» уже семь лет собирается Русский кружок. Каждую среду можно прийти в русскоговорящий коллектив, попить чаю с печеньем, послушать доклад. Темы докладов поражают своей пестротой: «Аграрные отношения в Западной Сибири в семидесятых годах XX века», «О сексуальной ориентации

Ивана Грозного», «Археологические раскопки в Удмуртии». Принцип сугубо правильный и вполне архетипический: людям, живущим на чужбине, всегда есть дело до всех проблем Родины. В общем, нет ничего удивительного, что и литературные русско-финские связи как минимум не ослабевают.

●

МОДЕРНИЗМ И ПОСТМОДЕРНИЗМ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ. Под ред. П. Песонена, Ю. Хейнонена и Г. В. Обатнина. *Slavica Helsingiensia*, v. 16. Helsinki, 1996.

●

Первый том *Slavica Helsingiensia* вышел в 1983 году, включал в себя доклады финской делегации на съезде славистов в Киеве и состоял всего из сорока семи страниц. Шестнадцатый, увидевший свет в начале 1997 года, — ровно в десять раз толще. Между ними — четырнадцать лет работы, множество сборников и монографий («Восточнославянские отглагольные существительные на -м-», «Письма Михаила Чехова Мстиславу Добужинскому», «Литературный анекдот пушкинской эпохи»).

Том назван «Модернизм и постмодернизм», большинство опубликованных докладов прозвучали двумя годами раньше на одноименной конференции в университете Хельсинки. Это сочетание несколько непривычно для современных академических проектов: в этой среде исследователи постмодернизма, вооруженные методиками Деррида, Делеза и Фуко, обычно не очень дружат с любителями Серебряного века и символистских духовных прозрений, чьи методологические поиски, как правило, останавливаются на московско-тартуской семиотической школе (да и сам факт, что в постмодернистских концепциях значительную роль занимает критика модерна и авангарда, говорит о многом). Средняя славистская конференция по русскому постмодерну — это тусовка немецкоязычных ученых, ориентированных на описанный Б. Гройсом «московский романтический концептуализм», плюс околонульные деятели культурологического толка. Такое сочетание обеспечивает, как правило, хороший уровень докладов, но превратилось уже в почти рутинное и потихоньку превращается в маргинальное. Финские коллеги демонстрируют другой — наверное, более живой — подход к делу: пытаются создать поле для диалога между предста-

вителями разных методик. Результат часто получается обнадеживающим. Хорошими примерами «сближения дискурсов» могут быть работы Александра Эткинда, проповедника постмодернизма, нежно изучающего Серебряный век, — в сборнике представлена его статья «Полет золотого петушка: мистика и эротика в русской антиутопии (от Пушкина до Виктора Ерофеева)» — и Людмилы Зубовой, классического лингвиста, проверяющего академическим комментарием стихи Анны Альчук, Пригова, Кибирова и Сапгира.

Из других статей 16-го тома *Slavica Helsingiensia* хочется выделить работы Натальи Башмаковой — «"Болтовня теней": тень как категория семантического протекания в творчестве Елены Гуро», Елены Хеллберг-Хирн — «Невский проспект в свете постмодернизма» (исследуются не литературные тексты, а язык самой улицы: вывески, выкрики, названия), Андрея Зорина — «Поэзия Алексея Цветкова — особенности постмодернистского сознания». Предлагают размашистые концепции Михаил Эпштейн (вводящий категорию «гипер» как точку перелома от модернизма к постмодернизму) и Пекка Песонен («Модернизм — постмодернизм=реализм?»). Михаил Берг и Виктор Кривулин, как всегда, самоотверженно хранят традицию петербургского самостояния. Михаил Безродный представляет социологически-филологический этюд о карьере Сергея Боброва. Тридцать пять дельных, профессиональных статей, важный для современной славистики сборник.

Если продолжать разговор о «тенденциях» — ценно не только заявленное выше единое исследовательское и дискуссионное поле для представителей разных научных парадигм. Ценно и то, что задается новая парадигма: очень может быть, что в науке следующих поколений русские модернизм и постмодернизм вопреки первоначальным интенциям последнего будут рассматриваться как единое целое или как две основные и родственные составляющие русской культуры последнего века второго тысячелетия.

●

СЕМЬ БРАТЬЕВ, Русско-финская литературная антология. Составители Юкка Маллинен и Евгений Попов. *Jyvaskila*, 1996.

●

Если Пекка Песонен сегодня — «главный хранитель» литературоведческих

русско-финских связей, то Юкка Маллинен — «главный» по писательским. Среди его разнообразных проектов — путеводитель по московским ресторанам для финнов (текст путеводителя сочинял Алексей Парщиков) или избранное Бродского на финском языке (книжка вышла в 1995 году. Бродский приезжал в Хельсинки на презентацию и курил сигарету за сигаретой, выпуская дым в сторону города Санкт-Петербурга). На сей раз Юкка и Евгений Попов собрали четырнадцать писателей из двух стран (от нас — Михаил Берг, Зуфар Гареев, Николай Климонтович, Евгений Попов, Валерий Попов, Лев Рубинштейн, Светлана Васильева), которые перевели друг друга на противоположные языки — тексты наших представлены в книге по-фински, а финнов — по-русски (Маллинен написал к ним очень содержательное предисловие).

О чем пишут Гареев и Климонтович, вы, наверное, немножко представляете. Интереснее узнать, о чем пишут «новые финские писатели» (формула из аннотации). Моника Фагерхольм выступает с очень милой и взбалмашной историей о встрече Нового года с фильмом «Калигула», с рисованием по голому телу, с пусканием видеопленки в бассейне и прочими богемными прибабасами. Лена Крун внимательно описывает ремешки для часов, внутреннее движение комнаты внутри себя и статую, живущую семь столетий в алтаре кафедрального собора. Роза Ликсом повествует о наркотиках и расчлененке. Маркус Нумми о загадочном случае — с лица Земли исчез город Париж. Юха Сеппеля с увлечением рассматривает убийства и пытки. Райя Сизкиннен интересуется переживаниями женщины, которая боится бутылки толстого стекла — упадет да и порушит все вокруг. Петри Тамминен предлагает серию махоньких рассказиков о людях, которые давят пауков, кушают ртуть и бьют топором по телевизору.

Таким образом, практически во всех произведениях (кроме истории с Парижем) «новые финские писатели» проявляют себя вполне радикально — много секса, крови, грязи, запрещенных препаратов и приглушенных истерик. Это очень забавный эффект. Дело в том, что Финляндия — страна донельзя тихая и спокойная, я бы даже сказал заторможенная. Здесь ничего не происходит, здесь почти нет преступности, здесь очень мощные социальные программы, исключаящие бедность, строгие законы и суровость по отношению к их нарушителям. За превы-

шение скорости на автотрассах надо платить огромные штрафы. Могут отобрать права не только у нарушителя, но и у его пассажиров: за то, что не пресекали. Коллективная ответственность вообще в моде: в одном из последних (начала этого года) номеров «Вестника русскоязычного населения Финляндии» рассказывается, как финские пограничники наказывают наших туристов, нарушающих правила ввоза алкогольных напитков и сигарет. За незаконный блок или бутылку — штраф 400 марок (около 80\$), выдворение в Россию, печать в паспорте, согласно которой вас несколько лет не пустят в Суоми. «Интересна сама процедура «водочной депортации». Туристов высаживают из автобуса, сажают в салон провинившегося и отправляют до русской границы. Разумеется, оставшиеся туристы ожидают возвращения автобуса, чтобы двинуться дальше». Критики финского общества особо упирают на то, что в этой спокойной стране — самый высокий во всем мире процент самоубийств.

Что же, вполне логично предположить, что радикализм авторов антологии — реакция на социалистически-буржуазную размеренность родного контекста. Бунт против тишины и покоя. Но что любопытно: антураж этого бунта. Антураж остается очень домашним и аккуратным — домашние сауны и бронзовые бокалы, кофе и румяные бифштексы, упоминавшиеся ремешки для часов, крем-пудра и корзина с белым. Финская культура и вообще ориентирована на быт (недаром самая знаменитая у нас финская книжка называется «За спичками»). В «Кисилевских базарах» (самый стильный магазин в Хельсинки) целый этаж забит шизофренически мелкими предметами: если финский ребенок покупает игрушечный домик, он должен иметь возможность купить малюсенький утюг, малюсенький коврик, малюсенькие книжки, карандаши, пеналы, глобусы, тарелки, вилки, стулья, подушечки, цветочные горшки, мясорубки, кофемолки... Сотни и тысячи наименований мелких предметов. В «Доме бюргера», где сохранена обстановка жизни горожанина прошлого века, есть даже макеты тараканов, какие именно бежали здесь сто тридцать лет назад. В отделе современного искусства Национальной галереи — презентация CD-ROMа, посвященного финнам, коллекционирующим пивные банки, железнодорожные вагоны, медвежьи черепа, кандалы, какие-то склянки и картинки-игрушки, связанные с

Уолтом Диснеем. А на Кафедральной площади этой зимой выполнили из льда капеллу — макет 1:3 стоявшей здесь в семнадцатом веке церкви. Внутри — икона и музыка. Весной она растеклась ручьями. Табличка учит, что в 2000 году будет построена еще одна точно такая.

Бунт авторов «Семи братьев» (перевод, кстати, не очень убедительный: финский вариант названия содержит слово, обозначающее одновременно братьев и сестер, детей одной семьи) осуществляется в кругу вот таких спокойных вещей и явлений — во всяком случае, близость этого круга очень важна. Есть куда возвра-

щаться из бунта. В рассказе Розы Ликсом «Не очень простой парень» герой «пересаживается» с иглы на семейную жизнь: ребенок, Северная Карелия, охота на медведя... Заканчивается рассказ фразой «Чем медведь хуже фена?» (фен — синтетический наркотик). Сама возможность такого обратного движения в тихую жизнь драгоценна и куда более важна, чем высокий уровень самоубийств.

Не знаю, кстати или некстати, но одна из презентаций антологии состоялась в музее В. И. Ленина в Турку.

Егор СТРЕШНЕВ



Время множить приставки

К ПОНЯТИЮ ПОСТПОСТМОДЕРНИЗМА

Такое понятие выглядит достаточно нелепо и пародийно — очевидно, выглядеть так и является одной из его задач. Такая насмешка над обобщениями и широко-ми теоретизированиями.

Пост-пост, заведенный механизм насаживания подобного, утешает эпоху: ведь новая категория — это революция, пусть лучше длится старая.

В новой категории нет потребности потому, что речь идет скорее об этапе эпохи постмодернизма, чем о какой-либо глобальной новой системе. Насыщение постмодернистскими идеями и практиками, усталость от них, обнаружение оборотных сторон и внутренних противоречий постмодернистских принципов — все это каким-то образом уточняет и переформулирует ситуацию.

Если исходить из того, что мы по-прежнему существуем и еще, очевидно, долго будем существовать в эпохе постмодернизма, тот постмодернизм, к которому прилепляется «пост» в категории «постпостмодернизм», мы можем обозначить как героический этап этой эпохи (этап обретения имени), а постпостмодернизм — как его более спокойное развитие, как мирную жизнь.

Героический этап всякой новации отличается склонностью к теоретизированию, к объяснению и пропаганде свежих идей и положений. У нас в России с 1991-го по, скажем, 1995 год постмодернизм был главной темой литературной критики. У постмодернизма было очень много противников, считающих своим долгом высказаться по его злосчастному поводу. Одно время критиковали за то, что он слаб и не дает образцов «настоящей литературы». За то, что он подрывает основы нравственности и государственности. Либералы писали, что это нормальный «изм», нахально претендующий на то, чтобы быть «главным». Сравнивали его в этой претензии с соцреализмом. Конечно, это делалось с язвительностью и иронией. В результате такое сравнение оказалось вполне общепринятым: одна большая парадигма уступила место другой, и ничего странного в этом нет.

Пока длились все эти споры, появилось поколение писателей, которые постмодернистскую теорию воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Им смешно, когда кто-нибудь (например, ваш покорный слуга) в очередной раз объясняет что-нибудь насчет категории истинности или насчет невозможности пользоваться оппозициями типа «искусственное — естественное»: они прекрасно все это знают. Появились другие писатели — относящиеся к постмодернизму как к чему-то глубоко дряхлому, погрязшему в тяжелом, бесплодном теоретизировании. Ни тем, ни другим, во всяком случае, теоретизирования по поводу постмодернизма не представляются насущным делом. Такие представления и можно именовать постпостмодернистскими.

Постпостмодернизм преодолевает наивность всякой героической эпохи: уходит от постмодернистской идеологизации, протаскиваемой под рубрикой критики идеологизаций, и уходит от глобального теоретизирования, посвященного невозможности глобального теоретизирования.

Можно предположить, что больше всего надоело в постмодернизме. Во-первых, превращение поначалу безобидной «политической корректности» в большую идеологию, в «идеологическую выдержанность» (такой перевод этого известного словосочетания предложил А. Жолковский).

Мягкий постмодернистский тезис о том, что вертикаль — это горизонталь, что все культуры равноправны и равнокачественны независимо от исторической традиции, экономической успешности и количественности, привел к террору меньшинств. Учебные программы американских университетов пересматриваются так, чтобы в них не доминировали белые здоровые мужчины. Часы, отведенные, ска-

жем, Льву Толстому, делятся на пять частей: часть оставляют Толстому, остальные раздадут несправедливо неизвестным классикам разных племен, цветов кожи и сексуальных ориентаций. Известный анекдот — «Следующим президентом США будет одноногая темнокожая лесбиянка» — показывает, как далеко зашло дело.

Кроме того, теории политкорректности способны снижать и уровень самого «теоретического рынка». Так случилось, скажем, с феминистским движением, которое сплошь и рядом порождает вполне слабую и скучную теорию, слабую литературу, слабое искусство. Главная ценность этого движения в том, что оно «правильное».

На краях идей политической корректности возможны, наверное, неожиданно оригинальные и сильные артефакты. По существу, проект «Партии животных» Олега Кулика, предполагающий борьбу за политические и экономические права животных (почему мухе, снимаемой в научно-популярном сериале и демонстрируемой после телеаудитории, не выплачивается гонорар?), есть просто работа с идеями политической корректности «за пределами шахматной доски».

Кроме того, стоит, конечно, иметь в виду и еще один фактор: большому белому большинству политкорректность нужна хотя бы потому, что оно стремительно перестает быть белым большинством. Похоже, что уже через несколько десятилетий на Земле будет доминировать цветная культура, белая раса все более маргинализируется (в «Мусульманском проекте» художественной группы АЕС изображены знаменитые панорамы Москвы, Нью-Йорка, Парижа, Сиднея и других городов, пестриящие мечети и минаретами), и ее цель — обеспечить ко времени своей окончательной маргинализации надежные права для любых маргиналов, то есть, собственно, белое большинство заботится о своем будущем в качестве не-большинства. Но так или иначе издержки политкорректности способны вызывать в современной культуре резкое отторжение.

Во-вторых, от постмодернизма очень легко устать из-за отсутствия в нем акцентированного метафизического измерения (постмодернизм либо отказывается от метафизики, либо делает ее встроенным свойством вещей, бытующих здесь-и-сейчас). Тут приглушено действие таких традиционно важных понятий, как историческая глубина и родовая память. История вынесена из глубины на поверхность, на прилавок, в витрину, и обнаружить в ней, находящейся на поверхности, тайну, чудо, любовь и тому подобные активные вещи гораздо сложнее, чем если история и культура располагаются «в глубину» или «в высоту»: в последних случаях скрытость от глаз определенных участков культуры является основанием для наделения их метафизическими значениями. Тайным восхищаться легко. Строго говоря, в эпоху постмодернизма сложнее испытать мифологический восторг: если в других системах он дается на блюдечке с голубой каемочкой как живая традиция, то в постмодернизме для переживания требуется определенная интеллектуальная изоционность.

Это, видимо, важное слово: постмодернизм слишком интеллектуален. А интеллекту, с одной стороны, сложно быть свободным от иронии или стеба, поскольку интеллект понимает всю свою страшную условность и несерьезность своих оснований (а когда интеллект освобождается от стеба и иронии и начинает «быть серьезным»), получается по ясным причинам еще хуже). С другой стороны, постмодернистский интеллект стремится сделать себя содержанием текста (в грубой форме: романы о том, как пишутся романы), что в итоге превращается в сущее самоедство (синдром тусовки) и надоедает широкой публике. Впрочем, самоедство может быть опасно и само по себе — хорошим символом эпохи кажется история с пагубными британскими коровами, заболевшими недугом Кронцефельда-Якоба после того, как их стали кормить мукой, сделанной из других коров (тут же было объявлено, что у какого-то дикого туземного племени уже был обнаружен такой вирус, — в этом племени как раз распространенна привычка кушать мозг умерших).

Концептуалистский тезис «современное искусство — то искусство, что анализирует собственный язык» кажется сегодня вполне анахроническим. Теперь тексту желательно быть не рефлексией, но чистым жанром. Рефлексия не имеет предела, поскольку постмодернист не имеет оппонента. Смысл незаменима, и каждый законченный текст, каждое высказывание есть насилие над смыслом, заслон интерпретации, террористическое усекновение семантической бесконечности. Чтобы замкнуть смысл, нужен враг или конкурент. У постмодерниста, смешивающего жанры, нет конкурентов: он готов признать и оправдать все что угодно. Обращение к четкому жанру решает эту проблему — жанры могут находиться в состоянии рыночной конкуренции, как разные товары.

Жанр — это отслоенные представления о картине мира, карманная космогония, конденсация опыта; жанр — вывод, моральное заключение: вот как бывает, вот как должно быть. Постмодернизм доказал самому себе, что бывает бесконечно по-всякому, что нет никаких «должно», но ведь все это тоже фигуры речи, и теперь входит в моду другая фигура речи: если мы знаем, что истины нет, мы можем запросто говорить об истине, проповедовать истину, ибо понимаем ее глубоко условную природу и можем в любой момент с ней расстаться. Почему не терроризировать оппонента, если ты знаешь, что твой террор — всего лишь упражнение в риторике, всего лишь принятый для сегодняшнего употребления тип говорения? Жанр

говорения об истине предполагает приподнятость и горячность: можно следовать этому жанру, не забывая, однако, что завтра можно запросто сменить убеждения.

Два человека набрали псилоцибиновых грибов и хотели их съесть, чтобы выйти на ту сторону сознания, постичь восторг, кошмар, пустоту и полноту бытия. В таких состояниях люди могут выбрасываться из окон, но большинство не делают этого, поскольку знают, что сегодня явилась одна истина, а завтра с таким же успехом может пробить на другую. В квартиру случайно зашла мама одного из двух человек. Она не знала, что это за грибы, хотела кушать и съела их. Штук сто пятьдесят, количество, достаточное для двоих тренированных людей. Маме явилось нечто совершенно невообразимое. Как человек непсиходелический, она не знала, что этой истине необходимо доверяться целиком и выполнять все, что истина потребует. Можно, в общем, ничего не предпринимать. И когда ей было Оттуда велено, она взяла двуручную пилу и отпилила половину крышки кухонного стола. Тихий, добрый человек. Вот что истина делает с людьми.

Модернистов пробило на истину, и пришла мода на террористические режимы. Постмодернизм учил на этом основании, что истине не следует доверять. Постпостмодернизм, знающий, что истине не следует доверять, открывает дорогу к заинтересованному с ней общению.

Постмодернизм много играл со смешением жанров и с понятием жанровых неопределенностей. Постпостмодернизм делает ставку на жанровую чистоту. Это позволяет избежать многих дискурсивных ловушек. В политически корректном боевике необходимо соблюдать расовую аккуратность: черный не может быть плохим. Но есть такой жанр, когда черный вполне может быть плохим, это жанр противостояния условных «своих» и «чужих», которые могут подружиться, а могут и не подружиться. Это жанр, в котором действуют «плохие» и «хорошие», которые могут быть хоть черными, хоть зелеными.

В последние годы мы можем достаточно близко наблюдать один грандиозный постмодернистский проект — превращение Европы в единое политическое пространство. Это событие, конечно, имеет и будет иметь очень серьезные культурные последствия. Так, благодаря единению Европы мы наблюдаем сейчас революцию в европейском футболе. На нашем континенте это игра номер один. Чемпионат Европы по футболу среди сборных проводится раз в четыре года, как чемпионат мира по тому же виду спорта, как Олимпийские игры: предполагается, что это очень значимое и редкое событие. Ежегодно разыгрывается несколько европейских кубков, в которых участвуют команды из разных стран. Нации соревнуются с нациями. Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, не будучи самостоятельными государствами, имеют — как родоначальники футбола — свои национальные сборные. Хороший европейский консерватизм.

До недавнего времени в Европе существовало такое правило: в составе того или иного клуба могло выходить на поле одновременно не более трех «легионеров», то есть граждан иностранных государств. Основу команды составляли местные футболисты. Это правило действовало и для национальных первенств, и для международных игр клубов. Итальянский чемпионат был итальянским, в еврокубках за итальянские клубы тоже выступали итальянцы.

Совершенно другая система в Северной Америке, в краю победившего постмодернизма. Там главные игры — хоккей и баскетбол, и в обоих случаях за американские команды играют хоккеисты и футболисты со всего света, без всяких национальных ограничений.

Теперь такая система грозит европейскому футболу. Европейский суд принял решение по так называемому «делу Босмана», согласно которому лимит на иностранцев противоречит свободе передвижения рабочей силы по континентальному сообществу. УЕФА пришлось согласиться с решением, лимит на иностранцев был отменен. Меньше чем через год после этой отмены в ведущих (и не в самых ведущих) клубах Италии, например, или Испании выйдут на поле по пять-шесть иностранных «звезд», превращая клуб в антрепризу, в маленькую коммерческую сборную. Число иностранцев продолжает увеличиваться с каждым месяцем. В Европе возник новый турнир — Лига чемпионов. Она заменила Кубок чемпионов, в котором играли победители первенств всех стран. Это элитарный клуб для сильнейших клубов: сначала для восьми, потом для шестнадцати, а в будущем сезоне уже для двадцати четырех. Этот турнир выглядит прообразом всевропейской футбольной лиги, в которой игроки со всей планеты будут защищать не честь национальной флага, а честь клуба. Такая окаянная американизация-постмодернизация Европы, касающаяся, конечно, не только футбола, очень многим не нравится, и постепенно нарастает сопротивление совсем уж безоглядной интеграции.

То же самое происходит с сексом: мода на гомосексуализм, как нельзя лучше коррелировавшая с постмодернистскими теориями, уступает место более спокойным проявлениям — типа одежды унисекс, а потом и новой моды на мужественность и брутальность.

Впрочем, вернемся домой. Первая половина 1996 года в России стала, пожалуй, временем величайшего триумфа и расцвета отечественного постмодернизма. Синтез радикального искусства и реальной политики, к которому на протяжении последних лет пробивались с разных сторон Владимир Жириновский, Вячеслав Мары-

чев, Олег Кулик, был достигнут совместными усилиями разных общественных сил в предвыборной президентской кампании с ее авто- и мотопробегами, пешими походами и авиаперелетами, поездками поэтов голосовать в Египет, телевизионным шабашем и многим другим. А уже начиная с конца лета стало ясно, что все более органичен строгий рыночный консерватизм, что уже появились жесткие структуры, способные управлять страной и уверенно держать власть при большом президенте, убраться с улиц коммерческие лотки и заменить их чистенькими магазинчиками и раскрутить первый новорусский супербоевик «Золото Бешеного».

Эта книга Виктора Доценко, совокупный тираж которой приближается к миллиону экземпляров, чего в последние годы в России не было, прекрасно отражает самые хтонические черты постпостмодернистского мифа, отягощенного традиционно повышенной местной метафизичностью. Герой — отечественный супермен, изводящий в стране всякую нечисть, активно приобщается к метафизике, ведя сложные диалоги с космическим учителем и прижимаясь на чужбине (в Швейцарии) к могучему телу дуба, чтобы зарядиться от него глубинными энергиями. Последний эпизод явно апеллирует к мифологеме народности, которая очень активно развита в новорусских боевиках. И у Доценко, и у других авторов специально подчеркивается «русскость» персонажей (одна из книг так и называется: «Русский»). В последней работе Доценко — «Награда Бешеного» — герой спасает Америку от ядерной войны, оспаривая у заокеанских товарищей право на мировую суперсилу, которое утверждается в голливудских боевиках.

Неким метафизическим эквивалентом выступают в новорусской прозе большие деньги. Герой «Золота Бешеного» ищет клад. В итоге он обретает около двух миллиардов долларов (sic!) ассигнациями, а также — ибо в мифологическом сознании неистребимо некоторое недоверие к условностям цивилизации — мешок золота и бриллиантов.

Боевики, впрочем, сегодня пишут не только новые авторы «из низов», как Виктор Доценко, но и многие молодые «серьезные» сочинители. В среде интеллектуалов нынче просто модно сочинять боевики — правда, в большинстве случаев пока под псевдонимами. Статус жанра все еще несколько двусмыслен — он моден, он позволяет заработать какой-то гонорар, но продолжает оставаться делом отчасти недостойным и халтурным. Можно, однако, предположить, что уже в самое ближайшее время боевики и иные глянцево-приключенческие совсем потеряют «недостойные» коннотации.

Усилия концептуализма и соц-арта обернулись и искомой деидеологизацией отношения к соцреализму (для детей издаются и прекрасно продаются советские научно-фантастические романы, набитые, как бы сказали в перестройку, шпиономанией, а также мечтами о построении коммунизма: у всякого «Монте-Кристо» есть свой исторический фон, но для приключения он не очень и важен), и, скажем, появлением на рубеже 1995—1996 годов двух крупных телепроектов «постсоцартовского» плана — новогоднего концерта «Старые песни о главном», где «звезды» современной поп-музыки пели легендарные и любимые советские песни (через год эта акция продолжилась), а также «Русского проекта», серии социальной рекламы со слоганами типа «Все у нас получится», активно эксплуатировавшей эстетику советского телевидения эпохи застоя. Это и есть изживание тоски по космогонии и метафизике: апелляция к грандиозной культуре, в которой всяк чувствовал себя по-своему и многие, может быть, плохо, но грандиозность и метафизичность которой больших сомнений не вызывают.

Художественная литература, способная существовать в героическую эпоху постмодернизма под видом журналистики (яркий пример таких практик — Борис Кузьминский), все больше уступает место хорошей жанровой журналистике, использующей любые достижения из арсенала изящной словесности, но претендующей скорее не на то, чтобы быть частью «литпроцесса», а на то, чтобы занимать адекватное место в системе масс-медиа.

Это Денис Горелов, мастер фельетона, часто сделанного по одной модели: берется какая-то достаточно локальная черта образа персонажа и очень смешно и литературно-изобретательно абсолютизируется. Скажем, утверждается, что актеры, играющие военных, склонны к антидемократическим настроениям. «Синтез лицедеев с военными дает всегда один и тот же результат, вечно вместо самовара выходит автомат Калашникова. Стоит артисту хоть раз появиться в роли Солдата или Офицера советской армии — и он уже навсегда потерял для цивилизованного гражданского общества. Очевидно, меди гром и скрип сапожный производят неизгладимое впечатление на нестойкую актерскую психику — все они немедленно принимаются выступать с такими ястребинными речами, что хоть святых выноси». Примеров много: Анатолий Кузнецов и Василий Лановой, Юрий Назаров и Михаил Ножкин («Купите ему кто-нибудь цистерну березового сока, нехай человеку будет хорошо»), Николай Бурляев и Станислав Говорухин и т. д. Конечно, можно набрать и противоположных примеров, но Горелов вовсе не выясняет истину. Его цель — соответствовать жанру фельетона.

Он пишет об Александре Невзорове как о полуночном нетопыре и маньяке. «Дырки всякие, мозги в потолок, руку какую истлевшую из-под снега расковырять и показать всем — это для него высший шик. А если еще Собчак с убийцей в сосед-

ней школе учился и в один изокружок ходил — тут уж вообще день прожит не зря». Вряд ли Невзоров столь ужасен и вряд ли, если он столь ужасен, он ужасен именно таким образом, но жанр предполагает именно такой образ: жесткий, внятный, строго очерченный. Горелов и от общества требует четкости и строгой жанровости, требуя запрещать нацистов и надавать по шапке «благородным идалго, продолжающим искать истину в споре мыть или не мыть руки, распространять или не распространять наркотики, и кто виноват, если в кране нет воды».

Это Дарья Цивина и Елена Герусова, ресторанные обозреватели «Коммерсант-Дейли», использующие в достаточно утилитарных журналистских целях стилистику старинной европейской живописи и строгий слог схоластических трактатов, — я уже цитировал их в «Записках литературного человека» в июле прошлого года, сейчас хочу повторить несколько наиболее сладких слов:

«Осетрина заливная в коралловом ожерелье из креветок. Копченая севрюга ломтями, с сочащимся слезливым изломом, нежными прожилками, ароматом ольхи, на зеленом ложе из салата. Лоснящаяся розовая лососина с серебристым отливом на спинке, тающая во рту, с каплей отчаянно кислого лимона и вкрадчивым маслянистым авокадо. Белужий бок подкопченный, полупрозрачный, с иссиня-черными маслинами. Рюмка водки ледяной... Завитки из ветчины — ветераны советских банкетов, — заключенные в хрустальный мавзолей желе... Постреливающая рыбная скоблянка на сковороде. Румяные куриные крылышки с чесноком — кажется, сами запорхнут в рот. Администрация «Пресни» считает, что не имеет права принуждать гостей есть только палочками и не может ставить их перед выбором: суп после горячего или жизнь после смерти».

Это Лев Рубинштейн в новой своей ипостаси — ведущего рубрики необязательных наблюдений про культуру в журнале «Итоги», призванных запечатлеть вкус интеллектуального воздуха. В этих заметках получила возможность письменного выражения не задействованная ранее грань рубинштейновского таланта: бытовые культурологические истории. Те волшебные повседневные языковые пластики, которые Рубинштейн очень тонко чувствует и которые не стали материалом для его поэтической картотеки. О селе, посреди которого проходила граница между Украиной и Белоруссией. «Там было два сельсовета. На фасаде каждого висело по портрету. Портреты были вполне идентичны, отличались лишь подписи под ними. На одном было «Хай живе товарищ Сталин», на другом — «Нехай живе товарищ Сталин». А в новомодном номере журнала текст «Меланхолический альбом», ранее бытовавший как классическое рубинштейновское стихотворение, играет роль заметочки о народных приметах: «Мокрая ветка в окно стучит — не понять ничего. Муха на стекле раздавлена — спать в одиночестве».

Прикладные и декоративные жанры — очевидно, в силу как раз ярко выраженной жанровости — получают у отечественных сочинителей все чаще и лучше. Куда интереснее, чем романы, читать ныне библиографические заметки: А. Василевского в «Новом мире», Б. Филевского в «Октябре» и Д. Бавильского в «Несовременных записках», библиографические отделы в «Континенте» и «НЛЮ». Несколько мелких прикладных рубрик оживили в последнюю пару лет журнал «Знамя». В рубрике «Рукопись» авторы, близкие журналу, рассказывают в двух абзацах о своих творческих планах. Александр Верников представляет роман «Реализатор»: «Способен ли аспирант института философии, т. е. в просторечии «философ», полностью реализоваться как таковой, собрав всего себя в «комок» — иначе говоря, работая реализатором в коммерческом ларьке? Победа это для него или поражение? Кто он? Каков он? Диоген в железной бочке или Эмпедокл «на Этне», рискующий в любую минуту сгореть?». Собственно говоря, для существования романа достаточно такой формы — ни в какую другую автор идею воплощать не стал.

Две убедительные акции, связанные с «прикладными» жанрами, провело «Новое Литературное Обозрение», заказавшее разным писателям и опубликовавшее сначала дневниковые записи за определенный месяц (сентябрь-95, напечатано в начале следующего года); затем личные письма, которые писали друг другу несколько пар литераторов, живущих в России, Америке, Германии, Швейцарии (см. также «Записки литературного человека» в февральском выпуске «Октября»).

В допостмодернистскую эпоху интеллектуально-художественная деятельность была у нас харизматической и элитарной: и та, что удостаивалась официального признания, и та, что происходила в подполье. Постмодернизм стал утверждать, что это вполне обыденная деятельность, ничем не лучше и не хуже, чем добыча нефти, рытье земли, финансовые спекуляции и т. д. Художник потерял харизму: он такой же субъект рынка, как и все остальные. В России это признать особенно трудно, ибо формулу «Поэт больше, чем поэт» выдумал не конкретный Евтушенко, она имеет очень мощную укорененность в традиции. Тем не менее в социально активных группах общества никому не придет в голову считать творческих людей особой элитой. Это нормальная, в общем, ситуация, позволяющая работать. Она достигнута, и теперь — когда капитализм и демократия победили — можно вновь играть в жанр «элиты», снисходительно относясь к рынку, обращаясь к традиции интеллигентского презрительного отношения к власти и т. д. и т. п.

В потоке же живой жизни постепенно перестает быть обязательной социализация по элитарной линии: большое количество людей, прекрасно разбирающихся

в современном искусстве, кино, литературе, вовсе не отягощены желанием творить, им достаточно потреблять. Постпостмодернизм приносит в Россию знание о том, что потреблять столь же почетно и нужно, как и производить. Стремление к духовным прозрениям и созданию шедевров — вещь неплохая, но она явится как-нибудь сама собой. Важнее чувствовать себя в культуре как дома.

Я знаю человека, западающего на определенную модель БМВ: увидев ее на улице, он застывает как вкопанный и на несколько минут выбывает из здешней жизни. Я знаю людей, способных часами смотреть «Магазин на диване», переживая высокую реди-мейдность самовыжимающихся швабр и космических насадок на миксеры. Путешествующий по паутине Интернета не очень задается вопросом о том, что творчество и восприятие — разные вещи. Английская молодежь увлекается «грайсингом»: обнаженные молодые люди пробираются, минуя лихих секьюрити, в железнодорожные депо и фотографируют локомотивы. Потом обмениваются фотографиями и историями о приключениях в депо. Вот хороший пример культурной деятельности эпохи постпостмодернизма.

Недавно я прочел в одной газете у одного интеллектуального автора, что «снова входит в моду общение». Это, мне кажется, корректное замечание: героическая эпоха прошла, вернулось время сидеть дома, пить чай и разговаривать. Текущая жизнь — уличные сценки и встречи, анекдоты и странные истории, а также тексты, заведующие самим общением: разговоры друг о друге и всяческие «подколки» — способна существовать на очень высоком литературном уровне и не требует реализации на бумаге. Вот история: два пьяных милиционера кавказской национальности в своем кавказском селе забрели в полузаброшенный парк с аттракционами. Сбили замок с лодочки, которая катает вниз головой. Один сел, второй включил, а потом — джигиты, дело известное — тоже заскочил в уходящий снаряд. Выключить некому: парк пуст. Через три часа, когда избавитель-таки появился, путешественникам уже ничего не хотелось. Рассказывание таких историй вряд ли менее духовно и поэтично, нежели сочинение стихов.

Домашние альбомы, любительские фотосъемки, оригинальные подарки, необычные праздники (у меня есть знакомые, снявшие на Новый год номер в «Национале» с окнами на Спаскую башню: сауна, джакузи, куранты в десяти шагах, суперсервис, поросята от «Националя»); участвовало четырнадцать человек, многовато, конечно, но обошлось недорого — по сто с небольшим долларов с носа; у меня есть вполне скромные по доходам знакомые, устраивающие дни рождения в модных клубах, где праздник сам превращается в художественное мероприятие и куда можно пригласить много друзей), личная переписка (обильная эпистолярная жизнь идет в Интернете, художники Нина Котел и Владимир Сальников на прошлый Новый год разослали друзьям пятьсот рукотворных открыток, пейджинговые послания строятся как маленькие литературные тексты), забавные развлечения (мы с женой, скажем, устраиваем среди друзей — взрослых и детей — турнир по компьютерному футболу) — это все и есть искусство настоящего времени.

Творчество всегда найдет возможность реализоваться: у меня есть знакомый, сверставший первую полосу одной очень приличной газеты так, что если ее дергать на вытянутой руке и смотреть на нее сбоку и чуть сверху, то из пробелов между абзацами составит не самое цензурное слово из трех букв. Замечательное искусство повседневности: по ходу жизни, в домашнем ритме, как альбом, как кулинарное изобретение, как цветок на окне. Журнал «Птюч» — один из самых радикальных сегодняшних проектов — плохо различает авторов журнала и персонажей: они являют собою едва ли не одну тусовку, а потому часто выступают в обоих качествах. Кроме того, большая часть текстов в журнале никем не подписана: индивидуальное авторство не столь и важно — во всяком случае, на фоне принадлежности к дружескому милому сообществу.

Недавно мне довелось играть в такую игру. Квадратное поле и сотня камушков с морского берега — от пяти миллиметров до двух сантиметров в диаметре и самых разных, в том числе весьма причудливых форм. Четыре-пять-шесть человек играющих. Каждый делает два хода, каждым из ходов можно убрать камушек, поставить камушек, поменять уже стоящие места. Камешки выстраиваются в очень сложные композиции. Ходы можно пропускать. Во время игры желательно говорить обо всем на свете, только не о том, что происходит на игровом поле. Игра заканчивается, когда все удовлетворены расположением камней.

Я называл здесь постпостмодернизмом, как и предупреждал в начале текста, не какое-то принципиально новое состояние мира, а уточнение, уплотнение представлений, конец героической эпохи постмодерна, конец битвы за места под солнцем, у кормушек, на экранах и на страницах. Постмодернизм победил, и теперь ему следует стать несколько скромнее и тише.

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

Четыре жизни Баллады

*...Поэзия российская жива,
Пока из клякс рождаются слова.*

Александр Кочетков

Это писано с натуры. Кочетковские рукописи, с которыми мне довелось работать в архиве, тому свидетельство. Из нервного, неровного почерка, из непослушливых движений стального, с чернильным разбрызгом скребущего бумагу пера возникают строки такой чистоты и пронзительности, какие, пожалуй, должны бы выделить автора — при существовании в современной ему поэзии любого созвездия имен — той неповторимостью лирической интонации, которая встречается едва ли не реже, чем дарования первой величины.

Кажется, Волошин говорил, что есть неразрешимая загадка гениальности, что непредсказуемо и необъяснимо появление Леонардо да Винчи или Пушкина. Но есть и столь же неразгадываемая тайна *голоса*, уникальной — запоминающейся и узнаваемой — интонации, которой у гения может и не быть и которой подчас наделен поэт, на заглавные роли вовсе не претендующий. Потому можно не угадать пушкинских строк, но ни с кем не спутать Баратынского.

Манеру, то есть ритм и звук и те приемы, которыми достигается их слитность, единство, можно имитировать. Иной раз весьма искусно. Так что эпигонство различимо отнюдь не с первого взгляда. Голос, совпадающий с дыханием, выдохом, подражанию не подлежит.

Показывая мне фотографии Кочеткова тридцатых — сороковых годов, Шервинский подсказал: «Обратите внимание на то, что Александр Сергеевич всегда без галстука. Он их не носил». — «Уже обратил — ворот не расстегнут, а распахнут...» — «Это очень важно для верного представления о Кочеткове». — «Еще бы не важно! — как поэт дышит...»

Для голоса нет зрительных аналогий. Он незрим по определению. Его нельзя удовлетворительно описать — можно лишь выразить впечатление от него. Как ни странно, в этом смысле решающее влияние на мемуарную литературу оказало развитие техники: до изобретения фонографа попыток описать голос, хотя бы высоту или тембр, мемуаристами не предпринималось, после — сплошь и рядом...

Этот голос не допускал малейшего «горла перехвата». Несомненно было, что его обладатель задохнется, погибнет, случись проба ограничить, окольцевать это звучащее дыхание, длина которого неизменно и полно совпадает с протяженностью поэтической фразы.

— Как больно, милая, как странно,
Сроднясь в земле, сплестясь ветвями,—
Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.
Не зарастет на сердце рана —
Прольемся чистыми слезами,
Не зарастет на сердце рана —
Прольемся пламенной смолой...

До болезненности застенчивый, Кочетков чувствовал себя как бы *самозванцем* в великой русской поэзии. Чувство это в последние полтора века знакомо многим поэтам — с легкой пушкинской руки. Отрешиться от мысли, *забыть* о предшественниках, об их размахе и блеске, о замечательных стихах, написанных, кажется,

на все возможные темы,— далеко не просто. И вполне удастся разве что когда пишутся стихи. И — пока пишется.

Не впадая в раболепие перед авторитетами и образцами, но и не соперничая с ними, Александр Кочетков был дружелюбен ко всем и, ни с кем не будучи *заодно*, держался на границе света и тени, предпочитая отступить в тень и не биться за место под солнцем. Он писал очень хорошие, иногда превосходные стихи. Однако за пределы довольно узкого круга коллег и ценителей эти стихи не выходили, явлением рукописной литературы, противостоявшей массивному натиску тиражированной печатной продукции, поэзия Кочеткова не стала. Правда, было исключение. Одно.

— Пока жива, с тобой я буду —
 Душа и кровь неразделимы —
 Пока жива, с тобой я буду —
 Любовь и смерть всегда вдвоем.
 Ты пронесешь с собой повсюду —
 Не забывай меня, любимый,—
 Ты пронесешь с собой повсюду
 Родную землю, милый дом...

«Балладу о прокуренном вагоне» знают все. Даже те, кто стихов обыкновенно не читают, про Кочеткова не слыхивали и вообще только понаслышке, с голоса текст ее получили. Публиковалась «Баллада...» многократно. Впервые — через тринадцать лет после смерти поэта, в 1966 году, в «Дне поэзии»; затем — в разнообразных сборниках и антологиях. Сразу была замечена — и читателями стихов, и сочинителями оных. Распространилась по эпиграфам и прочим цитатам, строчками вошла в живую речь. Но подлинного *эффекта всеобщности*, которого не могли достигнуть ни публикации сотысячными тиражами, ни тем более списки, хоть и немалочисленные, непринужденно добилось всемогущее телевидение: для этого хватило включения «Баллады...» — без названия — Эльдаром Рязановым в фильм «Ирония судьбы». За кадром. Только голос.

Так стихотворение отделилось и отдалилось от поэта, зажило независимой жизнью. Чтобы позже, по иронии судьбы, автора своего сполна отблагодарить: вышедшая в восемьдесят пятом — и названная строкою «Баллады...» — книга стихотворений и поэм Александра Кочеткова «С любимыми не расставайтесь!» разошлась молниеносно.

Как правило, Кочетков своих вещей не датировал. «Баллада...» и тут исключение. Точная дата ее написания известна. Но всякий, кто попытается — по тексту — эту дату угадать, почти наверняка ошибется.

Вообще-то самиздат поэтический — в отличие от прозаического — происхождения довольно позднего. Несчетные списки стихотворений Мандельштама, Волошина, Гумилева, Ходасевича легко поддаются начальной датировке: вторая половина пятидесятих годов. В шестидесятых эти машинописные тиражи резко возросли. Далее — подбьем снежного кома: в процесс включились ротاپринты и ксероксы.

Однако все это были стихи поэтов, прижизненно не просто известных, но знаменитых, прославленных, имевших своего читателя, свой тип поклонников, почитателей, адептов. Слово бы камень давно был брошен в воду, круги по ней шли, а вопрос заключался в том, дойдут они до следующих поколений или нет. К стихотворению поэта непечатавшегося, публике неведомого, это не имело отношения. Не менее удивительно то, что доподлинно известны дата первого списка и его исполнитель. В 1942 году в Ташкенте от эвакуированного туда Кочеткова «Балладу...» услышал Леонид Соловьев, автор знаменитой книги о Ходже Насреддине. И увез ее на фронт, где был военным журналистом. Его список и стал *оригиналом*, с которого снимались *копии*.

«Баллада...» казалась только что написанной, поразила точностью и глубиной проникновения в судьбу каждого ввергнутого в войну человека, безыскусно назвала вернейшую опору в этом испытании:

Ты пронесешь с собой повсюду
 Родную землю, милый дом...

Стихотворение было не *обо всех*, но неуловимо-властно оставляло читателя с собой наедине. И тогда доносилось эхо — ответный голос, развеивающий мучительные сомнения, неизбежные на грани жизни и смерти.

— Но если я безвестно кану —
 Короткий свет луча дневного,—
 Но если я безвестно кану
 За звездный пояс, в млечный дым?
 — Я за тебя молиться стану,
 Чтоб не забыл пути земного,
 Я за тебя молиться стану,
 Чтоб ты вернулся невредим...

Стихотворный рефрен, если слова в нем точны и безошибочно расставлены, словно бы выделяет, подчеркивает — поочередно — самые из них значимые, стих не только слышится, но проживается, переживается. Сначала — разверстое, тревожное «безвестно»; через строку эпитет уже привычен, смягчен — и резче, безнадёжней: «кану». И тут же — снова строкою разделенные два ударения: «за тебя» — и «молиться»...

Конечно, это было написано о войне. И всякий, кто переписывал стихи, чувствовал себя их соавтором, возникали собственные — переписчика — варианты строк и строф (я видел несколько таких списков). И мысли не допускалось, чтобы такое написал человек, не имевший в виду, не испытывавший того, что испытано ими — позавчера, вчера, сегодня. Дорога от дома, разбомбленный поезд, чувство малости своей и незащитности...

Трясаясь в прокуренном вагоне,
Он стал бездомным и смиренным,
Трясаясь в прокуренном вагоне,
Он полуплакал, полуспал,
Когда состав на скользком склоне
Вдруг изогнулся страшным креном,
Когда состав на скользком склоне
От рельс колеса оторвал...

Двадцать лет спустя «Баллада...» воспринималась совсем по-иному, снова — после долгого пребывания в тени — возникнув в списках, она резонировала в душах. Вернувшиеся из лагерей принесли с собою память о невернувшихся. Стихи ассоциативно относились к трагическим предвоенным и послевоенным временам, к событиям, разразившимся в трех-четырёх годах по обе стороны войны. И тогда с особенною отчетливостью стали слышны строки о *насилъственной* разлуке:

Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой...

И чувство фатальной обреченности:

Он стал бездомным и смиренным...

И, может быть, более всего — ужасающая безликость крушения, неотвратимость, необратимость катастрофы:

Нечеловеческая сила,
В одной давилъне всех калеча,
Нечеловеческая сила
Земное сбросила с земли.
И никого не защитила
Вдали обещанная встреча,
И никого не защитила
Рука, зовущая вдали...

Начальный стих — расхожая метафора, почти клише. При повторе метафора реализуется, слова обретают смысл буквальный. «Нечеловеческая сила» действительно такова — она *бесчеловечна*.

Мне довелось увидеть и список «Баллады...», прошедший через лагерь, куда она попала, вероятно, с одним из *победителей* и где началась ее другая жизнь, совсем не похожая на прежнюю.

Еще через два десятка лет, зазвучав с экрана, «Баллада...» ничем не напомнила читателю-слушателю о былых катаклизмах, примагнитила его высоким напряжением интимной лирики, всего сильнее в концовке, в троекратном заклинании — от одной души к другой — на всякое время, на все времена:

С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них —
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг!

Круг замкнулся. Стихи вернулись к тому, с чего начались. К первой жизни.

История, верней сказать, хроника, стихотворения конкретна и прозаична.

Мандельштам утверждал, что юмористы не нужны, — и так все смешно. Можно продолжить — о трагиках: жизнь сочиняет трагедии и с такою виртуозной естественностью окрашивает их в символические тона, что соперничать с нею бессмысленно. Но можно взглядеться, вдуматься, передать *впечатление*.

Ранней осенью 1932 года на станции Москва-Товарная потерпел крушение сочинский экспресс. Погибли сотни пассажиров. Среди них — возвращавшиеся из санатория знакомые Кочеткова. Друзья, пришедшие встречать поэта, сочли погибшим и его. Он мог, скорей всего, должен был погибнуть. Спасло чудо. К сотворению этого чуда имели отношение двое: сам Кочетков и его жена, Инна Григорьевна Прозрителева.

В конце лета они отдыхали в Ставрополе. Ему пора было возвращаться. Она намеревалась на пару недель задержаться. Был куплен билет — на тот самый сочинский поезд. Однако накануне отъезда, желая отсрочить разлуку, пусть недолгую, они обменяли билет, отложили отъезд на три дня, устроили себе этот праздник, подарок судьбы, который оказался не метафорическим — ценою в жизнь.

В письме, отправленном на одной из станций, он описал свое дорожное состояние — «полугрущу, полусплю». О катастрофе он, разумеется, не знал. Возможно, и не узнал бы — подобные происшествия составляли строжайшую государственную тайну. Однако друзья, которым он отправил телеграмму о первоначальной дате приезда, рассказали, чего он избежал.

И в первом же письме, полученном женой от Кочеткова из Москвы, было стихотворение «Вагон», изрядно впоследствии измененное и ставшее «Балладой о прокуренном вагоне». Загадочный «лирический герой», обозначив которого — вслед за Тыняновым, — стиховеды по сию пору колеблются: существует он или нет? и если да, то каков из себя? — внезапно стал для поэта навязчивой реальностью. Человеком, который поехал по сданному в последний момент кочетковскому билету. И погиб *вместо него*. Принял на себя предназначенный другому удар судьбы.

Написать об этом было трудно. Не написать — невозможно. И стихотворение, которое при чтении представляется возникшим на одном дыхании, поистине *выдохнутым*, явилось из наслоения черновиков и разброса вариантов, даже рефрены нашлись и утвердились не сразу. А всего мучительней далась последняя строфа, забракованных, раздраженно перечеркнутых попыток — с полдюжины. Лишь первый стих остался неизменным. И он вызывает ассоциацию совершенно неожиданную.

Не разлучайся, куда жив,
Ни ради дела, ни ради игры,
Любовь не стерпит, не отомстив,
Любовь отымет свои дары.

Это — Зинаида Гиппиус, в чьей поэзии любовная лирика — далеко не лучшее, потому что не отзывается чувством, повреждена рассудочностью. Однако переключки в поэзии часто бессознательны. И Кочетков, блестяще знавший поэзию начала века, едва ли, когда писал «Балладу...», вспомнил эти стихи. Но в диалогах, которыми пронизана вся поэзия, случаются и не такие отзвуки...

Разветвленная черновая работа, вроде той, что велась над «Балладой...», вообще-то для Кочеткова не характерна. Обычно различия между черновиком и беловиком у него незначительны, как и у большинства поэтов, пишущих «на слух», «с голоса». Впрочем, если не заглядывать в архив, следа этого кропотливого труда в стихах не распознать.

Есть любопытная закономерность: *вариации на вечные темы* стареют и умирают; в отличие от того, что порождено мимолетным, казалось бы, импульсом, резким и определенным — здесь и сейчас! — переживанием. Попытка удержать, остановить мгновенное то ли видение, то ли прозрение, ускользающий во времени образ сгущает, концентрирует творческую энергию. И мы заряжаемся от этого сгустка: как правило, не ведая о сокрытых за стихом событиях, подставляем в него собственные картины и значения, вовлекаемся в его движение. А то, что иной раз ясно и неторопливо видится поэту, поддается разностороннему созерцанию и обдумыванию — и потому мнится если не *истиной*, то подступом, близостью к ней, в сущности, уже почти принадлежит минувшему. Так заостряются, четкими становятся человеческие черты — признак и знак подступившей смерти.

Речь, разумеется, не о противопоставлении мысли и чувства, которые в поэзии взаимопроникающи и взаимообусловлены. Живой тому пример — кочетковская «Баллада...», где порожденное мыслью чувство, найдя единственные для своего выражения слова, снова становится мыслью. Такою нетрагично простой, что и четыре жизни для нее, вероятно, не предел...



Павел БАСИНСКИЙ

«От Парижа до Находки...»

Омса лу-учшие колготки!» — радостно вопит шестилетняя дочка моего приятеля, писателя Александра Яковлева. Вряд ли она придает этим словам какой-то смысл. Ее просто забавляет звонкая, почти идеальная рифма, найденная каким-то взрослым дядей, рекламным поэтом, чья анонимная, но всенародная известность сопоставима разве только с лебедево-кумачовским «Вставай, страна огромная...» и михалково-регистановским «Союзом нерушимым...». Мы в ее возрасте с таким же смаком декламировали: «Когда был Ленин маленький / С кудрявой головой, / Он тоже бегал в валенках / По горке ледяной. / Камень на камень, / Кирпич на кирпич. / Умер наш Ленин / Владимир Ильич...»

Она еще не знает, что живет не в той стране, в которой родились ее родители. Но мы это знаем. Мы обречены сравнивать. И в этом, может быть, заключена и главная беда, и высшее счастье нашей сегодняшней и дальнейшей жизни. Мы в чем-то похожи на поколение людей, чье сознание воспитывалось до Октября 17-го. Мы рождены на стыке принципиально разных культур и разных мировосприятий. Мы еще сможем объяснить нашим детям и внукам, что это такое: «от Москвы до самых до окраин» и «с южных рек до северных морей». Мы еще сможем с лукавым видом стареющих фокусников рассказать, как это: с мятой трешкой в кармане добраться от Красновишерска до столицы нашей Родины, как мы с Сашей Яковлевым когда-то добирались, — и при этом что-то есть, пить и ночь напролет болтать с симпатичными проводницами — студентками, подрабатывавшими летом в железнодорожной бригаде.

Второй мой знакомый, совсем еще молодой писатель Валерий Былинский, уже никогда не испытает кайфа от подобного сентиментального путешествия. Недавно он странствовал автостопом по Франции и набрал массу впечатлений. Но попробуй-ка он совершить этот подвиг в нынешней России, тем более на пространстве бывшего СССР! Снимут, посадят, завернут, дадут по морде или еще чего похлеще! И — «молодая не узнает, какой у парня был конец...»

Мы живем в новом геосемантическом измерении. Добраться до Парижа, до Нью-Йорка, до Мельбурна значительно проще, комфортнее, безопаснее, чем до все еще бездорожных районов Тульской, Вологодской, Архангельской областей. Выпускник Литературного института, двадцатилетний прозаик Алексей Иванов недавно терзал меня одним, как он считал, чрезвычайно важным проектом. Иванов — поклонник прозы Юрия Казакова. Настоящих поклонников Юрия Казакова я вычисляю просто. У них дрожат руки, когда я передаю им на просмотр личное дело Юрия Павловича времен Литинститута. У них эти серенькие страницы с анкетой, автобиографией, институтскими сочинениями и проч. вызывают мистический трепет. Казаковым написано так мало, что наличие (оказывается!) еще каких-то строчек, выведенных его рукой, кажется настоящим чудом.

Алексей замыслил путешествие, посвященное 70-летию покойного Юрия Казакова, которое приходится на этот год. Собраться эдак писателям разных возрастов и политических ориентаций, но объединенных любовью к автору «нежных, дымчатых рассказов», и завалиться в Архангельскую губернию, на Двину, на Белое море — пройти-проехать по казачьим местам, соорудить нечто вроде конференций, встреч с местными рыбаками, учителями и другими прекрасными людьми рус-

ского Севера... Но главное — подышать воздухом, погонять чаек, выпить водки у костра и обтереть скупые мужские слезы... Такой вот хороший проект!

— Ты героический человек, Алексей! — сказал я, глядя в его доверчивые глаза.— Ты настоящий Васко да Гама, Христофор Колумб, Фаддей Беллинсгаузен! Но видишь ли... Ни одна падала, включая министерских чиновников и банковских толстосумов, не даст тебе ни копейки на это мероприятие. Потому что на нем не будет ни НТВ, ни водки «Smirnoff», ни черной икры с шампанским — ничего из того, без чего не может обойтись порядочный человек, сидящий на деньгах. Если ты попросишь денег у местной администрации, они тебе в глаза плюнут и предложат поскорей смыться, пока они не рассказали местным рыбакам и нефтяникам, не получающим зарплату по полгода, о твоём замечательном предложении. Конечно, я мог бы достать из тумбочки последние семейные пол-лимона, хранимые на черный день, взвалить на плечи старый рюкзак и поехать с тобой по казаковским местам. Но моя жена вряд ли меня поймет, а местные крестьяне чего доброго поколотят, во всяком случае, посмотрят, как на круглых м..., которые с жиру бесятся. Так что давай отодвинем твоё мероприятие до 100-летия Юрия Павловича... Разумеется, Е. Б. Ж.*, как говорил Лев Толстой!

И тут я вспомнил, как в сентябре 1996-го Владимир Маканин, находившийся на толстовской писательской встрече в Ясной Поляне, куда-то вдруг спешно засобирался. Стал искать машину.

— Куда ты? — спросил его, кажется, Андрей Битов.

— Да вот... Надо быть завтра на платоновской конференции.

— В Москве? Успеешь еще...

— Да нет. В Копенгагене...

Он это как-то скучно сказал. Вроде того: ну вот, опять платоновская конференция, и опять в Копенгагене! Прямо сил нет, до чего ж они все надоели!

Олег Павлов тогда сказал, что ему померещилось, будто на задворках яснополянского дома находится аэродром, где приземляются самолеты из Дании.

И еще вспомнил. Как-то я, с трепетом относящийся ко всему, что летает, не будучи птицами, и плавает под водой, не будучи рыбами, спрашивал одного знакомого критика: не тяжело, не страшно ли 12 или 14 часов лететь на самолете в США — он вернулся оттуда в пятый раз?

— Да что ты! — засмеялся он.— Не успеешь как следует выпить, покурить, отоспаться и опохмелиться — и ты в Калифорнии... Чего ж тут страшного?

Два года назад, зимой, мы с прозаиком Алексеем Варламовым и его приятелем Сашей Руденко из московских архитекторов отправились порыбалить в варламовскую деревню на севере Вологодской области. 9/10 дороги ехали весело, с песнями, в купе скорого поезда. Но уже на станции Вожега, где сошли, изменилось решительно все: погода, настроение, окружавшие лица... В местный автобус втискивались с каким-то вялым азартом, слыша примерно такое:

— Тут дитя́м встать негде, а оне с лыжами прут!

Через десять минут езды, наблюдая выражение глаз деревенских пассажиров, полных какой-то свинцовой тоски и безысходности, я горько пожалел, что поехал с Варламовым на треклятую рыбалку. Еще через две минуты я испытал настоящий смертный ужас...

Я сам автомобилист и немного понимаю в шоферском деле. Мы с Шуриком стояли притиснутые к стойке, за которой сидел местный водила. Он был не просто пьян. Он был даже не «в умате». Он находился в той самой последней степени опьянения, когда человек напоминает живого мертвеца из западных фильмов ужасов. Его конечности двигались сами по себе, а голова жила отдельно и разговаривала сама с собою на непонятном языке, состоящем из одних гласных звуков. Было ясно тем не менее, что эта голова на что-то сердится, что-то кому-то выговаривает, с кем-то даже азартно дискутирует. Но я знаю, что и в *таком* состоянии опытный шофер может неплохо вести машину, хотя не может, например, ходить пешком. Ужас заключался в том, что у автобуса... не работали тормоза. Два или три раза водила нажимал на педаль тормоза, но мог бы этого не делать, потому что педаль и так лежала на полу, как сопля на паркетe, подрагивая от тряской езды. Водила «тормозил двигателем», переходя от высшей передачи к низшей. Это высший шик торможения, с помощью которого, однако, нельзя быстро остановиться. Чего он в

* Если буду жив.

конце концов и не смог сделать, и мы — слава Богу не на большой скорости! — врезались в стоящий на обочине КамАЗ.

Полетело лобовое стекло, запарил разбитый двигатель. Я вышел из автобуса счастливый, что так легко отделался. Варламов с разбитым в кровь носом, которым он тюкнул по лбу своего пьяненького соседа по деревне. Но дальше случилось нечто совсем невероятное.

Автобус прицепили тросом к КамАЗу и предложили пассажирам занять места в салоне, что они тут же безропотно и даже с превеликой радостью (домой ведь хочется!) и сделали. Варламов был занят своим носом, а на мои с Шурой увещевания, что так, мол, нельзя, так, мол, не по правилам, да и водила, хотя от встряски слегка протрезвел, все еще пьяный... — ни одна живая душа не обратила никакого внимания. Впрочем, один пьяненький старик сказал:

— Все-то вы, молодые, суетитесь! Едем и едем...

И мы поехали... Водила за рулем в привычном положении враз опьянел по новой. Автобус кидало из стороны в сторону, выносило на встречную, по которой неслись груженные КамАЗы, такие же, что тащил нас с порядочной скоростью. Все это было сродни какой-то виртуальной игре в автомобильные гонки, с той лишь разницей, что при первом же столкновении или выбрасывании на обочину мы теряли бы не очки в игре, а свою жизнь. Когда очередной грузовик просвистел в нескольких сантиметрах от нас, мы с Шурой не выдержали и по-интеллигентски стали собачиться с пассажирами и требовать немедленной остановки.

— Вы же с детьми едете! — орал я.

Какая-то баба, услышав мои слова, с интересом посмотрела на младенца, сопящего на ее коленях, и на двух малолетних девчушек, сидящих рядом. На ее лице вспыхнуло какое-то странное удивление: надо же, правда... с детьми! И мы стали оттаиваться.

Как мы это делали с пьяным шофером, который ничего не слышал, кроме внутренних голосов, и, возможно, трезвым, но очень азартным шофером КамАЗа, давно забывшим, как мне показалось, о своем «хвосте» и притопившим педаль газа на совесть, спеша к собственной жене и детям, — рассказывать не буду. Не буду рассказывать и о том, как на снегу, в мороз, мы ждали второго автобуса, не очень-то впрочем, надеясь на прибытие.

Это все мелочи в сравнении с той секундой, когда я решил, *что мы не остановимся никогда*. Что вся эта безумная гонка суть последние мгновения моей грешной жизни...

После этой поездки я понял, почему на голове писателя Варламова столько седых волос, а на голове моего знакомого критика — ни единого! Варламов же мотается на свои рыбалки два раза в год!

«Встретимся летом на Бьеннале...» — пишет Вячеслав Курицын Алексею Парщикову, который живет в Кельне. Непременно встретятся! Но вот с Иваном Ждановым, который оставил Москву, решив на год поселиться в деревне на родном Алтае, вряд ли кто встретится в течение года. Правда, он обещал писать и не дать забыть о себе. Так кто из них настоящий эмигрант — Жданов или Парщиков?

«От Парижа до Находки...» — продолжает петь, пританцовывая, дочка моего приятеля.

Ей весело...

Мне не очень!



Владимир ГУБИН. ИЛЛАРИОН И КАРЛИК. СПб., «Камера хранения», 1997. [Б.т.].

Вместе с Б. Вахтиным, С. Довлатовым, В. Марамзиным и прочими В. Губин некогда входил в литературную группу «Горожане». О его достаточно обыкновенной и трудной судьбе сочувственно рассказано в послесловии. Там же замечено: автор схож чем-то с Венедиктом Ерофеевым и Сашей Соколовым. Схож он скорее не качеством прозы, а склонностью подгонять слово к слову, будто кирпичики, и оттого словесные массы застывают неподвижно, как маленькие Великие Китайские стены. И читатель оказывается бессилем одолеть преграду. Впрочем, упорное сопротивление человека повседневности достойно уважения вне зависимости от того, нравятся ли его книга.

Александр РОДЧЕНКО. ОПЫТЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО. Дневники. Статьи. Письма. Записки. М., «ГРАНТЬ», 1996. 1300 экз.

Родченко — гений. И счастлив думающий иначе: ему придется много раз убедиться в правоте подобного утверждения. Убедиться и рассматривая живопись Родченко, фотоколлажи, дизайнские разработки, и читая написанное им, — когда для памяти, когда в полемике, когда для того, чтобы поделиться опытом. Удивляет, сколь стремительно он преодолел в себе отроческие фантазии о королях и замках, а в своем искусстве влияние модерна и стал собой. Вопрос, почему при динамике построения кинокадра и живописных работ он не попробовал себя в качестве кинооператора, переходит в более общий: есть ли современное искусство — видеоклипы, компьютерная графика, акции постмодернистов — органичное продолжение искусства авангарда? Нет, сделанное тем же Родченко еще в первой половине века: живопись черным на черном, пространственные композиции, графические развертки, — противится движению, мельканию. Искусству необходимо долгое вглядывание, а не смена впечатлений во что бы то ни стало.

Октавио ПАС. ПОЭЗИЯ. КРИТИКА. ЭРОТИКА. М., «Русское феноменологическое общество», 1996. 3000 экз.

Важнее иного в искусстве интеллектуальное пространство, утверждает мексиканский поэт О. Пас. «Именно здесь произведение встречается с другими, возникает возможность их диалога. Критика и порождает эту так называемую литературу — не сумму произведений, а систему связей между ними, поле их притяжений и отталкиваний». Чему бы ни были посвящены его эссе — еде, празднику мертвых, одиночеству, — О. Пас в первую очередь занят поиском общих координат и создающих пространство искусства. Оно — результат общего труда, слагается из форм, проработанных каждым критиком в отдельности. На движущие мысли поэта и формы его эссеистики повлияли разные эстетические системы, в частности авангардизм и барокко, и потому любая работа, включенная в сборник, по-своему интересна и значительна. Однако справедливости ради надо напомнить: самая радикальная попытка поиска общих координат искусства предпринята Н. В. Гоголем. В «Арабески» вошли не только статьи о литературе, истории и архитектуре, но и повести, претворившие приемы барокко и готики в повествование.

Олег ЕГОРОВ. ПОДБИТЫЕ ВЕТРОМ. Сказки Шематона для особенно взрослых и особенно для маленьких. [Б.м.], «Перегринус», [б.г.]. 25 000 экз.

Что это за произведение, можно понять из того, как именуют героев. Вдоль и поперек страниц мельтешат страус Лева и Афрозаяц, макрель здесь зовется макрелью из-за того, что она мокрая, а где-то чуть-чуть вдалеке плещется Северный Ядовитый океан. И, разумеется, на вопрос, где народ, перекошенные от натуги сказочника зверушки отвечают: народ в поле на посевной. Недаром выдумщик предположил книгу подходящий эпиграф: «Искать в темной комнате черную кошку очень легко. Даже если ее там нет. Только найти очень трудно». Крикнувший «чур не я!» выходит из игры, автор плохой книги такой возможности лишен, пусть он и сочинял книгу игровую.

Иван МАКАРОВ. ЛИЦА, СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА... [Б.м.], «НИСА», [б.г.]. 45 пронумерованных экз.

Отсутствие публичности, неприученность находиться перед людьми — не частная слабость, а черта поколения, растворенного в нетях, рассеявшегося и по земле, и более — под землей. Разговору через страницы, посредством их оставшимся учиться поздно. Сборник, лишенный почти тиража, сложный иждивением хороших знакомых, тому подтверждение, хотя сочинитель все понимает и умеет спокойно высказать свое мудрое знание:

Зла не имею на сердце.
Истины знать не хочу.
Тихим гизаметром мышлю,
Там где веселым хореем идут пионеры
И грустным хореем солдаты.

В. И. ЗИМИН, А. С. СПИРИН. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ РУССКО-ГО НАРОДА. М., «Сюнта», 1996. 15 000 экз.

Объяснительный словарь поделен на мелкие и достаточно произвольные тематические разделы, а материал в нем подается по принципу конферанса. К примеру, вот как выглядит фрагмент подглавки «Наказание» из раздела о солдатском житье-бытье (на репризное построение указывает уже не воспроизведенная здесь разнища в шрифтах между текстом комментаторов и собственно пословицами, присловьями и поговорками): «Мы уже говорили, что —

Солдат не пьет, а употребляет.

Солдат не украл, без спросу взял.

За все это и за другие проступки ему дают наряд вне очереди, сажают на гауптвахту:

Тот не солдат, кто на гауптвахте не побывал.

За более серьезные проступки могут —

Списать с довольствия. А то еще:

Поставить к стенке,

Пустить в расход,

Наградить свинцовой медалью...»

Сомнительно, что подобные речения принадлежат солдатам. Бравые солдатские пословицы и приговорки создает в основном высший командный состав — от генералиссимуса до старшины (для солдата чуть ли не каждый, минуя ефрейтора, значительно старший по званию).

М. КУЗМИН. УСЛОВНОСТИ. Статьи об искусстве. Томск, «Водолей», 1996. [Б.т.]

Идет ли речь о кукольном театре, о новой постановке старой пьесы или о свежем поэтическом сборнике, стройность и ясность кузминских статей сами по себе доставляют наслаждение. Но восхищение вызывает и эстетический такт издателей: взять классический текст, облачить его в белоснежную бумагу и буквы, еще пахнущие типографской краской, добавив иногда в тон и в лад несколько иллюстраций, не навязывая предисловий либо комментариев, — признак смелости и ума. Читатель отправляется по времени вспять, становится почти современником автора. Не отягощенное ничем восприятие прозы (если это проза) и стихов (если это стихи) рождает ту свободу, которую не обретишь, склонившись над фолиантом, снабженным дотошными примечаниями. Какое счастье для книги всегда быть новинкой!

Томас Стернз ЭЛИОТ. НАЗНАЧЕНИЕ ПОЭЗИИ. Киев, «AirLand», М., ЗАО «Совершенство», 1997. 5000 экз.

Каков Элиот-критик проще судить не по статьям, а по стихам, ибо в основу всего его творчества положен общий принцип. Не стану вспоминать хрестоматийные «взрыв и всхлип», тем более и автор мечтал больше никогда о них не слышать, однако напомним, что другие общеизвестные строки из той же поэмы — «Мы пляшем вокруг кактуса, кактуса, кактуса» и т. д. — лишь перелицованный детский стишок:

Так мы пляшем возле сливы,

Возле сливы, возле сливы,

Так мы пляшем возле сливы

Хмурым и холодным днем.

Элиотовская критика создана путем выворачивания наизнанку и опровержения общих мест и устоявшихся мнений. Причем полная серьезность, с которой это делается, отсутствие иронии чрезвычайно вредны для искусства. Единственное отступление от правила, допущенное в предисловии к сборнику «Назначение поэзии и назначение критики», кажется значительней самого сборника: «Я очень сожалею о том, что, когда я готовил эти лекции к чтению в Америке, мистер А. А. Ричардс был в Англии; когда же я готовил их к публикации в Англии, он был в Америке. Я надеялся извлечь для себя пользу из его критических суждений». О, если бы мистер А. А. Ричардс почаще переезжал! Может быть, тогда лицо критика-интеллектуала чаще озарялось бы улыбкой, а читать его сочинения стало бы не столь скучно?

Генри МИЛЛЕР. ТИХИЕ ДНИ В КЛИШИ. СЕКСУС. СПб, «Лимбус Пресс», 1997. 5000 экз.

Сборник, куда, кроме повести и романа, вынесенных на обложку, включена повесть «Мара-Мариньян», объединяет так называемые «парижские» произведения Г. Миллера. Качество переводов еще следует оценить, но полиграфия и книжный дизайн выше любых похвал. Вклейка, воспроизводящая эротические и порнографические фотографии 20—30-х годов, снабженные прежде рискованными, а ныне трогательными подписями вроде: «А вот и я!» — Клодина с улицы Конвансьон, 17», наглядное подтверждение тому, как быстро устаревают понятия о порнографии. Особенно в искусстве, связанных с изображением и связанных изображением, зрительным рядом. Сейчас пухленькие женщины с полными ручками и ножками, нескромно позирующие перед объективом фотоаппарата, могут вызвать вождение лишь у коллекционеров, да и то это будет хоть и желанием иметь, но желанием другого рода. Эротика, а особенно порнография накрепко связаны с модой и временем. И странно, что такие «путеводители» имели хождение, а проза Г. Миллера запрещалась за оскорбление общественной нравственности.

Читайте в следующем номере

главу «Великая душа» из книги
АНАТОЛИЯ НАЙМАНА
«СЛАВНЫЙ КОНЕЦ БЕССЛАВНЫХ
ПОКОЛЕНИЙ»

«Сейчас в сознании широкой публики Бродский — это тот, кого арестовали, сослали на Север, выперли за границу, и там он получил Нобелевскую премию. У более осведомленных круг связанных с ним обстоятельств пошире, но за перечисленные пушкинские не выходит. И что любопытно и что забавно, расходится весь этот круг обстоятельств, только этот круг и ничего, кроме этого круга, от людей хорошо осведомленных, в той или иной степени близких Бродскому и формирующих мнение о нем. Еще и еще раз публикуются в газетах и по телевидению факты или прежде известные, или смущающе похожие на них, так что нам уже непонятно, к кому выходил из коношской тюрьмы Бродский с белыми ведрами: к тому, к кому выходил, или к тому, кто был в это время за тридцать километров от Коноши, или ко всем, кто навещал его в Архангельской области».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца 1997 года «Октябрь»
предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга вторая.

Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.

Игорь ВОЛГИН. **Политический процесс.** Достоевский и современники: жизнь в документах. Книга вторая.

Даниил ГРАНИН. **Повесть.**

Исаак ЗИНГЕР. **Рассказы.**

Всеволод ИВАНОВ. **Дневники.**

Вяч. Вс. ИВАНОВ. **Воспоминания. Иосиф Бродский.**

Борис Пастернак.

Юрий КАРЯКИН. **Дневник русского читателя.**

Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Письма к Господу Богу.** Роман.

Александр МЕЛИХОВ. **Высокая болезнь.** Повесть.

Юнна МОРИЦ. **Рассказы.**

Анатолий НАЙМАН. **Славный конец бесславных поколений.**
Рассказы.

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Сказки.**

Валерий ПИСИГИН. **Путешествие из Москвы в Петербург.**

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ. **Эссе.**

Михаил ПРИШВИН. **Дневники.**

Михаил РОЩИН. **Блок 1995–1996.**

Уильям САРОЯН. **Рассказы.**

Алексей ЦВЕТКОВ. **Просто голос.** Поэма. Продолжение.

Асар ЭППЕЛЬ. **Рассказы.**

Следите за нашей рекламой!
